

*Пишем сочинения по
роману*

Ф.М. Достоевского

*"Братья
Карамазовы"*



**Подготовка к традиционному экзамену
по литературе**

Пишем сочинения
по роману Ф.М. Достоевского
«Братья Карамазовы»

ИЗДАТЕЛЬСТВО
Грамотей

Предисловие

- Я недавно прочитала несколько новых книг серии «Пишем сочинения по...».
 - Зачем это нужно, тебе учебника по литературе мало?
 - Учебник – мой самый верный помощник. Но вопросов и заданий, которые задаёт нам учитель, так много, и они такие разные, с «подковыркой». Тут одним учебником не обойтись.
 - В чём же тебе помогают книги этой серии?
 - Я **составляю** развёрнутый, аргументированный **анализ** прозаических и поэтических **текстов** – это раз. **Знакомлюсь с образцами анализа эпизода** и отрабатываю это сложное умение – это два. Знакомлюсь с критической литературой, чтобы **лучше сдать устный экзамен** – три. И даже получила впервые **«5» за сочинение** (объёмом в 4 листа!) по творчеству Ф.М. Достоевского – это четыре. **К ЕГЭ** удобно **готовиться** – это пять. У меня десять пальцев на руках, и все я могу сейчас загнуть, доказывая тебе необходимость работать с дополнительной научно-публицистической и критической литературой.
 - Ну убедила.
-

Содержание

Вступление	4
Идейное содержание романа	7
Фёдор Павлович Карамазов	11
Дмитрий Фёдорович Карамазов	21
Иван Фёдорович Карамазов	35
Алёша Карамазов	62
Старец Зосима	74
Смердяков	83
Ракитин	86
Грушенька	88
Катерина Ивановна	97
Лиза Хохлакова	104
Детвора	111
Заключение	127

Вступление

«Братья Карамазовы» – самое значительное произведение Достоевского; мысль о нём зародилась ещё в 1870 году. Сначала Достоевский думал написать пять отдельных повестей под общим заглавием «Житие великого грешника». Это житие должно было изобразить жизнь нескольких поколений, начиная со времён Чаадаева. Впоследствии план изменился; вместо пяти повестей Достоевский задумал написать два романа, между действиями которых проходит тринадцать лет. Достоевский успел написать только первый роман, который был напечатан в «Русском Вестнике» в 1879–1880 годах. Судя по первой части романа, целиком мы должны были увидеть такое произведение, подобное которому трудно найти во всемирной литературе. Но и в этом усечённом виде роман представляет выдающееся произведение.

Роман «Братья Карамазовы» побудил создать особое характеристическое определение – «карамазовщина», подобно тому, как после романа Гончарова создали «обломовщину». В русской жизни оказалось нечто такое, чего никто ещё не схватывал до Достоевского. Основанием для составления определения «карамазовщина» послужили сходные черты, замечаемые нами в целой семье Карамазовых. Все они отличаются безудержностью, которая у каждого имеет особый характер. Фёдор Павлович преследует половой разврат самого низкого качества, хвалится этим развратом и не желает сдерживать себя. Иван Фёдорович отличается умственной безудержностью; по его теории всё для него должно быть позволено, что ни есть в мире, и ничто не должно быть запрещено. Дмитрий Фёдорович способен отдаваться до самозабвения как низкому пороку, так и раскаянию. Алёша отличается религиозной безудержностью. Едва только он, задумавшись серьёзно, поразился убеждением, что бессмертие и Бог существуют, то сейчас же естественно сказал себе: «Хочу жить для бессмертия, а половинного компромисса не принимаю».

Характеры главных действующих лиц, выведенных в «Братьях Карамазовых», напоминают характеры предыдущих романов Достоевского. Иван Карамазов есть только последний и самый полный выразитель того типа, который ранее рисовался то как Раскольников («Преступление и наказание»), то как Ставрогин («Бесы»). Алёша Карамазов напоминает князя Мышкина («Идиот»). Фёдор Павлович есть завершение Свидригайлова («Преступление и наказание»). Только Дмитрий Карамазов, смесь добра и зла, нелепый и в основе своей благородный, является новым лицом. Но эта повторяемость главных характеров не только не вредит достоинству романа, но возвышает его: Достоевский, как психолог, знакомит читателя не с бытом, в котором мы ищем всё новое и новое, а с душой человеческой, с её неуловимыми движениями; в характерах действующих лиц мы следим за преемственностью, желаем знать во что разрешается, чем заканчивается то или иное течение мыслей. С этой точки зрения последний роман Достоевского, как завершающее произведение, весьма интересен и поучителен.

По И. Глебову

Романом «Братья Карамазовы» Достоевский намеревался показать настоящего героя обновления России в лице верующего в Бога Алёши Карамазова, однако центральное место в романе занимает средний брат Иван Карамазов, близкий по своему существу к Родиону Раскольникову и Свидригайлову. Вообще, все герои романа связаны между собой, на что указывает В.В. Розанов: «По отношению к характерам, которые выведены в «Братьях Карамазовых», характер его предыдущих романов можно рассматривать, как предуготовительный: Иван Карамазов есть только последний и самый полный выразитель того типа, который, колеблясь то в одну, то в другую сторону, уже и ранее рисовался перед нами то как Раскольников и Свидригайлов («Преступление и наказание»), то как Николай Ставрогин («Бесы»), отчасти как Версилов («Подрасток»); Алёша Карамазов имеет свой прототип в князе Мышкине («Идиот») и отчасти в лице, от имени которого ведётся рассказ в романе «Униженные и оскорблённые». Отец их, «с профилем римского патриция времён упадка», рождающий детей и броса-

ющий их, любитель потолковать о бытии Божьем «за коньячком», но главное – любитель надругаться над всем, что интимно и дорого человеку, есть завершение типа Свидригайлова и старого князя Вальковского («Униженные и оскорблённые»). Только Дмитрий Карамазов, нелепый и в основе всё-таки благородный, смесь добра и зла, но не глубокого, является новым лицом; кажется, один капитан Лебядкин («Бесы»), вечно уторопленный и возбуждённый, может ещё хоть несколько, конечно, извне только, напомнить его. Новым лицом является и четвёртый брат Смердяков, – это незаконное порождение Фёдора Павловича и Лизаветы «Смердящей», какой-то обрывок человеческого существа, духовный Квазимодо, синтез всего лакейского, что есть в человеческом уме и человеческом сердце».

«Карамазовщина» – это кризис старой дворянско-крепостнической культуры. Её последний представитель – гнусный, неверующий, но боящийся порою «адского огня» приживальщик, делец и плут, Фёдор Павлович Карамазов, развратный старик, который не пропустил даже калеки Лизаветы Смердящей, циник, сладострастник, вся жизнь его – служение плоти, на старости лет он отбивает любовницу сына, это праздный прожигатель жизни, в котором никакой уже патриархальности нет. Его образ – это самая яркая пощёчина крепостническому барству, какую когда-либо нанесла последнему русская литература.

Старший сын Фёдора Павловича, Дмитрий, – буян, кутила, мот, такой же развратник, как отец, «безудержная русская натура». Достоевский в лице Дмитрия Карамазова рисует полный упадок и разложение дворянской барской стихии.

Иван Карамазов – уже интеллигент, начинён идеями материалистической европейской культуры, задумывается над вопросами бытия, и в то же время он унаследовал отцовский эгоизм и себялюбие. Худшая сторона Ивана – это безверие и этический нигилизм. Ближних любить нельзя и незачем, если нет Бога и личного бессмертия. «Всё дозволено» сознавшему это человеко-богу. Это учение Иван прививает лакею Смердякову. Иван допускает Смердякова до убийства отца, ибо отец – «гад и поросёнок». Но умственные запросы Карамазова необычайно глубоки. В Иване Достоевский казнит индивидуализм в последний раз и окончательно. И Бога можно принять лишь веря, что всё едино, каждый за всех виноват, и боль, причинённая одному, есть боль всех. Этой основной мысли Зосимы и Алёши не может понять Иван и потому не приемлет Божьего мира со страданиями невинных даже при признании будущего возмездия. Ибо если люди разъединены, то нельзя принять страданий погибших безвинно и простить мучителей. Если же всё человечество – единое целое, то все виновны, все страдают страданиями всех и не может быть меж людей счётов.

Смердяков по Достоевскому – прообраз отщепенца, отверженного народной средой, враг её; он всеми средствами стремится к обогащению, мечтает о поездке в «республику французскую», «торгашески считается не только с людьми, но с совестью и Богом». Это – новый буржуа, возникающий, на фоне разложения натурально-хозяйственного патриархального быта, тип мещанства и лакейства социального и духовного, какой только был дан мировой литературой.

Алёша Карамазов – человек нового типа, воспитанный в идеальном монастыре идеальным монахом Зосимой, проповедником христианского анархизма, тоже бари-дем, пришедшим к Христу через грех и покаяние. Алёша – носитель христовой правды, любви, всепрощения и веры, осенённый мистической благодатью, грядущий всё спасти и обновить, преобразовать интеллигенцию народно-христовой правдой.

«Карамазовщина» – безудержная, праздная жизнь, надругательство над человеческим достоинством, своеволие, граничащее с гордостью и смирением, «падение и возвышение человека, всё это знаменует собою полный распад старой дворянской жизни как «продукт застарелых нравов крепостного права и погружённой в беспорядок России, страдающей без соответственных учреждений».

По Я. Назаренко

В романе Достоевского перед нами развёртывается грандиозная Карамазовская драма. Сущность этой драмы не в личных коллизиях членов этой семейки, не в своеобразных столкновениях Мити с отцом, не в катастрофе, приведшей Митю на скамью подсудимых и пр. Сущность Карамазовской драмы заключается в столкновении, борьбе и испытании различных типов жизненного мировоззрения, в столкновении и борьбе жизненных принципов, в которых выясняется должный смысл и основной принцип жизни. В романе «Братья Карамазовы» в жизненную коллизию вступают основные типы человеческого мировоззрения: здесь перед нами циник, эпикуреец и практический материалист Фёдор Карамазов, позитивист по складу убеждений и практик-утилитарист по жизненному направлению Иван Карамазов, идеалист и альтруист – верующий Алёша Карамазов, утилитарист и оппортунист Ракитин, старец Зосима с его общественно-церковными идеалами и борец с самим собою, созерцатель бездны вверху и бездны внизу Митя Карамазов и многие другие типы, представителей которых мы постоянно встречаем в окружающей нас жизни. Выступление этих типов с их жизненными воззрениями и стремлениями в практику жизни, борьба, столкновения, испытания и результаты – всё это делает роман «Братья Карамазовы» школой жизненного смысла. Жизненная картина, нарисованная Достоевским в романе, не утратила своей жизненности и для нашего времени. Сложный поединок веры и безверия, совести и безудержа, долга и беспринципности, тела и духа, идеализма и материализма не закончился, и порой мы сами являемся его участниками.

«Мрачные дела почти перестали для нас быть ужасными!» – восклицает Достоевский устами прокурора, обвиняющего Митю. Так в чём же причины нашего равнодушия?!

По Л. Соколову

Роман «Братья Карамазовы» является заключительным в творчестве Достоевского. Социальная символика романа – кризис старорусской, дворянско-крепостнической культуры. Её последний представитель – гнусный, сластолюбивый, неверующий, но боящийся порою «адского огня» приживальщик, делец и плут Фёдор Павлович Карамазов. Его образ – это самая яркая пощёчина на лице русского крепостнического барства, какую когда-либо нанесла последнему русская литература, включая даже «Господ Головлёвых» Салтыкова.

У старика три сына «законных» и один «незаконный» – лакей Смердяков. Средний сын Иван унаследовал эгоизм и себялюбие отца, а дух его отравлен европейской материалистической и индивидуалистической культурой. Худшая сторона Ивана, воплощённая в образе чёрта, – это безверие и этический нигилизм. Ближних любить нельзя и незачем, если нет Бога и личного бессмертия. Всё дозволено со знавшему это человеку-богу. В Иване Достоевский в последний раз и окончательно казнит индивидуализм. Даже Бога можно принять только при условии веры в то, что все едины, каждый за всех виноват, и боль, причинённая одному, есть боль всех. Иван не имеет этого ощущения всеединства, и потому даже при признании будущего возмездия он не приемлет Божьего мира со страданиями невинных. Ибо если люди разъединены, то нельзя принять страданий погибших безвинно и простить мучителей ни за какое всеобщее будущее блаженство. Если же всё человечество – единое целое, то все виновны, все страдают страданиями всех, и не может быть меж людей счётов. Иван не выдерживает тяжести своего греха и через сумасшествие идёт к исцелению.

Старший сын, Дмитрий – почвенный русский человек, много грешивший, кутивший, некультурный, буйный, но спасающийся страданием, принятым добровольно, и сближением с народом и Христом. Прообраз буйной силы Дмитрия, способный на зло, но всегда чувствующий над собою Христа, – купец Рогожин из «Идиота».

Смердяков – тип тех народных отщепенцев, которые могли воспринять антихристово учение безбожия и нравственного нигилизма. Смердяков – отщепенец народ-

ной среды, ставший её врагом, стремящийся всеми средствами к обогащению, мечтающий о поездке в «республику французскую», лавочнически считающийся не только с людьми, но с совестью и Богом (разговор за столом). Это психологический портрет «чумазого», нового буржуа, возникающего на фоне разложения натурально-хозяйственного патриархального быта. Смердяков – самый яркий тип социального и духовного мещанства и лакейства, какой только был дан мировой литературой.

Алёша Карамазов – человек нового типа, воспитанный в идеальном монастыре идеальным монахом Зосимой, проповедником христианского анархизма, тоже баричем, пришедшим к Христу через грех и покаяние. Алёша – носитель христовой правды, любви, всепрощения и веры, осенённый мистической благодатью, грядущей всё спасти и обновить, преобразовать интеллигенцию народно-христовой правдой. Лучшая и ещё совсем отроческая часть разночинной интеллигенции – Коля Красоткин и его друзья – идут за Алёшей.

Таково художественное воплощение оптимистического, в конечном счёте, религиозно-социального синтеза Достоевского.

По Г. Горбачёву

Идейное содержание романа

Приступая к определению идеи романа, следует вспомнить, что Достоевский ещё в 1870 году в письме к А.Н. Майкову, говоря о замысле большого романа, определил главную идею этого романа следующим образом: «Главный вопрос, который проведётся во всех частях, тот самый, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь – существование Божие».

Известно, что Достоевский был христианином в гораздо большей степени по доводам разума, нежели по указанию сердца; он показывает в себе чрезвычайно интересный тип верующего вопреки самым отчаянным сомнениям. Вечно сомневаясь и погружаясь в самые глубокие бездны отрицания, на что давал ему право очень сильный ум, он, с другой стороны, заставлял умолкать эти сомнения перед требованиями Божественного откровения. Эти сомнения в идее Божества Достоевский подробно выразил в романе «Братья Карамазовы», но в то же время в этом романе он представил блестящую критику атеизма и социализма.

Исходным пунктом мирозозерцания Достоевского мы должны признать идею его о безусловной ценности человеческой личности. Свои взгляды по этому вопросу Достоевский вкладывал преимущественно в уста Ивана Фёдоровича Карамазова.

Иван Фёдорович отрицает Бога, бессмертие и всю нравственность во имя свободы человеческой личности. Человек не может признавать Бога, так как это признание ведет к уничтожению человеческой личности, которая не должна никому подчиняться. Как умный человек, Иван Фёдорович признает, что идея о Боге святая и премудра; очень удивительно, по мнению Ивана, что такая мысль, мысль о необходимости Бога могла прийти в голову такому дикому и злому животному, как человек. Но принять эту идею Иван Фёдорович может не вопреки своим способностям усвоения, а только следуя им, как они устроены ему Творцом. Между тем разум Ивана говорит ему, что в мире, созданном Богом, есть много такого, что говорит в пользу отрицания Бога. «Я мира Божьего не принимаю и не могу согласиться признать», – говорит Иван Алёше. Иван не принимает мира потому, что не может примирить существующее в мире зло с идеей всеблагого Творца мира. Иван указывает на страдания детей, как на факт в высшей степени возмутительный в здешнем мире. Иван намеренно суживает вопрос и говорит не о страданиях человечества вообще, а о страданиях только детей. Это имеет двоякий смысл. Ребёнок – ещё не полная человеческая личность, так что если будет доказано, что личность ребёнка ни в каком случае и ни для кого не может быть только средством, то тем более это будет относиться к полной человеческой личности. С другой стороны, осуждение

страдания детей не подлежит тому возражению, что страдание есть возмездие за грехи. Со страданием за свои грехи Иван готов согласиться, но объяснять страдания детей чужими грехами их отцов и прадедов – противно человеческому разуму. «Деточки ничего не съели и пока ещё ни в чём не виноваты», – рассуждает по этому поводу Иван: «если они на земле тоже ужасно страдают, то уж, конечно, за отцов своих, съевших яблоко, но ведь это рассуждение из другого мира, сердцу же человеческому здесь, на земле, непонятное. Нельзя страдать неповинному за другого, да ещё такому неповинному». В этих словах выразилось твёрдое убеждение Ивана (и Достоевского) в безусловном достоинстве человеческой личности.

Нельзя не признать, что аргументация Ивана Карамазова в пользу атеизма очень сильная. Ни один писатель не высказывал более глубоких возражений против идеи о Боге. Никто так решительно и наглядно не утверждал достоинства человека, никто не защищал свободы человека так основательно и ярко, как Достоевский. Если человек есть безусловно свободное существо, то Бога, по мнению Ивана, не должно быть.

Отрица Бога и бессмертие души, Иван отрицал совесть и любовь к ближним. Иван не в силах понять, «как можно любить своих ближних». По его мнению, именно ближних – то и невозможно любить, а разве лишь дальних. «Чтоб полюбить человека, – уверяет Иван, – надо, чтобы тот спрятался, а чуть лишь покажет лицо своё – пропала любовь. По моему, – заключает он, – Христова любовь к людям есть в своём роде невозможное на земле чудо».

Вот отрицательное учение Достоевского, созданное им в минуту сомнений.

Однако Достоевский нарочно мучил себя сомнениями, чтобы на основании критики своих отрицательных воззрений укрепить свою веру. И действительно, в романе много мест, в которых опровергается неверие в Бога. Достоевский показывает, что человек, если задумает воспользоваться безусловной, ничем не сдерживаемой свободой, будет глубоко несчастлив. На примере Ивана Фёдоровича и Смердякова Достоевский показывает, что люди, думавшие, что «им всё позволено», стали несчастными.

Утверждая веру в Бога, Достоевский говорит, что без этой веры невозможно нравственное совершенствование. Устами Дмитрия Фёдоровича Карамазова Достоевский беспощадно критикует атеизм. Дмитрий говорит, что без веры в Бога невозможна никакая добродетель. Ни один законодатель не в силах будет убедить людей, чтобы они любили друг друга, всякий будет поступать так, как ему хочется. Человек на всё спокойно решится, даже на убийство своего близкого.

Таким образом, основная идея романа «Братья Карамазовы» о бытии Божьем раскрыта Достоевским всесторонне. Достоевский приводит все доводы атеизма и затем подвергает их критике. Достоевский в этом романе блестяще доказывает, что без веры в Бога человек превращается в самое порочное животное. По мнению писателя, наша интеллигенция, увлекшись западными идеями, уклонилась от Бога и потому не может способствовать стремлению человечества на истинный путь братства. Возрождение и спасение нашей родины из народа выйдет из веры и смирения его.

По И. Глебову

Ещё в 1870 г. в письме к А. Майкову Достоевский писал о замысле большого романа, который он обдумывал в течение последних двух лет и теперь хотел бы написать, пользуясь свободным временем. «Это будет мой последний роман. Объёмом в «Войну и Мир»... Этот роман будет состоять из пяти больших повестей... Повести совершенно отделены одна от другой, так что их можно даже пускать в продажу отдельно... (Общее название романа есть: «Житие великого грешника», но каждая повесть будет носить название отдельно). Главный вопрос, который проведётся во всех частях – тот самый, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь – существование Божие. Герой в продолжение жизни – то атеист, то верующий, то фанатик и сектатор, то

опять атеист. Вторая повесть будет происходить вся в монастыре. (...хочу выставить во 2-ой повести главною фигурой Тихона Задонского, конечно, под другим именем, но тоже архиерей будет проживать в монастыре на покое). 13-летний мальчик, участвовавший в совершении уголовного преступления, развитый и развращённый (я этот тип знаю), будущий герой всего романа, посажен в монастырь родителями (круг наш, образованный), и для обучения. Волчонок и нигилист-ребёнок сходится с Тихоном... Тут же, в монастыре, посажу Чаадаева (конечно, под другим тоже именем). Почему Чаадаеву не посидеть года в монастыре?.. К Чаадаеву могут приехать гости и другие, Белинский, например, Грановский, Пушкин даже. (Ведь, у меня же не Чаадаев, я только в роман беру этот тип). В монастыре есть и Павел Прусский, есть и Голубов, и инок Парфений (в этом мире я знаток и монастырь русский знаю с детства). Но главное – Тихон и мальчик...»

Кто не узнает в торопливых и разбросанных строках этого письма первый очерк «Братьев Карамазовых», с его старцем Зосимой и с чистым образом Алёши (очевидно, разделённая фигура Тихона Задонского), с развитым и развращённым, правда, уже не мальчиком, но молодым человеком Иваном Карамазовым, с поездкой в монастырь (помещик Миусов – очевидно, переделанная фигура Чаадаева) и сценами монастырской жизни и пр.

Но всегдашняя нужда расстроила планы Достоевского: связываемый срочными обязательствами, в которые он входил с редакциями и книгопродавцами, он был вынужден усиленно работать, и хотя из написанного им за это время было много прекрасного, однако, всё это не было осуществлением его задушевной мечты и уже созревшего плана. Он всё дождался досуга, который дал бы возможность поработать неторопливо.

Кроме денежной нужды, этому чрезвычайно препятствовала и его впечатлительность: он не мог хотя бы на время закрыть глаза на текущие тревоги и вопросы жизни и литературы. С 1876 г. он начал выпускать «Дневник Писателя», создав им новую, своеобразную и прекрасную форму литературной деятельности. Казалось, что чрезвычайный успех этого издания совершенно не даст ему возможности сосредоточиться на какой-нибудь цельной работе и замысел большого романа мало-помалу заглохнет.

Однако наступает тот момент, когда Достоевский вдруг умолкает и замыкается в себя, чтобы «заняться одною художественною работою»; он успокаивает читателей «Дневника», что это не более как на один год, ему необходимый для работы, после чего он вновь возвратится к ежемесячной беседе с ними. Но предпринимаемая работа стала действительно его «последним романом», и даже последним, неоконченным литературным трудом. В 1880 и 1881 годах было выпущено только по одному номеру «Дневника» – в промежуток отдыха между первым большим отделом романа и его вторым отделом, который и должен был «представлять собой почти самостоятельное целое». В этот краткий промежуток отдыха ему суждено было окончить свои дни. Последние тома романа, «обширного как «Война и Мир», не были написаны. Четырнадцать книг, составляющие четыре части (с эпилогом) «Братьев Карамазовых», представляют собой доведённый до конца первый раздел обширной художественной эпопеи. Вот что пишет Достоевский о её общем плане в предисловии к «Братьям Карамазовым»: «Хотя жизнеописание (героя, которое служит содержанием) у меня одно, но романов два. Главный роман – второй: это деятельность моего героя уже в наше время, или в наш теперешний текущий момент. Первый же роман произошёл ещё тридцать лет назад – есть почти даже и не роман, а лишь один момент из первой юности моего героя. Обойтись мне без этого первого романа невозможно, потому что многое во втором романе стало бы непонятным».

Но первоначальный план всё же подвергся некоторым изменениям и во многом был дополнен. Положительный образ старца, который Достоевский хотел вывести в своём романе, не стал центральным лицом, как это было задумано первоначально. Старец Зосима только показывается в «Братьях Карамазовых»: он благословляет на жизненный подвиг своего любимого послушника, Алёшу Карамазова, и умирает.

Вместо него центральным лицом всего произведения должен был стать последний, нравственный образ которого замечателен. Но между тем Алёша, пусть уже сильный духом, является в романе в образе отрока. Нет сомнения, что оборванный конец (или, точнее, главная часть) «Братьев Карамазовых» унёс многие откровения человеческой души, что там были мысли, действительно проясняющие жизненный путь. Но этому не суждено было сбыться; в той части романа, которую оставил нам Достоевский, Алёша только готовится к подвигу: он более выслушивает, чем говорит, изредка только вставляет замечания в речи других, иногда спрашивает, но больше молча наблюдает. Однако и неоконченный образ уже светится настоящею жизнью. В нём уже предчувствуется нравственный реформатор, учитель и пророк, дыхание которого замерло в тот миг, когда уста уже готовы были раскрыться...

Но если Алёша Карамазов только обрисован в романе, но не высказался в нём, то его брат, Иван, и обрисован, и высказался («Легенда об Инквизиторе»). Таким образом, вне предположений Достоевского, не успевшего окончить своего романа, эта фигура и стала центральной во всём его произведении, то есть она осталась таковой, потому что другой, его заслоняющей фигуре (Алёши) не пришлось выступить и вступить в нравственную и идейную борьбу со своим старшим братом.

Таким образом, «Братья Карамазовы» есть действительно ещё не роман, в нём даже не началось действие: это только пролог к нему, без которого «последующее было бы непонятно». Но, судя по прологу, целое должно было стать таким мощным произведением, которому подобное трудно назвать во всемирной литературе: только Достоевский, способный совмещать в себе «обе бездны – бездну вверху и бездну внизу», мог написать не смешную пародию, а действительно и серьёзную трагедию этой борьбы, которая уже тысячелетия раздирает человеческую душу, – борьбы между отрицанием жизни и её утверждением, между растлением человеческой совести и её просветлением.

По отношению к характерам, которые выведены в «Братьях Карамазовых», черты его предыдущих романов можно рассматривать как подготовительные: Иван Карамазов – только последний и самый полный выразитель того типа, который, колеблясь то в одну, то в другую сторону, уже и ранее рисовался в произведениях Достоевского то как Раскольников и Свидригайлов («Преступление и Наказание»), то как Николай Ставрогин («Бесы»), отчасти как Версильов («Подросток»); Алёша Карамазов имеет свой прототип в князе Мышкине («Идиот») и отчасти в лице, от имени которого ведётся рассказ в романе «Униженные и Оскорблённые»; отец их, «с профилем римского патриция времён упадка», рождающий детей и бросающий их, любитель потолковать о бытии Божьем «за коньячком», но главное – любитель надругаться над всем, что интимно и дорого человеку, есть завершение типа Свидригайлова и старого князя Вальковского («Униженные и оскорблённые»). Только Дмитрий Карамазов, нелепый и в основе всё-таки благородный, смесь добра и зла, но неглубокого, является новым лицом; кажется, один капитан Лебядкин («Бесы»), вечно торопливый и возбуждённый, может ещё хоть сколько-нибудь, конечно, только извне, напомнить его. Новым лицом является и четвёртый брат, Смердяков, это незаконное порождение Фёдора Павловича и Лизаветы «смердящей», какой-то обрывок человеческого существа, духовный Квазимодо, синтез всего лакейского, что есть в человеческом уме и в человеческом сердце. Но эта повторяемость главных характеров не только не вредит достоинству «Братьев Карамазовых», но и возвышает их интерес: Достоевский прежде всего психолог, он изображает не быт, в котором мы ищем чего-то нового, а только человеческую душу с её неуловимыми изгибами и переходами, и в них мы, прежде всего, следим за преемственностью, желаем знать, во что разрешается, чем заканчивается то или иное течение мыслей, тот или иной душевный строй. И с этой точки зрения как завершающее произведение «Братья Карамазовы» имеют неисчерпаемый интерес.

По В. Розанову

Фёдор Павлович Карамазов

Родоначалник семьи Карамазовых, Фёдор Павлович, был, по словам Достоевского, «странный тип, довольно часто, однако, встречающийся, именно тип человека не только дрянного и развратного, но вместе с тем и бестолкового, но из таких, однако, бестолковых, которые умеют отлично обделывать свои имущественные делишки. Фёдор Павлович начал почти что ни с чем; помещик он был самый маленький, бегал обедать по чужим столам, норовил в приживальщики, а между тем в момент кончины его у него осталось до ста тысяч рублей чистыми деньгами». «Физиономия его представляла что-то резко свидетельствовавшее о характеристике и сущности всей прожитой им жизни. Кроме длинных и мясистых мешочков под маленькими его глазами, вечно наглыми, подозрительными и насмешливыми, кроме множества глубоких морщинок на его маленьком, но жирненьком личике, к острому подбородку его подвешивался ещё большой кадык, мясистый и продолговатый, как кошелёк, что придавало ему какой-то отвратительно-сладострастный вид». Кроме того, Фёдор Павлович был зол и сентиментален: при малейшем поводе он готов проливать слёзы. Лжёт он на каждом шагу. Имея недюжинный ум, Фёдор Павлович сознаёт, что его духовное уродство ясно для каждого, и потому он из самолюбия маскирует себя, принимает роль шута или юродивого; он часто не обижается, если кто-нибудь ругает его, но иногда по самому пустому поводу готов прокричать на весь мир о своей обиде. «Я шут коренной, с рождения, всё равно, ваше преподобие, что юродивый», – говорит он в келье старца Зосимы. Великий старец видит его насковзь и мудро советует ему не стыдиться самого себя, не лгать другим и себе, потому что в самоуважении единственный путь к освобождению от этого унижительного шутовства. Фёдор Павлович ни во что, кроме силы денег, не верит. «Я, милейший Алексей Фёдорович, – говорит он своему сыну, – как можно дольше на свете намерен прожить... а потому мне каждая копейка нужна, и чем дольше буду жить, тем она будет нужнее... Теперь я пока всё-таки мужчина, пятьдесят пять всего, но я хочу и ещё лет двадцать на линии мужчины состоять, так ведь состареюсь – поган стану, не пойдут они (женщины) ко мне тогда доброю волей, ну вот тут-то денежки мне и понадобятся... Я в скверне моей до конца хочу прожить, было бы вам это известно... А в рай твой, Алексей Фёдорович, я не хочу... По-моему, заснул и не проснулся, и нет ничего, поминайте меня, коли хотите, а не хотите, так и чёрт вас дери. Вот моя философия».

Отрицая веру в Бога, Фёдор Павлович, естественно, отрицал и нравственные начала. Он не знал никакого удержу в своих страстях. Единственной целью, идеалом и задачей его жизни было сладострастие. Пользуясь смирением второй жены, Фёдор Павлович пограл самые обыкновенные брачные приличия, привозил в дом тут же, при жене, дурных женщин и устраивал оргии.

В ряду безобразий Фёдора Павловича выдаётся его приключение с Лизаветой Смердящей. Это была малорослая идиотка, жившая подаяннием. Ходила она всю жизнь, летом и зимой, босая, в одной рубаше; говорить она не умела, а только изредка шевелила как-то языком и мычала. Фёдор Павлович не отстал от Лизаветы, и вскоре у неё родился сын, которого Фёдор Павлович взял на воспитание и сочинил ему, по прозвищу матери, фамилию Смердяков.

Будучи сладострастным, Фёдор Павлович в то же время циничен до пошлости. Он откровенно рассказывает своим детям про свои пороки. Вообще у него нет отцовского чувства. Он соблазняет красавицу Грушеньку, которую любил сын его Дмитрий, приготовил для неё три тысячи, уложил в пакет, обвязал красной ленточкой и надписал: «Ангелу моему, Грушеньке, если захочет прийти», а через три дня, в порыве сладострастного умиления, прибавил: «И цыплёночку». Целыми часами ходит он по своим пустым комнатам, заглядывает в тёмные окна и тщетно ожидает Грушеньку.

Конечно, такой низкий человек мог вызывать только отвращение у окружающих лиц; сын Дмитрий ненавидит его, Иван называет «гадом». Только один Алёша

его прощает. Фёдор Павлович под влиянием Алёши чувствует себя хоть немного человеком и становится лучше на мгновение. Но он уже чересчур стар, чтобы исправиться, и он погибает так же позорно, как и жил.

По И. Глебову

Старший Карамазов, Фёдор Павлович, владелец значительного капитала, представляет собою тип «бестолковейшего сумасброда», «шута» и при этом цинично-откровенного развратника. Ещё в молодости он увлёк «бойкую умницу», дочь богатой и знатной дворянской семьи, пожелавшую, вопреки семейным традициям, уехать потихоньку с человеком, вызывавшим к себе презрительное отношение. Это было «пленной мысли раздражение», и брак, разумеется, оказался непрочным. Оставив на руках у Фёдора Павловича своего первенца, трёхлетнего Митю, госпожа Карамазова сбегала от него «с погивавшим от нищеты семинаристом-учителем» и «пустилась в самую полную эмансипацию», а Фёдор Павлович, забывая о сыне, предался в своём доме возмутительным оргиям. Но через несколько времени, оплакав пьяными слезами смерть беглянки-жены, Карамазов снова женился на бедной сироте, которая в доме своей покровительницы-самодурки доведена была до мысли о самоубийстве, так что Фёдор Павлович не замедлил приступить к моральной пытке несчастной шестнадцатилетней супруги, постоянно напоминая, что он её «с петли снял». В доме опять возобновились оргии. Вторая жена Карамазова не убежала от него, но не выдержала такой жизни; с ней начались страшные истерические припадки, то, что в деревнях называется кликушеством. После её смерти осталось Карамазову ещё двое сыновей, Иван и Алексей, которые так же, как и Дмитрий, были воспитаны родственниками. Наконец, от юридической нищенки, с которой, по городским рассказам, Карамазов начал связь просто на спор со своими собутыльниками, явился Смердяков, выросший под покровительством старого слуги Карамазовых.

По В. Максимову, С. Золотареву

Наружность Фёдора Павловича Карамазова рисуется в романе следующими чертами. «Физиономия его представляла что-то резко свидетельствовавшее о характеристике и сущности всей прожитой им жизни. Кроме длинных и мясистых мешочков под маленькими его глазами, вечно наглыми, подозрительными и насмешливыми, кроме множества глубоких морщинок на его маленьком, но жирненьком личике, к острому подбородку его подвешивался ещё большой кадык, мясистый и продолговатый, как кошелёк, что придавало ему какой-то отвратительно сладострастный вид». Какое яркое и ясное изображение человеческого облика! Каждое слово есть краска, передающая характер Фёдора Павловича. Наглость и насмешливость оттеняются здесь подозрительностью. Вечная подозрительность, выглядывающая из маленьких глаз, намекает на какую-то внутреннюю неуверенность в себе, на какую-то психическую шаткость. В пятьдесят пять лет, несмотря на надежды прожить страстями ещё многие годы, маленькое личико Фёдора Павловича изборождено глубокими морщинками. Несмотря на неискоренимую силу карамазовских инстинктов, плоть его уже дряхла — намёк на то, что стихийная сила, данная ему для воплощения этих инстинктов, не велика. Подбородок у него острый, что говорит о чём-то хищническом, упорном, как будто бы сильном. Но длинные мясистые мешочки под глазами и такой же длинный мясистый кадык заслоняют эту хищную черту, показывая, что его натура ограничена какими-то рыхлыми пластинами. Именно эта обесиливающая рыхлость придаёт его очевидно сладострастному «отвратительный» характер. Он вечно сладострастен, неугомно сладострастен потому, что ощущает в себе самом раздражающие преграды бессилия. Так и должно быть с людьми, которые чувствуют свою несостоятельность в каком-нибудь важном для них отношении: они расслапываются при мысли, что в них недостаточно мощно нечто столь существенное для них самих. («Прибавьте к тому плотоядный, длинный рот, с пухлыми губами, из-под которых виднелись маленькие обломки чёрных, почти истлевших зубов.

Он брызгался слюной каждый раз, когда начинал говорить». Ещё одно доказательство, что Фёдор Павлович быстро изнемог в жизни собственных страстей. Эти маленькие обломки чёрных истлевших зубов свидетельствуют о несоразмерности его appetитов и его сил. Какая-то большая языческая стихия прошла через него к его мощным потомкам, создала особенную, могучую карамазовскую породу и развернулась в ней полностью. Фёдор Павлович – русский, но он сам создаёт, что в нём говорят какие-то вырождающиеся силы древнего язычества. «Особенно указывал он на свой нос, не очень большой, но очень тонкий, с сильно выдающейся горбинкой: «Настоящий римский, – говорил он, – вместе с кадыком настоящая физиономия древнего римского патриция времён упадка». Этим он, кажется, гордился.

Лицо Фёдора Павловича составляет предмет неодолимого отвращения для его сына, Дмитрия. «Ненавижу я его кадык, его нос, его глаза, его бесстыжую насмешку: личное омерзение чувствую». В ночь, когда совершится катастрофа – убийство старика, – Дмитрий Карамазов, заглядывая в его комнату через окно, видит «весь столь противный ему профиль, весь отвисший кадык его, нос крючком, улыбающийся в сладостном оживлении, губы его». Тонкий римский нос с трепетно раздутыми ноздрями, вместе с общим сластолюбивым выражением лица, кажется улыбающимся. Это – человек, который вечно вынюхивает себе какое-нибудь удовольствие, не только вкусовое, не только осязательное, но и обонятельное, быть может, грубо и пошло обонятельное. Одна маленькая художественная чёрточка, и этот «бевременный», рано одряхлевший старик становится как-то особенно ошутительным в своей нравственной и эстетической противности. «Господа! – говорит Дмитрий на допросе в Мокром, – мне не нравилась его наружность: что-то бесцельное, похвальба и попиранье всякой святости, насмешка и безверие, – гадко, гадко!». В самом деле, можно чувствовать гадливость к этому измелъчавшему среди русских болот сатиру, с его цинической похвальбою, с его шутовством над человеческими святынями, запечатлённым на его маленьком, жирненьком лице. Что-то козлиное улавливается во всём его облике, во всём его существе: и это длинное лицо с острым подбородком, и этот кадык, и эти маленькие глазки, и этот длинный рот – всё в нём животно, и притом в этом именно мелко-животном типе.

Чем больше мы присматриваемся к отдельным чертам, которыми художник рисует Фёдора Павловича Карамазова, тем более раскрывается нам его внутренняя природа. Внешняя физиономия его дорисовывается по ходу романа отдельными меткими штрихами. У него почти нет волос, – только на висках уцелели длинные, запущенные космы, составляющие единственную растительность на его голове. У него особенная улыбка, которая производит тревожное, раздражающее впечатление. «Он был вполпьяна, – пишет Достоевский, – и вдруг улыбнулся своею длинною, полупьяною, но не лишённою хитрости и пьяного лукавства улыбкою». Эпитет «длинный» повторяется у художника каждый раз, когда он говорит об улыбке Фёдора Павловича. «Он задумался и вдруг длинно и хитро улыбнулся», – читаем мы в другом месте. «Длинная, пьяная, полубесмысленная усмешка раздвинула его лицо», – говорится в третьем месте. Своёобразный, но до глубины осмысленный словарь Достоевского – это краски на его палитре, которыми он неустанно, не боясь повторений, выписывает известные внутренние свойства своих героев. Длинная усмешка, длинная улыбка, длинный смех и даже длинные взгляды, как у Ивана Карамазова и у Алёши, – показывают длительность, упорство, сосредоточенность карамазовских настроений, которые не исчерпываются кратковременными, беглыми рефлексами, как у иных, лёгких, подвижных натур. Каждое внутреннее движение усиливается и удлиняется сознательной мыслью, которая у Карамазовых всегда неразлучна с жизнью инстинктов, которая работает заодно с этими инстинктами и как бы поддерживает их. Карамазовы созерцают умом всё, что непроизвольно творится в их душе, и всё, что составляет предмет их вовлечений во внешнем мире. Вот какое значение имеет это словцо, этот эпитет «длинный», показывающий долготу во времени, но

представляющий эту долготу пластически. Смех у Фёдора Павловича бывает тоже «длинный», наглый и злой, но в большинстве случаев он срывается и рассыпается визгливыми нотами, как у слабонервных людей, подверженных истерике и даже кликушеству. Такой же смех запомнился Фёдору Павловичу у его второй жены, Софьи Ивановны, перед которой он время от времени вдруг начинал рассыпаться мелким бесом, будя и щекоча в ней физические страсти. При этом он доводил её «до этакого маленького такого смешка, – рассыпчатого, звонкого, негромкого, нервного, особенного». В эту минуту он находил в ней, чистой, но нервно-болезненной женщине, что-то общее с собою, «свою чёрточку». Это нервическое исступление, данное опять-таки в мелком масштабе, чувствуется во всех проявлениях Фёдора Павловича. Стояк, вызываемый физическими страданиями, тоже у него какой-то маленький, жалкий, «пронзительный». В минуту волнения при прощании с Иваном он вдруг «заметался» – штрих, вновь показывающий душевное и нервное бессилие, внутреннее напряжение, разрешающееся именно так, как это бывает у некрупных натур, – множество бесцельных, беспорядочных движений. Таков он весь, во всех своих внешних выражениях: весь мелкий, весь маленький, со всей путаницей лукавых мыслей, со всеми извилинами своей сластолюбивой психологии, со всеми тайными ходами своей неординарной логики. В нём живёт чёрт, но чёрт «небольшого калибра»: нечистый дух поважнее «другую бы квартиру выбрал», – говорит он сам о себе со своим обычным шутовским юродством. Можно было бы сказать, что даже дом Фёдора Павловича, с его «разными чуланчиками, разными прятками и неожиданными лешенками», – небольшой, старый, причудливый, – напоминает его самого.

Чёрт Фёдора Павловича, этот специфически карамазовский чёрт, показывает себя в нескольких направлениях. Ракигин говорит: «В этом весь ваш карамазовский вопрос заключается: сладострастники, стяжатели и юродивые!». Но сладострастие старика Карамазова особенное, с постоянным сплетением злости и развинченной, хмельной, дребезжащей чувствительности. Старчески-сладострастное умиление, умиление бессилия, постоянно звучит в его словах и делает его особенно отвратительным. «Он был зол и сентиментален», – говорит Достоевский: странное воплощение двойственных мировых начал в этом распадающемся существе, в этом гниющем зерне, брошенном на русскую почву. Из его злости, мелкой, лукавой, вырастет сатанинская гордость и умственная злоба Ивана Карамазова, с тем же безудержем страстей, но страстей истинно могучих, истинно великих. Из его сентиментальности, пропитанной неизбежным «коньячком» и пьяными слезами, вырастет светлая любовь Алёши, с его нежным, бережным отношением ко всему живому. «Алёша, какой я срамник! – восклицает Фёдор Павлович. – Приличнее тебе будет у монахов, чем у меня, с пьяным старикашкой, да с девчонками». Он постоянно ударяется в сознательное юродство, иногда смакуя те предметы, на которые направляется его неугомонное сладострастие, смакуя их с каким-то выделанным ребячеством. В Софье Ивановне, второй его жене, его прельстили, «как бритвой по душе полоснули», её невинные «глазки». С этого именно времени, на повороте к своим истинно карамазовским настроениям и истинно карамазовскому декадансу в страстях, Фёдор Павлович начинает смотреть не только на женщин, но и на всё женское сквозь пьяную слезу, с дрожанием всего своего существа. На Афоне, по его словам, не полагается не только никаких женщин, но и никаких существ женского рода – «курочек, индюшечек, телушечек». Невинные «глазки» Софьи Ивановны и все эти курочки, индюшечки, телушечки – это в данном случае явления одного порядка, порождения одного мелкого инфернального изгиба. Это именно жизнь гниющего под землёй зерна, которое из всего вытягивает себе соки, во всё впивается своими ростками. И, как в жизни этого зерна, всё здесь, в жизни Фёдора Павловича, в его психологии, микроскопично и улавливается в своём значении только сквозь увеличительное стекло обобщающей мысли.

Весь словарь Фёдора Павловича необычен и показывает, что живущие в нём представления – если можно так выразиться – то неестественно разбухают, то умяляются: речи его постоянно полны словами с уменьшительными, уничижительными или другими замысловатыми суффиксами. «Пискарики», «блудилище», «плясавицы», – так выражается он в монастыре, кощунствуя и юродствуя в присутствии игумена и благочестивой братии.

В беседе с Иваном всеобъемлющее сластолюбие Фёдора Павловича раскрывается полностью. Посылая его в Чермашню, он соблазняет его «одною девчонкою». Она – ещё «босоножка». «Не пугайся босоножек, не презирай – перлы!..» – говорит он, чмокая себя в ручку. Он ищет и находит себе упоение в тёмных закоулках, среди бедноты и грязи, где вырастают иногда редкостные экземпляры человеческой невинности. Такому сладострастнику, как Карамазов, эти простые, нетронутые существа, эти чистые сердцем босоножки представляются тем невзыскательным овощем, которым гурманы освежают свой аппетит среди изысканных вакханалий. «Деточки, поросяточки вы маленькие, – говорит он далее, – для меня... даже во всю мою жизнь не было безобразной женщины, вот моё правило!.. у вас ещё вместо крови молочко течёт, не вылупились!.. Для меня мовешек не существовало... Даже вьельфильки, и в тех иногда отыщешь такое, что только диву дашься на прочих дураков, как это ей состариться дали и до сих пор не заметили. Босоножку и мовешку надо сперва–наперво удивить... Удивить её надо до восхищения, до пронзения, до стыда, что в такую чернявку, как она, такой барин влюбился. Истинно славно, что всегда будут хамы да баре на свете, всегда тогда будет и такая поломоечка...» Это – целая философия сладострастия: всё, что имеет какое-либо отношение к женщине, входит в круг этой философии – без разбора, без отрицания, ибо всё это, с тем или другим сознательно воспринимаемым оттенком, волнует нервы или распалает страсть. Может быть, эти «мовешки» и «вьельфильки», о которых говорит Фёдор Павлович, имеют даже особенную ценность среди карамазовских наслаждений: в них тлеют целые очаги нетронутых страстей, под их «хамской» отверженностью или случайной приниженностью Карамазов найдет благодарность, которая пойдёт навстречу самому сумасшедшему испугу, самому грубому чувственному капризу. И в каждой женской индивидуальности этот пресыщенный и всё ещё не насыщенный человек улавливает личный, особенный, разжигающий его колорит. Весь мир наполнен для него женщинами, и в полупьяной беседе он мысленно переживает бездны испытанных и неиспытанных, но возможных наслаждений. Неискоренимая мощь карамазовской стихии чувствуется в сладострастных галлюцинациях дряхлеющего старика.

Он – весь в этих галлюцинациях, потому что в нём с недрахлюющей силой действует инстинкт жизни, воля жизни, уже не дающая в нём тех внутренних эффектов, которые называются страстями. Страсть – это и есть психологическая, индивидуально–психологическая сторона воли. В Фёдоре Павловиче уже гложут эти психологические эффекты, но корень жизни, личной и мировой, – воля – работает с прежним напряжением, может быть, даже с большим напряжением, потому что этот человек начинает с жутким чувством ощущать в себе душевную пустоту. Это настоящий трагизм – разлад между метафизической волей к жизни и личными иссякающими возможностями жизни – трагизм, который делает серьёзным явлением этого шута, этого вечно пьяного старикашку. Только из внутреннего трагического раздвоения на этой почве и могли вырасти те силы, которые так ярко сказались в сыновьях его, Дмитриии и Иване. Привыкнув жить страстями в двуединую полноту желаний и удовольствий, отравив все свои нервы ядом неразборчивых наслаждений, – среди босоножек, мовешек и вьельфильков, – он теперь цепляется за свои галлюцинации и постоянно разжигает своё воображение. Его воля кричит в пустоте. Он оживляет изображение образами былого разврата, и в этом воскрешении «мовешки» и «вьельфильки» предстанут перед ним в каком–то непостижимом свете с каким–то бесовс-

ким, кощунственным смешком над самыми законами страстей, над тем, чем живут и увлекаются другие, над невинными «деточками» и «поросятчиками», которые не понимают тонкой прелести извращений. Его все более мельчающий бес постоянно находит для него разные поверхностные щекотания – именно теперь, в эту страшную для него полосу жизни, когда ему остаётся одно только сластолюбие. Близится время, когда он станет «поган» для женщин, но, создавая это и сгорая от сознания наступающей беды, он со своим обычным упорством не хочет сдаваться. Он хочет жить в своей «скверне» до конца, жить в ней открыто, в отличие от тех «сквернавцев», которые делают из своего разврата какую-то тайну. И он начинает копить деньги, становится «стяжателем», страшно последовательным и по-карамазовски ненасытным. «Поган стану, – говорит он, – не пойдут они ко мне доброй волей, ну вот тут-то денежки мне и понадобятся. Так вот я теперь и подкапливаю, все побольше, да побольше». В другом месте он говорит, что «ничегошеньки», ни копейки лишней не даст Дмитрию, потому что эти денежки ему самому нужны. Ему, богатому человеку, деньги постоянно «до зарезу нужны», – потому что его самого режет судьба и притом в чувствительнейшем для него, болящем нерве. Иван, который ощущает в себе мучительное сходство с ним, – с этой «гадиною», как он выражается, – хорошо понимает, что переживаемые отцом страдания истинно трагичны, истинно «серьезны»: он «стал на сладострастии своём будто на камне».

Действительно, есть что-то серьёзное, страшно тревожное для воображения в этом старике, который целыми часами ходит по своему пустому дому, с бьющимся сердцем ожидая Грушеньку. Он заманивает её к себе деньгами и уже щедро отсчитал и приготовил для неё три тысячи, которые он уложил в пакет, обвязав его красной тесемочкой и надписав на нём: «Ангелу моему Грушеньке, если захочет прийти», а через три дня, в порыве сладострастного умиления, прибавив: «И цыпленочку». Целыми часами ходит он по своим пустым комнатам, заглядывая в тёмные окна. Он отпускает слуг и, невыносимо томясь одиночеством, находит даже некоторое облегчение для себя в возне крыс. В этой двойной пустоте – внешней и внутренней – Фёдор Павлович доживает свои дни, уже близкий к иным, высшим и, может быть, спасительным, духовным страхам. Одна страница в романе даёт нам в этом отношении ослепительную молнию психологического откровения. Если Фёдор Павлович обездушился в самых своих страстях, в самом своём разврате, если воля его кричит в пустоте, то это значит, что он уже подходит к той черте, за которой начинается смерть, за которой начинается Бог. Сколько бы он ни цеплялся за свои галлюцинации, ему не за что уцепиться. Он одинок, безнадежно одинок и совершенно ниц перед собственным метафизическим началом. Вот откуда вырастает в нём новый, последний страх, которого уже не заглушишь прежними способами. Вот почему он испытывает иногда «нравственное сотрясение», столь сильное, что ощущает его почти физически. В такие минуты он боялся «кого-то неизвестного, но страшного и опасного», и чувствовал «моментальную и непостижимую» потребность в другом, верном, непохожем на него человеке. Только бы посмотреть в глаза такому человеку, убедиться, что он его не осуждает, не сердится! «А коли сердится, ну – тогда грустней». Бесстрашный и бесстыдный цинизм Фёдора Павловича колеблется перед кем-то неведомым. Его воля говорит в нём уже не к жизни, а за грань жизни, к неведомому Богу, от которого идёт и великий страх, и великое спасение.

Это страшное внутреннее раздвоение повторяется в другом виде и в области его сознательной жизни, в его обращении с людьми не на почве страстей. Но если там, в своей более интимной, более глубокой жизни, он только временами ощущает свою несостоятельность, то здесь он постоянно созерцает такую же несостоятельность – созерцает своим недюжинным умом, и потому именно здесь особенно ярко выступает и для него самого, и для других всё раздражающее уродство его существования. Он видит себя жалким шутком и с неумолкающей обидчивостью приживальщика,

каким он был в свои молодые годы, зорко следит за тем впечатлением, которое он производит на окружающих. Он хотел бы выпрыгнуть из своего презренного шутовства, отомстить за себя, оправдаться в собственных глазах, но в душе его нет для этого ничего такого, на что можно было бы опереться, кроме его бесовски трезвого сознания своей природной пошлости, кроме вечно плещущегося в нём едкого цинизма. Он выпрыгивает из своего непосредственного шутовства в новое, циничское шутовство. Он заливается гаденьким смешком над другими и над собой и в порыве самоубийственной злости брызжет вокруг себя, как кипятком, грубо выраженными ядовитыми правдами. Он не только шутует, но и юродствует. Юродство это и есть бессильное самоспасение от собственного падения и невольного унижения новым, сознательным падением, новым, сознательным самоуничижением.

В своих сношениях с миром Фёдор Павлович Карамазов является типичным юродивым. Его постоянный смешок и неодолимое стремление вызвать такой же смешок у других, его вечная потребность кувыркаться – опять-таки с гаденьким смешком над собой и над другими, – и всё это при помощи поразительно цепкого и острого ума, хотя и данного ему в не очень широком масштабе, – что это, как не юродство в ярком освещении великого художника? «Я – шут коренной, с рождения, всё равно, ваше преподобие, что юродивый», – говорит он в келье старца Зосимы. Великий старец видит его насквозь, до самых основ его шутовства, и мудро советует ему не стыдиться самого себя, не лгать другим и себе, потому что в самоочищении и самоуважении – единственный путь к освобождению от этого унижительного шутовства. Но лечение, предлагаемое мудрым монахом, неприменимо к Фёдору Павловичу, ибо нужно, чтобы карамазовская стихия раскрылась и развернулась полностью в её страшно сложном содержании, развернулась в новом, усиленном и углублённом виде: тогда только в ней найдутся элементы, способные к настоящему перерождению. «От стыда шут, старец великий, от стыда! – восклицает Фёдор Павлович. – От мнительности одной и буяно». От этого стыда, от этой мнительности, от этой неуверенности в себе ему уже не отделаться. Жизнь его катится по наклонной плоскости. Он мстит всем за собственные пакости новыми пакостями и в припадках своего шутовского бесстыдства хочет «наплевать» на людей с новым неслыханным бесстыдством. При этом он не перестаёт сознать, что, при всей нелепости употребляемых им приёмов, он всё-таки защищает своё самолюбие, свою честь, что он хотел бы «встать». Он хотел бы, чтобы хоть кто-нибудь понял источник его шутовства, чтобы его считали не только шутом. Но и здесь, как и в области страстей, он уже ниц и убог именно в том, что делает человека человеком: как воля его кричит в пустоте, так и мысли, сознание его кричат в пустоте. Он говорит и себе, и другим о себе полную правду, но слова его не соответствуют никакому живому чувству и не вызывают никакого брожения чувств, никакого искупительного настроения. «Мшцу за мою прошедшую молодость, за всё унижение моё!», – застучал он кулаком по столу в припадке «выделанного» чувства. Он и плачет «выделанными» слезами. В эти моменты, когда Фёдор Павлович, как бы в порыве истинного негодования, обнажает свою душу, художник безжалостно ловит его на отсутствии истинного, непосредственного чувства. А между тем одни мысли не спасают человека, как одна воля, со своими глубокими метафизическими корнями, не может создать живого содержания для его жизни!

Вот почему в Фёдоре Павловиче чувствуется иногда какая-то грусть, какая-то тоска.

Возвращаясь из монастыря вместе с сыном Иваном, он пробует заговорить с ним в неожиданных для читателя тихих тонах. Но Иван молчит и своим молчанием, очевидно, усиливает внутренние, скрытые неудовольствия Фёдора Павловича на самого себя. Ясно, что ему грустно, что в его опустошённой душе витают какие-то сумрачно холодные тени. После длинной беседы со Смердяковым на «богословские» темы, он тоже чувствует в душе что-то неприятное, хмурится и, чтобы прогнать набегающие тени,

опрокидывает лишнюю рюмочку коньяку. Кошунственные рассуждения Смердякова, этого детища Фёдора Павловича от ужаснейшей «мовешки», задевают в нём тайные, может быть, тайные для него самого, струны. Как бы для того чтобы очиститься от смрадной философии мелкорассудочной душонки, он продолжает беседу на ту же богословскую тему с Иваном, – с подъёмом особенного интереса. Сам он – безбожник, но безбожник, который не успокаивается на простом, бездоказательном отрицании. «По-моему, – говорит он, – заснул и не проснулся, и нет ничего: поминайте меня, коли хотите, а не хотите, так и чёрт вас дерит». И тем не менее мысль о Боге терзает его, потому, что эту мысль нельзя обхохотать мелким кошунственным смешком.

Он «всё думает, всё думает» об этом вопросе и своим ясным умом понимает, что материальные представления не только ничего не стоят в этой области, но даже потрясают веру. Он отвергает ад с «железными крючьями» и «пискариков», как орудия религиозного спасения. «Но зато, – говорит он однажды, – я верую, в Бога верую». Эта вера, однако, случайная, как бы одно только теоретическое допущение, почти праздная для него мысль, так как и она действует у него в пустоте и ещё бессильнее, чем его воля и чем сознание собственного падения. В беседе «за коньячком» с Иваном и Алёшей он допытывает обоих сыновей по этому терзающему его вопросу о Боге. Ум его требует настоящей пищи: ему нужна не ползучая логика Смердякова, а живое «остроумие». Он хотел бы подняться не только над своей карамазовской натурой, но и над самой Россией, как бы выпрыгнуть из неё, так как здесь, в этой наивной России, он чувствует одно только «свинство». Вопрос о Боге он ставит на должную высоту: если Бог есть, то он, Фёдор Павлович, виноват перед этой положительной истиной и перед людьми. Но если его нет, тогда пусть провозгласится отрицательная истина с неизбежным, карающим выводом для тех, кто поддерживает человеческие заблуждения. Казалось бы, в этих рассуждениях указаны все пути к понятию о Боге, положительному или отрицательному. Все логические соображения на тему о Боге шли именно этими путями – теистическим или атеистическим. Но эти пути не были глубоко психологическими путями. В пьяную минуту Фёдор Павлович в неожиданном озарении нащупывает новый подход к этому вопросу. Допустим, что богословская истина отрицательная, – спрашивается: откуда же тогда исходит эта легенда веков, слишком серьёзная, слишком всех волнующая и задевающая, чтобы она могла держаться на пустяках – на железных крючьях и пискариках? Фёдор Павлович не уходит от усвоенной им отрицательной истины, но он ставит вопрос с карамазовской отчётливостью: «Кто же это так смеётся над человеком, Иван?» Он понимает, что есть какая-то реальность, поддерживающая великую легенду о Боге, – вернее сказать, на одну секунду он коснулся умом того психологического секрета, из которого открывается путь в настоящую науку о Боге. Но дальше этого он не идёт, потому что в его собственной опустошённой душе нет ничего, кроме холодных, терзающих теней.

Несколькими чертами Достоевский создаёт определённую границу для карамазовского царства – границу, ненарушимую для русского человека. Фёдор Павлович хотел бы выпрыгнуть из России, но он остаётся в этой наивной России, не выходя из неё своей противоречивой и несколько уступчивой психологией. Смердяков безбожничает на словах, но тут же вдруг открывает наивную и в своей наивности безмерную веру: отрицая существование верующих людей, он допускает, однако, возможность каких-то исключений – одного или двух человек, где-то спасающихся, которые своей верой могли бы сдвинуть с места гору! Так и Фёдор Павлович: он хотел бы «всю эту мистику разом по всей русской земле упразднить», чтобы воссияла истина, настоящая, отрицательная истина. Однако, сообразив, что торжество какой бы то ни было серьёзной истины повлечёт за собой банкротство таких людей, как он, Фёдор Павлович предпочитает всё оставить по-старому. «Ну, так пусть твой монастырёк, Алёша, коли так. А мы, умные люди, будем в тепле сидеть, да коньячком пользоваться. Знаешь ли, Иван, что это самим Богом должно быть непременно нарочно так устрое-

но?». Вот черта, общая народной вере и народному безверию. Вера переплетается с безверием и безверие с верой – у Смердякова ради понятия о божьем человеке, у Фёдора Павловича ради представления о каком-то пригодном для жизни, обиходном боженьке, который не имеет ничего общего с серьёзной истиной и который потерпит всякую эксплуатацию умного человека, попивающего в тепле свой коньячок.

Таков Фёдор Павлович – цельный, в своём роде законченный, с лицом, похожим на его душу, и с душою, похожей на его отвратительное лицо. В одной сцене он является перед нами, окружённый всеми своими сыновьями: он – родоначальник целой породы, которая, взяв от него его карамазовские особенности, могуче развивает их в разных направлениях. Кроме самого Фёдора Павловича, в создании этой породы участвуют три женских характера: горячая, смелая, нетерпеливая Аделаида Ивановна, его первая жена, от которой родился Дмитрий, невинная кликуша Софья Ивановна, его вторая жена – мать Ивана и Алёши, и, наконец, Лизавета Смердящая, от которой родился Смердяков. Карамазовская порода произошла от шута и крепкой, здоровой женщины, от шута и кликуши, от шута и ужаснейшей в мире «мовешки». При всём своём разложении кровь Фёдора Павловича составляет паразитильно сильное бродило и чувствуется в его сыновьях.

Черезгнилые, разваливающиеся ворота мы въезжаем в широкое карамазовское царство.

По А. Волынскому

Фёдор Павлович Карамазов – наиболее отвратительное проявление карамазовщины. Его эволюция не сложна, душевный облик ясен и, в мере своей ясности, отвратителен; жизненный образ Карамазова стоит ниже уровня животного, а взгляды и суждения, интересы и стремления то угнетают читателя, то вызывают негодование.

Родовой дворянин, приживальщик, мелкий плут, разбогатевший ростовничеством, Фёдор Карамазов отвратителен даже внешне: наглые, подозрительные и насмешливые маленькие глазки, мясистый и продолговатый кадык под подбородком, длинный рот, брызжущий слюной при разговоре, пухлые, плотоядные губы – римский патриций времен упадка, по самодовольному выражению самого Фёдора Павловича, – вот его наружность – символ сластолюбия, разврата и всякой безнравственности. Теоретические обоснования жизненных воззрений старика Карамазова не вполне определённые, но в практическом отношении – это циничное выражение материализма. Лёгкое отношение к жизни, обделывание делишек без справки о мотивах совести, ловля момента и пользование удачей: «авось», «как-нибудь» и «везёт», «жизнь – копейка», «море по колено» – вот выражения, в направлении которых могут быть сформулированы взгляды Фёдора Карамазова. Фёдор Павлович много не думает над своими поступками и взглядами, идеины муки ему не свойственны, зато в жизненной практике можно видеть всю полноту выражения его личности. Отношение к женщине и взгляды на неё, издевательство над двумя своими жёнами, мучительство и истязание нервной женщины, грязные похождения, откровенный цинизм в рассказах о них, намерения долго жить в скверне, жить для одного себя – вот черты, характеризующие Фёдора Карамазова. Он раскидал своих детей, и они погибли бы в самом начале детства, если бы не лакей Григорий, который целый год держал у себя выброшенного на двор трёхлетнего Митю и подобрал семилетнего Ивана и трёхлетнего Алёшу. Что доброго оказалось в их душах, то не от Фёдора Павловича, а что злого – в том он повинен, потому что впечатления животной свинской жизни отца в раннем возрасте обилии душу братьев Карамазовых, а в момент зрелости их отец не стеснялся с циничной откровенностью повествовать им о своём свинстве и как бы радоваться засорению их души или страданию целомудренного Алёши. Фёдор Карамазов будет, наконец, предельно ясен, если вспомнить сцены в монастыре во время съезда всей семьи Карамазовых для разбора своих семейных и хозяйственных дел; в этих сценах – циник, шут,

атеист, кощунник и лжец – Фёдор Павлович является то в том, то в другом облике с неизменной низостью и подлостью души. «Хочу в скверне до конца прожить, а в рай твой, Алёшка, не хочу», – кричит он... «По-моему, заснул и не проснулся, и нет ничего... – вот моя философия...» Он ведёт разговоры о вере с детьми.

«Говори, – спрашивает 55-летний отец у Ивана, – есть Бог или нет?.. Только серьёзно! Мне надо теперь серьёзно.

– Нет, нету Бога...

– Иван, а бессмертие есть, ну там какое-нибудь, ну хоть маленькое, малюсенькое?

– Нет и бессмертия.

– Никакого?

– Никакого.

– То есть совершеннейший нуль или нечто? Может быть, нечто какое-нибудь есть? Всё же, ведь, не ничто.

– Совершеннейший нуль.

– Алёшка, есть бессмертие?

– Есть.

– А Бог и бессмертие?

– И Бог и бессмертие. В Боге и бессмертие.

– Гм. Вероятно, что прав Иван», – заключает Фёдор Павлович. Так же софистически и парадоксально шутит он по вопросу об адских мучениях. Религиозный вопрос, по-видимому, более всех беспокоит Фёдора Карамазова, потому что, во-первых, это коренной вопрос русского человека, а Фёдор Павлович всё же русский; во-вторых, вера и религия – стихия народной жизни, в среде которой паразитируют Карамазовы, презирающие народ; в третьих, представители религии, или мистики, по выражению Карамазовых, имеют стремление спасать даже таких отчаянных для спасения, как старик Карамазов. «Русского мужика, вообще говоря, надо пороть...» – говорит Карамазов. «Русская земля крепка берёзой...», но русская земля крепко связана с монастырём: он для неё в идеальном смысле оазис и питательный пункт. И Фёдор Карамазов не шутовски, а с искренним азартом выражает желание всем монахам – руководителям духовной жизни русского народа – головы срезать, потому что они развитие задерживают. «А всё-таки я бы, – говорит он Алёше, – с твоим монастырьком покончил. Взять бы всю эту мистику да разом по всей русской земле и упразднить, чтоб окончательно всех дураков обрезать. А серебра-то, золота сколько бы на монетный двор поступило!» – «Да зачем упразднять?», – спрашивает Иван. «А чтоб истина скорее воссияла, вот зачем». – «Да ведь коль эта истина воссияет, так вас же первого сначала ограбят, а потом... упразднят», – возражает Иван. «Ба, а ведь, пожалуй, ты прав, – соглашается Фёдор Павлович. – Ну, так пусть стоит твой монастырёк, Алёшка, коли так. А мы, умные люди, будем в тепле сидеть да коньячком пользоваться».

Больше с фактической стороны о Фёдоре Павловиче говорить почти нечего. Как представитель одной, самой низменной стороны карамазовщины, он достаточно ясен. Чуждый онтологических обоснований материализма, до некоторой степени принимающий его гносеологические мотивы, Фёдор Карамазов в нравственном отношении является более всего грубым материалистом-практиком, всей своей моральной фигурой иллюстрируя, каковы могут быть естественные последствия проведения материализма в практическую жизнь. Основные положения материализма сводятся главным образом к отрицанию: нет Бога – в небе пусто и глухо, нет свободы воли, нет души, нет бессмертия, нет долга и совести, а потому долой мистику и веру, семью и отечество, всё позволено – всё, даже людоедство, потому что только для верующего сознания, исповедующего вечность и Бога, возможна любовь к людям. «Уничтожьте в человечестве веру в своё бессмертие, – говорит идейный представитель карамазовщины Иван Карамазов, – и в человечестве тотчас же иссякнет не только любовь, но и всякая живая сила, чтобы продол-

жать мировую жизнь... Тогда уже ничего не будет безнравственного, всё будет дозволено, даже людоедство, даже злодейство».

Всё дозволено – и вот вам Фёдор Карамазов во всей его отталкивающей откровенности!

Фёдор Карамазов! Можно ли представить его детство, душевную чистоту, невинный взор, устремлённый на икону или на лицо матери? Было ли детство у Фёдора Павловича Карамазова? А юность с её идеалами и мечтами, верой и светлыми порывами? Или, может быть, и в эту светлую пору он уже любил жизненные закоулочки и лелеял инстинкты? А была ли у него мать – настоящая, любящая мать, помнит ли он её? А с чем отпускала она его в жизнь? Чем он был и что стал? Как дошёл он до жизни такой? Думая в направлении этих вопросов, читатели «Братьев Карамазовых» всех возрастов получают хороший урок жестокого таланта, иллюстрируемый ярким образом животной личности Фёдора Павловича Карамазова.

По Л. Соколову

Дмитрий Фёдорович Карамазов

Дмитрию Фёдоровичу Карамазову посвящена большая часть романа, на нём построен весь драматический механизм рассказа. От отца Дмитрий наследовал страстность, но в то же время он имеет доброе сердце и способен к горячему и искреннему раскаянию. Прокурор в своей речи определил его как «натуру широкую, способную совмещать всевозможные противоположности и разом созерцать обе бездны, бездну высших идеалов и бездну самого низкого, зловонного падения». Подобно отцу своему, Дмитрий Фёдорович любит «переулочки, глухие и тёмные закоулочки», потому что там встречаются разные неожиданности, «самородки в грязи». «У меня деньги, – говорит он Алёше, – аксессуар, жар души, обстановка. Ныне вот она моя дама, завтра на её месте уличная девчонка. И ту и другую весело, деньги бросаю пригоршнями, музыка, цыганки. Коли надо, и ей даю, потому что берут, берут с азартом... Любил разврат, любил и срам разврата. Любил жестокость: разве я не клоп, не злое насекомое? Сказано – Карамазов!.. И вот в самом-то этом позоре я вдруг начинаю гимн. Пусть я проклят, пусть я низок и подл, но пусть и я целую край той ризы, в которую облекается Бог мой... я всё-таки и Твой сын, Господи, и люблю Тебя и ощущаю радость, без которой нельзя миру стоять и быть».

Таким образом, у Дмитрия сквозь все неистовства страсти проходит тоска о возрождении в лучшую жизнь. Характерна в этом случае история с его невестой Катериной Ивановной. Это была девушка высокоцеломудренная и гордая. Когда она пришла к нему на квартиру за деньгами, Митя наслаждался её унижением, смущением и страхом. Его соблазняло поступить с ней, как подобает «клопу, злому тарантулу», безо всякого сожаления. У него даже дух «пересекло»... И вдруг он молча передал ей деньги, и сам отворил дверь в сени. Она вздрогнула и тихо поклонилась ему в ноги. Этот необыкновенный с его стороны подвиг потряс его воображение на всю жизнь. Он его бережёт, как святыню, и, как о святыне, рассказывает о нём в страшном волнении Алёше в уединённом садике. Понятно, что такая идеальная настроенность продолжалась в его душе недолго. Катерина Ивановна стала его невестой и взяла с него честное слово исправиться. Но Митя тем временем до безумия увлёкся Грушенькой. Три тысячи, которые он взял у невесты для отсылки в Москву, Митя наполовину прокутил с Грушенькой на постоялом дворе в Мокром.

Весь секрет романа, на котором построено обвинение Мити в убийстве отца, состоит в том, что Митя прокутил только половину этих денег, а остальную половину в глубочайшей тайне зашил в ладонку и носил на груди в намерении отдать их Катерине Ивановне, потому что в таком случае, размышлял Митя, «он будет всё, что угодно, и зверь и подлец, но уже не вор, не вор окончательно, ибо, если бы вор, то наверно бы не принёс назад половину сдачи, а присвоил бы и её».

Таким образом, какие-то смутные идеалы носятся над ним, как призраки, и не дают ему окончательно погрязнуть в пороке.

Мысль о Грушеньке также связана у него с мечтой о добродетельной жизни. Он решил, что «раз Грушенька выговорит ему, что его любит и за него идёт, то тотчас же и начнётся совсем новая Грушенька, а вместе с ней и совсем новый Дмитрий Фёдорович, безо всяких уже пороков, а лишь с одними добродетелями, оба они друг другу простят и начнут свою жизнь уже совсем по-новому».

Дмитрий не может быть холодным, убеждённым преступником. Он мог бы сделаться самоубийцей, мог бы сделаться даже убийцей, но только случайно, под влиянием сильного аффекта. С большим искусством Достоевский подготавливает в читателе полнейшую иллюзию, что Дмитрий сделается отцеубийцей. Ещё в начале романа говорится о том, что старец Зосима неожиданно сделал перед Митей земной поклон; этим символом вещей старец предсказал ему будущее страдание. «Старика убью», – говорит Дмитрий Алёше. «Не убил, так ещё приду убить», – кричит он после того, как повалил отца на землю. В роковую ночь он бросился к отцу и стал высматривать его через окно. «Личное омерзение нарастало нестерпимо. Митя уже не помнил себя и вдруг выхватил медный пестик из кармана...» Повествование прерывается точками. Ясно для читателя, что Дмитрий – убийца. Но потом читатель узнаёт, что у Дмитрия в последнюю минуту доброе начало пересилило злое. «Слёзы ли чьи, мать ли моя умолила Бога, – говорил он позднее, – дух ли светлый облобызал меня в то мгновение, – не знаю, но чёрт был побеждён. Я бросился от окна и побежал к забору».

Неожиданная катастрофа, разразившаяся над Дмитрием, обнаружила всё величие его души, всю глубину его веры и преданность Промыслу. Чтобы искупить свои прежние грехи, он решился пострадать безвинно. Кроме того, он однажды видел во сне страдающее дитя, или «дитё», которое служит символом всеобщего человеческого горя, и Дмитрий решил кстати пострадать и для искупления его страданий. Представлялось ему несколько искушений, но он устоял перед ними. Ракитин, семинарист-безбожник, старался поколебать в нём веру и сорвать в безбожие и с этой целью толковал ему, что душа и весь духовный мир – это одна химия и нервные хвостики. Но дьявольские наветы семинариста только на время смутили Митю. Митя понимал, что без Бога и без будущей жизни существование человека есть суета, все добродетели – пустой мираж. Если Бога нет, то в чём найти утешение и силу в страдании? Если Его нет, то каждый человек – не простой человек, а человек-бог, которому всё позволено.

Иван Фёдорович предлагает Мите бежать от каторги. Митя понимает, что побег несовместим с его высоким замыслом пострадать за голодное, холодное, плачущее «дитё». «Было указание – отверг указание, был путь очищения – поворотил налево кругом». Алёша со своей стороны убеждает Митю в необходимости побега. «Ты не готов и не для тебя такой крест, – говорит он. – Мало того: и не нужен тебе, неготовому, такой великомученический крест. Но ты невинен, и такого креста слишком для тебя много». Эти слова Алёши, заключающие в себе несомненную правду, заставляют читателя огорчиться за Митю. Если Митя не готов для креста, то спрашивается, на каком ином пути он может подготовиться к нему. Алёша думает, что бегство Мити в Америку может помочь его возрождению. «Не всем бремена тяжкие, для иных они невозможны», – замечает он. Читатель, однако, предчувствует, что бегство не спасёт Мити. Становится больно за Митю и грустно за Христа.

По И. Глебову

Дмитрий Карамазов – главный герой романа и, можно сказать, главная фигура в карамазовском царстве. Вокруг него разворачиваются все события романа, его личная лихорадочная жизнь захватывает своими интересами всех, кто с ним ни оприкоснется. Это – поистине русская душа.

Наружность его описана смелыми, решительными чертами. «Дмитрий Фёдорович, двадцативосьмилетний молодой человек, среднего роста и приятного лица, казался однако же, гораздо старше своих лет. Был он мускулист, и в нём можно было угадывать значительную физическую силу; тем не менее в лице его выражалось как бы нечто болезненное». Сын грубо красивой, здоровой женщины, Аделаиды Ивановны, он наследовал от неё мускулистость, физическую силу и приятность лица. От отца он взял средний рост и те черты характера, которые вовлекли его в исступлённые кутежи и преждевременно сделали несколько болезненным: «Лицо его было худощаво, щёки ввалились, цвет же их отливал какой-то нездоровою желтизной». Особенное внимание обращает на себя описание его глаз: «Довольно большие тёмные глаза навскидку смотрели хотя и с твёрдым упорством, но как-то неопределённо. Даже когда он волновался и говорил с раздражением, взгляд его как бы не повиновался его внутреннему настроению и выражал что-то другое, иногда совсем не соответствующее настоящей минуте». Две стихии его души отражаются в этих глазах: одна – земная, живущая в страстях минуты и набрасывающаяся на всякий частный предмет, как бы стремящаяся взять его с бою, другая – неопределённая, далёкая, ещё не влиятельная, но уже влияющая на все его поступки. Можно было бы сказать, что как в душе его уживается идеал содомский с идеалом Мадонны, так и в глазах его – выпуклых, вероятно, близоруких – мелькают одновременно два света: inferнальный огонёк его неумеренных дебошей и бледный туманный свет приближающейся внутренней зари. «Иные, видевшие в его глазах что-то задумчивое и угрюмое, случалось, вдруг поражались внезапным смехом его, свидетелевавшим о весёлых и игривых мыслях, бывших в нём именно в то время, когда он смотрел с такою угрюмостью». Так должны были понимать его окружающие люди, не проникая в суть его внутренней жизни. Внезапный смех Дмитрия, который разрешался его задумчивость и угрюмость, был результатом не весёлых и игривых мыслей, а внутреннего разлада между двумя жившими в нём стихиями: он не может овладеть наиболее серьёзной стороной своей души, укрепиться, твёрдо стать на ней, извлечь из неё определённый материал для жизни, и в ту минуту, когда она ускользает от него, он вдруг – в быстром переходе к своей обычной, земной стихии – раздражается смехом. Это – смех невольный, рефлексивный, скорее всего над самим собой, над своими внутренними несообразностями. Именно так он смеётся в сцене, когда Алёша рассказывает ему о первом свидании Грушеньки с Катериной Ивановной. Слушая, как она, Катерина Ивановна, была унижена, он молчал, смотрел в упор «со страшную неподвижностью». Он нахмурил брови, стиснул зубы, ужасный гнев выражался в лице его. «Тем неожиданнее было, когда вдруг с непостижимой быстротой изменилось разом всё лицо его, доселе гневное и свирепое, сжатые губы раздвинулись, и Дмитрий Фёдорович залился вдруг самым неудержимым, самым неподдельным смехом. Он буквально залился смехом, он долгое время даже не мог говорить от смеха». Божеское начало протестует в нём против человеческого унижения, но протестует неопределённо, бесформенно. Оно даёт себя чувствовать только на короткое мгновение: «болезненный» восторг перед inferнальной красотой Грушеньки сильнее в нём этого безличного протестующего страдания, и, внезапно отдаваясь своим коренным чувствам, он захлебывается в каком-то диком смехе. Это именно – смех от трагического разлада, это – само бессилие, сама трагедия его жизни, это – смех сквозь слёзы над человеческой природой, которая падает ниц перед злой красотой, проклиная при этом и её, а себя. Старец Зосима улавливает в Дмитрии его великие страдания, происходящие от его внутреннего раздвоения, – улавливает, глядя ему в глаза! «Показалось мне вчера нечто страшное... словно всю судьбу его выразил вчера его взгляд. Был такой у него один взгляд...» Для проницательного Зосимы ясно то, что неясно для толпы, ибо он умеет читать сквозь немую материю живую человеческую душу.

Продолжая изучать внешний облик Дмитрия Карамазова, мы находим в романе следующие черты. «Как военный недавно в отставке, он носил усы и брил пока бороду. Тёмно-русые волосы его были коротко обстрижены и зачесаны как-то височками вперёд. Шагал он решительно, широко, по-фрунтовому». Нужно прибавить к этому, что, являясь к людям, как в данном случае в келью старца Зосимы, как впоследствии к купцу Самсонову, он соблюдает полную корректность в костюме – не из тщеславия или фатовства, а из природной любви к изяществу. Этот застёгнутый чёрный сюртук, чёрные перчатки и цилиндр в руках создают пластическое представление о какой-то нравственной выправке и почтительности к людям, которые уживаются с его карамазовским безудержем. В противоположность распущенному Фёдору Павловичу, с его разбрызганным скоморошеством, он кажется страшно сконцентрированным человеком, – несмотря на всё своё кипение, на весь свой размах. Шагает он решительно, широко, по-фронтовому. «Большими и решительными шагами подошёл он к окну». «Твёрдыми, фронтовыми, аршинными шагами» идёт он навстречу Самсонову. «Теми же скорыми, аршинными шагами, не оборачиваясь», уходит он от Самсонова. В поисках Лягавого он «зашагал своими аршинными шагами» так быстро, «что бедный батюшка почти побежал за ним». Приехав в Мокрое, он «скорыми и длинными своими шагами подступил вплоть к столу». Даже являясь в суд – по обыкновению, в «новешеньких чёрных лайковых перчатках и в щёгольском белье», он проходит на своё место «своими длинными, аршинными шагами, прямо до неподвижности смотря пред собой». Опрометчивый эксперт, доктор Герценштубе, усматривает даже ненормальность Дмитрия в этой его походке: он «шагал вперёд как солдат и держал глаза впереди себя, упираясь, тогда как вернее было ему смотреть налево, где в публике сидят дамы».

Весь свой жизненный путь проходит Дмитрий Карамазов своей твёрдой размеренной походкой. Пройдя сквозь военную дисциплину, он сохранил свой фронтовой шаг, определённый ритм в движениях, как бы под звуки военного марша, но к этой усвоенной привычке размеренности присоединяется у него твёрдость и решительность – сила его собственной природы, стремительный разбег темперамента. Так, у Самсонова, несмотря на затруднительность момента, он вдруг срывается с места и идёт навстречу старику твёрдыми шагами. Так, в Мокром он скорыми шагами подступает вплоть к столу, за которым сидит Грушенька с Мусьяловыми, хотя именно в эту минуту вся его душа измучена и расшатана мыслями о разлуке и о самоубийстве. Живущая в нём могучая стихия придаёт всем его манерам быстрый, страстный темп. Ладыя его жизни несётся по волнам под сильно надутым парусом. И в этой же твёрдой, полнозвучной походке сказывается всё его прямодушие, вся его откровенность, всё его мужество.

Подобно его шагам, смех у него особенный и столь же выразительный для его внутренней жизни. Он хохотал своим «коротким, деревянным смехом», – говорится в одном месте. Он захохотал «своим неожиданным, коротким смехом», – говорится в другом месте. В Мокром, однако, при первой встрече с Грушенькой и первых её ласковых словах он «залился слезами... и вдруг засмеялся, но не деревянным своим отрывистым смехом, а каким-то неслышным, длинным, нервным и сотрясающимся смехом».

Голос Дмитрия Карамазова почти не описан в романе отдельно от смеха, но через этот его смех – короткий, отрывистый, деревянный, иногда неожиданный – как бы слышишь и его голос. Впрочем, в некоторые моменты его душевные иступления достигают такой высоты, что художник невольно прибегает к словам, которые намечают и характер его голоса. Он «неистово рявкнул», – говорится в одном месте, и это слово повторяется ещё дважды. Иногда, в гневе, голос его становится похожим на рычание. В минуту нервности и экспансивности он говорит громко, быстро, с жестами, неистово, иступлённо. Это – краски, косвенно передающие самый тембр его голоса. В эту полосу его жизни, до великих его мытарств и внутреннего преображе-

ния, этот голос должен был быть сильным и крепким в своей однозвучности – без оттенков, как и движения его, мощные и грубые, которые шокировали манерную Хохлакову. Но голос, как и смех его, благодаря своей отрывистости, не мог быть монотонным, навязчивым и утомительным, как это бывает с гулко раскатистыми голосами. Эта отрывистость, эти паузы, создаваемые какой-то внутренней стыдливостью, какой-то рефлексивной нравственной осторожностью в общении с другими людьми, сами по себе уже придают человеческой речи известный колорит и смягчающие оттенки. Впрочем, при судорожном темпе его внутренней жизни, при «отрывистом и неправильном» характере его ума, отрывистость его речи, его смеха должна была быть естественным выражением всей его индивидуальности. При своём трагическом раздвоении Дмитрий Карамазов является необычайно цельным существом, ибо во всём, что он делает, во всём, что он говорит, бьётся цельное, так сказать, полнокровное чувство. В этом отношении он – страшно русский человек.

Язык Дмитрия Карамазова такой же полновзвучный, такой же полнокровный, как его чувства, и такой же отрывистый, как его смех. В нём переливаются свежие краски целого мира, ибо при малом образовании Дмитрий соприкасается душою со всем, что делается на свете, и откликается на самые различные веяния жизни с лёгкостью молодой, чуткой, вдохновенной природы. Его язык полон метафор, ибо и идейная сторона всякого предмета рисуется ему не в метафизическом отвлечении, а именно слитно с явлением жизни – в отчётливом, хотя и фантастическом образе. Дмитрий поэтичен, полон поэзии! Встретившись с Алёшей, он говорит ему: «Восхвалим природе – видишь, солнца сколько, небо-то как чисто, листья все зелены, совсем ещё лето, час четвёртый пополудни, тишина». В другой раз, тоже при встрече с Алёшей, он говорит ему: «Стой. Посмотри на ночь: видишь, какая мрачная ночь, облака-то, ветер какой поднялся». Несмотря на бешеный разбег своих страстей, на вечную сосредоточенность в своих мыслях о Грушеньке, он как-то не отрывается от природы. Его настроения представляют параллель – совершенно естественную параллель – тому, что делается вокруг него. Он действительно ощущает природу, и в словах его веет природой. Его живая память запечатлевает в себе все доносящиеся до него отрывки мировой поэзии. Классические образы, пришедшие в Россию из дымного отдаления античной древности, живут в его устах обновлённой патетической жизнью. «Я златокудрого Феба и свет его горячий люблю!», – восклицает он. И видно, что для его наивной природы образ златокудрого Феба действительно сливается с солнцем, которое сверкает в венце своих золотых лучей. Даже говоря в иносказательной форме о предполагаемом самоубийстве, он с обычным упоением вспоминает о солнце: «Завтра, на рассвете, когда «взлетит солнце», Митенька через этот забор перескочит». Так сжился он с образом златокудрого Феба, что солнце рисуется ему лёгким, как образ этого лёгкого, подвижного бога: «Как солнце взлетит, вечно юный-то Феб как взлетит, хваля и славя Бога...», – продолжает он говорить на ту же тему. Образы сами по себе создают идеи, тоже лёгкие, тоже как бы взлетающие над жизнью. И этот «забор», через который перелезет Митенька, – грань грубой, внешней жизни, из которой он решил уйти, – тоже великолепен в этом красочном карамазовском языке, отражающем величайшие откровения души. Бессознательно живут в нём звуки поэзии и в минуты душевных напряжений просыпаются в нём, облекаясь в слышанные где-то и когда-то стихи. В своей исповеди перед Алёшей он, можно сказать, сыплет стихами. В ночь убийства, пробравшись в сад к отцу, он вдруг останавливается, поражённый затишьем, и в памяти его сейчас же оживает «стишок»: «И только шепчет тишина». В тишине ночи он как бы слышит шёпот собственного сердца.

Как хорошо передаётся в его языке темп и самый смысл его любви к Грушеньке! «Грянула гроза, ударила чума, – говорит он, – заразился и заражён доселе, и знаю, что уж всё кончено, что ничего другого и никогда не будет. Цикл времён совершён». В диком сбросе этих слов, тоже ярких и красочных, всё, однако, на своём месте: сама

любовь его похожа на внезапно грянувшую грозу, на жестокую заразу, от которой нет излечения. «Цикл времён совершён» — весь цикл его жизни захвачен одной бесповоротной страстью. «Гибель и мрак! — восклицает он дальше, в минуту отчаяния в своей судьбе. — Смердный переулочек и inferнальница!» Именно Дмитрий, одним самобытным образным словом, даёт ключ к пониманию трагической природы Грушеньки. «Инфернальная женщина» — это целый тип, который навсегда останется в литературе под этим дивным названием. Восторг сливается в нём с осуждением. Такими гениально меткими словами может говорить только герой Достоевского. «Царица всех inferнальниц» становится его святыней. «Она чиста и сияет!», — говорит он о ней пану Муссяловичу. «Кровь моя, святыня моя!» — называет он её на допросе предварительного следствия. «Это — свет, это — святыня моя», — иступлённо повторяет он на том же допросе. Всё ярко в словах его и дышит цельной жизнью в своей демонской страсти и в своём духовном умилении перед этой красавицей.

Язык Дмитрия — это язык его чувств, и каждый новый оттенок в его настроении тотчас же отражается в его словах. Нельзя себе представить большого размаха речи при передаче внутреннего отчаяния, чем в речах Дмитрия перед отъездом в Мокрое для прощания с Грушенькой. Он решил отступить от неё. «Отстанись, Митя, — говорит он себе, — и дай дорогу». Во время бешеной скачки для последнего кутежа он заговаривает с ямщиком и обращается к нему со следующими иносказательными словами: «Ты ямщик? Ямщик? Знаешь ты, что надо дорогу давать. Что ямщик, так уж никому и дороги не дать, дави, дескать, я еду! Нет, ямщик, не дави! Нельзя давить человека, нельзя людям жизнь портить; а коли испортил жизнь — наказуй себя... если только испортил, если только загубил кому жизнь — казни себя и уйди». В немногих словах вся его душа и весь его темперамент. Вся жизнь рисуется дорогой, с которой Дмитрий хочет уйти — уйти в небытие, чтобы только не давить других. На одну минуту видишь его самого в этом образе ямщика, круто сворачивающего свою рассказавшуюся тройку. Что-то гоголевское проносится в безотчётном уподоблении Дмитрия, навеянном самоощущением этой роковой минуты. Но то, что у Гоголя является оптимистическим видением на национальной почве, то у Достоевского при передаче иступлений Дмитрия Карамазова является символом трагического самообуздания — при том же народном колорите. И вот почему полный красок язык Дмитрия так характерен не только для понимания его самого, его индивидуальности, как она обрисована у художника, но и всей русской жизни в её типичнейшем среднем слове.

В самом Мокром в первые минуты, когда для него ещё не ясны новые отношения к нему Грушеньки, в словах его мелькает новый образ: «Я хочу музыки, — кричит он, — грому, гаму... Но червь, ненужный червь проползёт по земле, и его не будет! День моей радости помяну в последнюю ночь мою!» Он видит себя червём, ибо в душе своей он уже готов истребить себя: он уже видит себя маленьким, бесконечно маленьким существом, которое должно быть раздавлено другими, ибо у этих других больше прав на жизнь. Чисто русская психология — способность к вдохновенному самоумалению — слышится и видится в этих словах Дмитрия. Но ещё ярче и ещё трогательнее выступает это вдохновенное самоуничуждение в двух его молитвах — перед приездом в Мокрое и в самом Мокром. Какое истинно молитвенное красноречие, какие псалмы пред лицом невидимого Бога! «Господи! Прими меня во всём моём беззаконии, но не суди меня. Пропусти меня без суда Твоего. Не суди, потому что я сам осудил себя; не суди, потому что люблю Тебя, Господи! Мерзок сам, а люблю Тебя: во ад пошлешь, и там любить буду, и оттуда буду кричать, что люблю Тебя во веки веков». На всём скаку бешеной тройки в тот час, когда в Дмитриии должно было кипеть чувство обиды и безотчётное желание кому-то отомстить за неё, отомстить всем, отомстить судьбе, он сам смиряется в своих настроениях, он никого не судит и просит Бога только о том, чтобы он пропустил его мимо, без суда. Эти простые и всё-таки неожиданные слова, которые самой своей свежестью создают

великолепную художественную картину. Это выражение: «пропусти мимо», которое по смыслу сливается с образом ямщика, сворачивающего с дороги: он ждёт для себя от Бога того, что сам решил сделать для других, для Грушеньки, прислушавшись к голосу своего сердца, своего внутреннего Бога. Он пропустит её мимо себя, без суда и без счётов, потому что он – тот ямщик, который не давит людей. Добрый русский ямщик при всей своей удалости правит с оглядкой, боясь ненужных жертв, ненужных несчастий. «Но дай и мне долюбить, – продолжает Дмитрий свою молитву, – здесь, теперь долюбить, всего пять часов до горячего луча Твоего... Прискачу, паду пред ней: права ты, что мимо меня прошла». Опять какое простое и какое неожиданное слово – «долюбить», со страшной реальностью передающее его воспалённую мечту! Как будто судьба отнимает от губ недопитый бокал, а он со страстной жаждой тянется к нему. Он надеется, что в пять часов, остающихся до горячего солнечного луча, он утолит свою душу последними восторгами любви. Всё дано, всё показано в словах этой удивительной молитвы. «Боже, оживи поверженного у забора! Пронеси эту страшную чашу мимо меня!.. – молится он уже в Мокром, вспоминая об ударе, который он нанес Григорию. – Но нет, нет, – о, невозможные, малодушные мечты!

О, проклятие!». Когда всё так неожиданно повернулось в Мокром, когда вместо разлуки он учуял любовь Грушеньки, «разбросанные мысли его вдруг соединились, ощущения слились воедино, и всё дало свет. Страшный, ужасный свет!» Он ждёт суда, знает, что любовь его и теперь не больше как мечта – мечта невозможная, потому что ничем нельзя поправить совершенного им преступления. Слова здесь выражают всё, и смена самых тонких настроений и несовместимых движений души проходит перед глазами. Язык Мити так же ясен, так же колоритен, как и вся его горячая натура.

Чувства его передаются словами, которые изображают их с самой глубокой стороны. Как все душевные перевороты имеют у него высший смысл, так и выражения его полны каких-то мистических символов. Узнав на предварительном следствии, что Григорий не убит, он восторженно воскликнул: «О, благодарю вас, господа! О, как вы возродили, как вы воскресили меня в одно мгновение!..» Возрождение, воскресение – это понятие, которое охватывает истинную суть того, что совершается в нём, того внутреннего процесса, который поведёт его к новому свету. Несколько времени спустя уже в тюрьме перед началом судебного разбирательства он говорит Алёше: «Брат, я в себе в эти два последние месяца нового человека ощутил, воскрес во мне новый человек! Был заключён во мне, но никогда бы не явился, если бы не этот гром». Какая почти революционная смелость выражений, которая сливается с грёзами Достоевского о новой, боговдохновенной красоте! Казалось бы, что человек раз навсегда дан в своём внешнем и внутреннем строении, что в нём могут быть разве только какие-нибудь новые мысли, какие-нибудь ещё не пережитые ощущения. Но художник, который смотрит в глубину – туда, где даны элементы, из которых образуется человек, – думает иначе. Под готовыми, исторически и психологически сложившимися материалами человеческой жизни скрыты новые, ещё не развернувшиеся начала, семена новых форм, – скрыт новый человек. Когда он пробьётся, когда он выйдет на свет, «всё пойдёт по-новому», «мир выйдет на новую улицу». С новым человеком родится новая красота. Этой новой красотой по-новому живёт и чувствует в тюрьме Дмитрий Карамазов. Как скульптор выбивает молотком из мрамора новые образы, так и судьба выбивает из Дмитрия Карамазова нового человека. «Можно возродить и воскресить в этом каторжном человеке замёрзшее сердце, – говорит он Алёше, – можно выбить, наконец, из вертепа на свет уже душу высокую, страдальческое сознание, возродить ангела, воскресить героя!» Он сознаёт благодатный переворот в собственной душе, и звучная речь его сама полна этой благодати. «Воскреснем в радости, без которой жить человеку невозможно», – восклицает он всё в том же темпе молитвенного красноречия. «Господи! истай человек в молитве! Врёт Ракитин: если Бога с земли изгонят, мы под землей Его сретим! Каторжному без Бога быть невозможно, невозможнее даже,

чем некоторому! И тогда мы, подземные человеки, запоём из недр земли трагический гимн Богу, у которого радость. Да здравствует Бог и Его радость! Люблю Его». Надо иметь смелость говорить такими слишком непривычными, ошеломляющими словами вопреки заплесневелым традициям общеупотребительной речи. Толпа боится слов, которые кажутся ей и неправильными, и ненужными, потому что слова эти обязывают к пересмотру старых понятий, с которыми срослась тупая привычка жизни. Но Достоевский тревожными ударами вечового колокола сзывает русских людей к суду над всем, что старо, что одряхло, что мешает возрождению ангела, воскресению героя. Только новый человек, со светом новой красоты в душе, может воскликнуть от полноты горячего сердца: «Да здравствует Бог и Его радость!»

Чтобы окончательно дорисовать речь Дмитрия Карамазова, следует отметить ещё некоторые штрихи, мелькающие в ней каждый раз, когда он касается современных умственных брожений. Дмитрий чутьём непосредственной природы угадывает слабые стороны господствующих увлечений, и в словах его слышится юмор, какой-то особенный, чисто русский, дающий чувствовать искусственность разных теоретических построений и поверхностных мирозерцаний. Здравый русский язык в сочетании с отдельными книжными словами новейшего интеллигентного пошиба как бы оттеняет всю эфемерность, всю условность этих надуманных выражений. «Какие страшные трагедии устраивает с людьми реализм!» – восклицает Митя, когда выбился из сил, будя пьяного Лягавого. Он переживает истинно тяжелую минуту, но несносность своего положения выражает современным словом, и это слово звучит у него как комическое. Всё свинство этого Лягавого и своей возни с ним он инстинктивно определяет именно так, как определили бы его современные интеллигентные люди, те – от полноты серьёзного убеждения, а он со скорбной шуткой над собой и над обстоятельствами. У Хохлаковой, к которой он является с просьбой о трёх тысячах, он опять находится в том же трагикомическом положении. «Реализм действительной жизни, сударыня, вот что это такое!» – восклицает он. Невозможный плеоназм звучит у него опять юмористически, потому что он бессознательным, но верным инстинктом осуждает то узаконение действительности, которое выражается в новом научном словаре – осуждает по-русски, осуждает с добродушным смехом. Одна беседа Дмитрия с Алёшей в тюрьме сверкает тончайшей иронией над дилетантским движением в духе материализма, которое из либеральной журналистики 60 и 70 годов выплеснулось на невежественную русскую улицу. Дмитрий передаёт Алёше свою беседу с Ракитиным, который готовится занять место в «отделении критики» при каком-нибудь столичном журнале. «Карамазовы не подлецы, а философы, потому что все настоящие русские люди философы, а ты хоть и учился, а не философ, ты смерд», – говорил ему Дмитрий. В шутилой форме намечается то, что настоящая философия идёт не из рассудка, не из книжной выучки, а из души, и в этом смысле Карамазовы, действительно, философы. Ракитин злобно засмеялся, а Дмитрий, видоизменяя популярное изречение, продолжал шутить: «Де мыслибус non est disputandum». Материалистические теории того времени Дмитрий, при путанице своих ограниченных познаний, связывает почему-то с именем Клода Бернара, которого он, сбиваясь, называет Карлом Бернаром. Всех людей, которые судят поверхностно и в духе материализма, он называет Бернарами. «Ракитин пролезет, Ракитин в щёлку пролезет, тоже Бернар. Ух, Бернары! Много их расплодилось!»

Когда на судебном разбирательстве прокурор в своей речи передавал мнение Ракитина о Грушеньке, в его лице выразилась презрительная и злобная улыбка, и он довольно слышно проговорил: «Бернары!» Это – тоже наивная русская манера каким-нибудь одним неприятным словом мазать по целому ряду жизненных явлений, в которых улавливается сходство. Дмитрий чувствует, что если правы Бернары, если прав Ракитин, то он совершенно пропал – пропало всё, что дорого его душе. «Бога жалко», – говорит Дмитрий: он совершенно уразумел, что ракитинские теории несоединимы с идеями о Боге. «Химия, брат, химия! Нечего делать, ваше преподобие, подвиньтесь

немножко, химия идёт!», – восклицает он, обращаясь к Алёше. И излагая с нарочитой сбивчивостью, как бы с юмористическими гримасами грубую логику журнальных материалистов, он смешивает ходячие научные выражения с собственными наименованиями. «Хвостики» нервов, дрожание которых производит образ и от которых происходит всякое умственное созерцание – вот суть материалистических теорий, как их передаёт Дмитрий со своими забавными поправками и смущёнными, как бы виноватыми огорчками относительно точности своих определений. Это – гениальная страница в романе, в юморе которой скрыт убийственный приговор над бойким, но пустым словопрением той эпохи. И как много значит здесь мягкий колорит всех этих речей Дмитрия, которые, при всей своей непримиримости, проникнуты какой-то сердечностью и чужды раздражения. Это лёгкое, свободное, простодушное отношение к тому, с чем он не согласен, над чем он может только смеяться, даёт ему возможность, оставаясь самим собой, не отрицать права на существование и других. «Не мои они люди!» – говорит он об американцах, которых называет «машинистами необъятными». Его не любовь к материализму, со всей его помпой широкой внешней культуры, сказывается в этих словах – но сказывается опять-таки с мягким, беззлобным юмором.

Язык Дмитрия Карамазова так колоритен во всех его проявлениях потому, что душа его полна чувств, потому, что всякое явление, вошедшее в его сознание, тотчас же возбуждает живой ток живого настроения. Эта субъективная сторона всякого проходящего через душу явления и называется чувством. В противоположность Фёдору Павловичу, у которого и воля, и мысль кричат в пустоте, Дмитрий Карамазов весь преисполнен ощущений, звуков, горячей внутренней стихии, которая мгновенно обретает себе исход в восторженных словах или решительных движениях. Его речи, как и его поступки или замыслы, всегда внезапны и всегда имеют характер высшей экзальтации. Вдруг среди беседы он начинает декламировать стихи. Вдруг он выражает какую-нибудь яркую, резкую мысль, внезапно озарившую его сознание. («На свою добродетель любит, а не меня», – невольно, но почти злобно вырвалось вдруг у Дмитрия Фёдоровича при разговоре с Алёшей о Катерине Ивановне. В несколько мгновений он переживает совершенно различные чувства, потому что и мысли его быстро переходят с одного предмета на другой. Говоря о Грушеньке и о своих отношениях с ней, он «вдруг стал как пьяный, глаза его вдруг налились кровью». Прибывав к отцу и уже убедившись, что Грушенька не у него, он внезапно приходит в ярость: он «вдруг схватил старика за обе последние космы волос его, уцелевшие на висках, дернул его и с грохотом ударил об пол». Всё у него совершается вдруг, внезапно, неожиданно. Почти везде, где является в романе Дмитрий, художник употребляет это слово – «вдруг», передающее темп его жизни, это бурное половодье чувств, которое быстро переносит зарождающиеся ощущения, мысли из бездеятельных сфер внутреннего созерцания в область страстных движений и поступков. Это же половодье чувств и даёт Дмитрию тот восторг, тот экстаз, в котором постоянно живёт его душа. Он не просто чувствует какое-нибудь явление, не просто ощущает, а чувствует и ощущает – постоянно, неизменно, всей силой своего горячего сердца до восторга, до экстаза. Если в одряхлевшей душе Фёдора Павловича живут холодные, терзающие тени, то в душе Дмитрия постоянно горит огонь и тлеют раскалённые угли. Нет такого мелкого факта, незаметно проносащегося для всех других, который не давал бы пищи его внутреннему горению. Преклоняясь перед Алёшей, называя его ангелом на земле, он, однако, ставит ему в упрёк то, что он «не додумывался до восторга». Поразительная черта, которую невозможно не заметить при анализе характера Дмитрия. Возможно, что Дмитрий, который в своих мыслях так же, как и в своих чувствах, всегда доходит до восторга, сознаёт, что в этом именно отношении нежный, тонкий Алёша не является большой, могучей силой. Сам он всегда полон восторга во всех направлениях. Благородно отпустив Катерину Ивановну, когда она явилась к нему с готовностью принести себя в жертву, он вдруг вытащил шпагу, как бы готовясь заколоть себя, но вместо того

восторженно поцеловал её. «Понимаешь ли ты, — говорит он Алёше, — что от иного восторга можно убить себя, но я не закололся, а только поцеловал шпагу и вложил её опять в ножны...» В одну секунду у него меняются чувства, меняются намерения, но при неизменном подъёме всего его внутреннего существа. Придя к Самсонову с щекотливой просьбой о деньгах, он при каждом слове, которое может истолковать в свою пользу, загорается восторгом, трепещет от восторга. Затем, в дальнейших своих скитаниях, он восторженно «замирает душой» при каждой новой надежде. Даже слушая нелепые планы на его счёт госпожи Хохлаковой, он всё ещё не теряет своего восторженного состояния. Подъезжая к Мокрому и думая о том, как он уступит дорогу царице души своей, он полон «какого-то истерического восторга». Всё его поведение в Мокром проникнуто высочайшим восторгом. Внезапно слетевшая на него любовь Грушеньки поднимает его душу надо всем, что ещё недавно унижало и терзало его. На каждое её движение он отзывается восторгом, мельчайшие проявления её чувства вызывают в нём «восхищение». Наконец, нельзя себе представить высшего духовного восторга, чем тот, который сказывается в речах его в тюрьме.

Дмитрий говорит бессвязно, беспорядочно, горячо. Всё, что он делает, — он делает вдруг, с замиранием души, спешно, иступлённо.

По А. Волынскому

В Дмитрие Карамазове есть простодушие, прямота, устремление к добру, правдивости. Он не мелочен. Ему доступны муки совести. Но те или другие по-своему привлекательные черты могут быть и у людей, в целом глубоко отрицательных...

В каждом человеке есть ведущее, определяющее, решающее начало, за всей пестротой противоречивых побуждений, мыслей, чувств. Только по делам можно твердо судить о человеке! — эту истину не уставал развивать Горький в образах своих произведений. Только в делах, поступках проявляется и проверяется весь человек как он есть, весь его характер, со всеми живыми противоречиями, вся его объективная сущность. Но главное, ведущее в человеке проявляется и в его ошибках — в характере ошибок, в умении беспощадно осудить себя, в действии, исправляющем ошибку.

При всех своих индивидуальных особенностях Дмитрий Карамазов является в конечном итоге вариацией постоянного образа произведений Достоевского — человека, способного созерцать «обе бездны разом», чувствовать наслаждение и в подвиге великодушия, и в мерзости. Как и Ставрогин («Бесь»), Дмитрий Карамазов говорит о себе, что он — паук, подлое насекомое. Как и Ставрогин, Дмитрий Карамазов, по его собственным словам, не просто развратен, а любит разврат, любит и срам разврата; не просто бывал жестоким, а любит жестокость. При таком сходстве характеров в главном, коренном отходят на задний план индивидуальные отличия и особенности.

Почему же Ставрогин, при всей его несомненной идеализации, всё же осужден автором, а Дмитрий Карамазов поднят в сиянии мученического венца?

Это происходит, прежде всего потому, что Дмитрий, с точки зрения автора, — «обыкновенный», так сказать, массовый современный человек, в котором уживается душа «жестокого и сладострастного паука» с благородными порывами. Человек в лице Мити Карамазова беззащитен перед тёмными страстями, он — их слепая игрушка. Обидчик детей, виновник смерти Илюшечки и сам — большое дитя, и доброе и злое одновременно, — таков, по Достоевскому, Митя, — но таков же, с точки зрения писателя, и вообще «современный человек», подобный подростку, не знающему, где добро и где зло. Если не обуздать человека внешней силой, — Дмитрий так и говорит, что если бы не внешняя сила, то он продолжал бы и впредь своё беспутство. Внешняя сила — это религия, церковь. Только она и способна обуздать современного человека — анархиста по самой своей природе.

Эта глубоко пессимистическая концепция темной природы «человека вообще» или «современного человека» и лежит в основе идеализации Дмитрия Карамазова.

Но тяга Дмитрия к преступности – это не свойство человека вообще, это свойство карамазовской разрушительной «души», всё той же тёмной души социального отщепенца, которую Достоевский воспроизводил и в ряде других своих образов.

Идеализация «Митеньки», в отличие от осуждения автором Ставрогина, объясняется также и следующим.

Ставрогин назначен автором представлять так или иначе лагерь «нигилизма». Дмитрий же Карамазов при всех своих безобразиях – глубоко верующий православный христианин.

О религиозности Дмитрия Карамазова хорошо сказал Д. Овсянико–Куликовский: «Это негуманная, раздражительная и озлобленная религиозность... Герои романа каются и в своём покаянии ожесточаются; муки совести приводят их к озлоблению. Пуще всего озлобляются они против тех, кто не верит в бессмертие души и загробные возмездия. В озлоблении, обнаруживающемся в отношении к этому отрицанию, ясно сквозит у Достоевского род самобичевания: бичуя отрицателей, Достоевский бичевал самого себя или, точнее, ту часть своего раздвоенного сознания, которая сомневалась, не хотела верить, отрицала».

Дмитрий Карамазов ненавидит науку, он рычит: «Бернары!» Он ненавидит атеизм и атеистов и рассуждает, сидя в тюрьме: если Бога нет, «то человек шеф земли, мироздания. Великолепно! Только как он будет добродетелен без Бога–то? Вопрос! Я всё про это. Ибо кого же он будет тогда любить, человек–то? Кому благодарен–то будет, кому гимн–то воспоёт? Ракитин смеётся. Ракитин говорит, что можно любить человечество и без Бога. Ну, это сморчок сопливый может только так утверждать, а я понять не могу».

На вопрос Дмитрия Карамазова: как же будет человек добродетелен без Бога? – можно было бы ответить тоже вопросом: а как же сам Дмитрий Карамазов был столь недобродетелен с Богом?

В качестве истового христианина Дмитрий Карамазов живёт по известному правилу: «Не согрешишь – не покаешься, не покаешься – не спасёшься». С этой точки зрения достичь добродетели невозможно, предварительно не наделав грехов, причём чем больше грех, тем больше раскаяние и, следовательно, тем выше добродетель. «Братья Карамазовы», церковнический роман, весь проникнут этой «моралью». Вот почему Дмитрий Карамазов и поднят на такую «недосягаемую высоту!»

«Митенька» Карамазов – грешник, но верующий в Господа, и по этой причине всё его душевное безобразие, которое вызвало бы гнев и злорадство Достоевского, если бы он наклеил на того же Дмитрия этикетку «нигилиста», сходит «Митеньке» с рук.

Потому он и мог представиться Достоевскому если не положительным героем, то, во всяком случае, довольно даже привлекательным человеком при всех своих страшных грехах и пороках, что в Дмитрии живёт не только страх перед утерей моральных скреп, но и благонравное признание религии как единственного пути спасения от разгула аморализма.

По В. Ермилову

От животного жизнелюбия, беспринципности и нравственной низости Карамазова–отца, от развалин личного благополучия и общественной жизни на антихристианских началах, построенных горделивым умом Ивана Карамазова, перейдём к анализу трагической борьбы добра и зла, Бога и дьявола в жизни Мити Карамазова.

Сложно ли понять Митю Карамазова, того Митю, каким он является в конце романа, после суда присяжных, и того, который переживает духовную агонию в содержании романа, мучаясь сам, терзая автора, истязая читателя.

Ему двадцать восьмой год. Он провёл бурную, бестолковую молодость, кутил, тратил деньги, служил в военной службе; с первых же страниц романа Митя ведёт борьбу, карамазовскую борьбу со своим отцом. Он много жил, немало пережил, но

он – именно Митя Карамазов. И право на это ласкательное имя даёт ему сохранившееся среди жизненной грязи его чуткое, доброе сердце, его покаянная совесть, его добрый порыв к Богу, его искренность.

Наследственный сластолюбец, неудержимо склонный к падениям, любитель неопрятных жизненных закоулков, охотник до рискованных в нравственном отношении положений, Митя Карамазов рискует получить со стороны читателя неблагоприятный для себя отзыв. Ведь это он, Митя Карамазов, рассказывает о своих непривлекательных похождениях, в которых виден сын Фёдора Карамазова; это его изобретательности принадлежит история с деньгами, в которой фигурирует не без трагизма бывшая институтка Катерина Ивановна; он соперничает с отцом в отношениях к Грушеньке; он, Дмитрий Карамазов, ударяет пестиком по голове воспитавшего его Григория, оскорбляет капитана Снегирёва; он прожигает последние деньги на бестолковые кутежи в Мокром; он – непочтительный сын, ставящий по адресу своего падшего отца роковой для себя вопрос: «Зачем живёт такой человек?»

Но, несмотря на это и многое другое, известное о Дмитрие Фёдоровиче Карамазове, мы находим в нём немало симпатичных черт, сочувствуем ему, задерживаем на устах слово осуждения в его адрес, и из проявляемого им карамазовского безудержа выносим положительные уроки жизненного смысла. И основанием для установления основного тезиса его оценки в этом направлении служит его борьба против зла своей природы, его бьющаяся в тисках материальности вера, его совесть, широта его русской природы. Припомним те главы романа, где излагается «исповедь горячего сердца», те главы, где изображаются лихорадочные поиски им денег и последний роковой кутёж в Мокром, предварительное следствие и суд над Митей, – и мы поймём, что прав Митя Карамазов, когда он заявляет следственной власти: «с вами говорит благородный человек, благороднейшее лицо, главное, – этого не упускайте из виду – человек, наделавший бездну подлостей, но всегда бывший и остававшийся благороднейшим существом... Именно тем-то и мучился я всю жизнь, что жаждал благородства, был, так сказать, страдальцем благородства и искателем его с фонарём, с Диогеновым фонарём, а между тем всю жизнь делал одни только пакости...» Эту преданность благородству он сохраняет даже в ту особенно рискованную минуту своей жизни, когда при получении от него Катериной Ивановной денег он стоит перед той границей порока, перейти которую – значило заступить, подобно отцу, на дне зловонной ямы. Но Митя не сделал рискованного шага, победил себя, и Бог, а не дьявол торжествует в его сердце. Но дьявол тоже хочет торжества, и зло мучит человеческое сердце. В этой вечной борьбе добра и зла человек, подобный Мите Карамазову, является созерцателем двух бездн: бездны вверху и бездны внизу, ад и рай раскрываются в человеческой душе и ставят перед ней роковую дилемму. Митя – широкая натура, способная совмещать в себе противоположности и разом созерцать две бездны: бездну высших идеалов и бездну самого низшего и зловонного падения. В этом раздвоении – беда человека: он не знает, куда идти, он не может спокойно и сознательно идти в определённую сторону, и потому как бы в отчаянии, очертя голову кидается в бездну падения – головой вниз, без оглядки. Но в этом своём падении он чувствует, что его подлинная природа, его совесть, его сердце влекутся к Богу, в небесную высь и слёзы раскаяния льются из глаз, надежда исправления и приближения к Богу бодрит человека; падая, он страдает и мучается за своё спасение, хочет его, и в этом мучении и раскаянии – возрождается. Митя Карамазов со дна падения, из бездны порока взывает «осанна» к небесному идеалу. «Пусть я проклят, пусть я низок и подл, но пусть и я целую край той ризы, в которую облачается Бог мой... я всё-таки и Твой сын, Господи, и люблю Тебя и ощущаю радость, без которой нельзя миру стоять и быть».

Возможно ли представить этот разлад духа человеческого, эту голгофу души: порыв к небу и пресмыкание по земле, открылённый полёт в высь и провал в бездну. «Перенести я притом не могу, – говорит Митя, – что иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом содомским.

Ещё страшнее, кто уже с идеалом содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его, и воистину, воистину горит, как и в юные беспорочные годы. Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил» – решает Митя Карамазов.

И это горение духа, вечный мотив покаяния – характерная черта русского человека – спасает Митю, делает возможным его нравственное возрождение. Перечитав страницы допроса Мити следственной властью по обвинению в убийстве отца, взвесив ход допроса, настроение Мити, допускаемые им бестактности в ответах, мы получим внутреннюю уверенность в полной истинности его слов, которые он произносит в экстатическом порыве: «Верь Богу и мне – в крови убитого вчера отца моего я неповинен!» Окинув взором всю беспутную жизнь Мити Карамазова, не забывая при этом и его тяготение к идеалу Мадонны, и порывы в высь, и стремление удержаться хотя за край Божьей ризы, – мы ясно видим образ благоразумного разбойника, который «во едином часе» удостоился райского блаженства. Во время следственного допроса, во время суда со всеми проявлениями человеческого правосудия, Митя пережил свою голгофу страданий, перенёс свой крест благоразумного разбойника, возродился своим очищающим страданием, окончательно и бесповоротно осудив своё прошлое – прежнего Митю Карамазова – и окончательно вступив на путь добра. И становится понятным, что ни людской суд, ни прения прокурора и адвоката, а Бог, всегда близкий человеческой душе, но не всегда ею принимаемый, спасёт совесть Мити. И в его последнем слове подсудимого уже чувствуется возрождённый Митя: «Что мне сказать, господа присяжные! Суд мой пришёл, слышу десницу Божию на себе. Конец беспутному человеку! Но как Богу исповедуюсь, и вам говорю: «В крови отца моего – нет, не виновен!» В последний раз повторяю: «Не я убил!» Беспутен был, но добро любил. Каждый миг стремился исправиться, а жил дикому зверю подобен. Спасибо прокурору, многое мне обо мне сказал, чего и не знал я, но неправда, что убил отца, ошибся прокурор! Спасибо и защитнику, плакал, его слушая, но неправда, что я убил отца, и предполагать не надо было! А докторам не верьте, я в полном уме, только душе моей тяжело. Коли пощадите, коль отсутстите – помолюсь за вас. Лучшим стану, даю слово, перед Богом его даю. А коль осудите – сам сломаю над головой моей шпалу, а сломав, поцелую обломки! Но пощадите, не лишите меня Бога моего, знаю себя: возропщу! Тяжело душе моей, господа... пощадите!»

Но его не пощадил... Не виновен в смерти отца, но не безвинен вообще. И Митя Карамазов осуждён на двадцать лет каторги. А на предложение спасти его от каторги, устроив побег в Америку, Митя противится, потому что не радость даст ему Америка, а другую каторгу, потому что, будучи русским по душе, он затоскует по своей родине: «Я эту Америку... уже теперь ненавижу!.. И хоть будь они там все до единого машинисты необъятные какие, али что – чёрт с ними, не мои они люди, не моей души! Россию люблю, Алексей, русского Бога люблю, хоть я сам и подлец!»

Таков Митя Карамазов! Наследственный сластолюбивый жизнелюбец, человек глубокого внутреннего разлада, широкая натура, созерцающая две бездны – вверху и внизу, проявление разгула и безудержа и в то же время – романтик, совмещающий в себе инстинкты и идеальные порывы, русский человек, но всего более искатель вселенской правды, никогда не порывающий окончательно своих связей с небом.

Представители карамазовского безудержа, русские Карамазовы, прожигая жизнь в силу исконного воспитания на началах вселенского православия, даже в минуты сластолюбивого погружения в жизненную тину, чувствуют, что жизненный пир, покрытый благами европейской культуры, открыт не для всех, и, сознавая это, они готовы опрокинуть стол вверх тормашками, коли он не для всех доступен. Колесница культуры, давая покой и отдых одним, не должна давить других, под её движением никто не должен стонать.

Так и Митя Карамазов, всю жизнь проявлявший начала безудержа и давящей тройки, тем в большей мере чувствует и сознаёт, что нельзя никого давить, и во

время поездки в Мокрое в своём символическом разговоре с ямщиком Андреем, сдерживает полёт карамазовской тройки: «Ты ямщик? Ямщик? Знаешь ты, что надо дорогу давать. Что ямщик, так уж никому и дороги не дать, дави, дескать, я еду! Нет, ямщик, не дави! Нельзя давать человека, нельзя людям жизнь портить; а коли испортил жизнь – наказуй себя...»

Этой не вполне связной речью к ямщику Митя Карамазов осуждает себя и всё карамазовское направление души и жизни, которому служил раньше, руководясь началом «сторонись, я еду...» и забывая о том, что не нужно давить других и что в мире человек не один.

Воскреснув для новой жизни, он более всего боится потерять в себе нового человека: «Брат, я в себе... нового человека ощутил, – говорит Митя Алёше, – воскрес во мне новый человек!.. И что мне в том, что в рудниках буду двадцать лет молотком руду выколачивать... другое мне страшно теперь: чтобы не отошёл от меня воскресший человек». А раньше в своём символическом сне, который он видит в наиболее трудную минуту жизни, Митя Карамазов прилёт к сознанию, что нельзя жить по принципу «всё позволено», нельзя давать волю инстинктам и своё Я ставить выше Божьей правды, коль скоро на свете есть слёзы, и слёзы те льёт наш брат, наш ближний по вселенскому Христову братству. Измученный допросом, подавленный неясным для него обвинением, Митя Карамазов прилёт на большой, накрытый ковром, хозяйский сундук и мигом заснул. И снится ему какой-то странный сон, как будто совсем не к месту и не ко времени. «Вот он будто бы где-то едет в степи, там, где служил давно, ещё прежде, и везёт его в слякоть на телеге, на паре, мужик. Только холодно будто бы Мите, в начале ноября, и снег валит крупными мокрыми хлопьями, а падая на землю, тотчас тает. И бойко везёт его мужик, славно помахивает, русая, длинная такая у него борода, и не то что старик, а так лет будет пятидесяти, серый мужичий на нём зипунишко. И вот недалеко селение, виднеются избы чёрные-пречёрные, а половина изб погорела, торчат одни обгорелые брёвна. А при выезде выстроились на дороге бабы, много баб, целый ряд, всё худые, испитые, какие-то коричневые у них лица. Вот особенно одна с краю, такая костлявая, высокого роста, кажется, ей лет сорок, а может, и всего только двадцать, лицо длинное, худое, а на руках у неё плачет ребёночек, и груди-то, должно быть, у ней такие иссохшие, и ни капли в них молока. И плачет, плачет дитя, и ручки протягивает, голенькие, с кулачонками, от холоду совсем какие-то сизые.

– Что они плачут? Чего они плачут? – спрашивает, лихо пролетая мимо них, Митя.

– Дитё, – отвечает ему ямщик, – дитё плачет. – И поражает Митю то, что он сказал по-своему, по-мужицки: «дитё», а не «дитя». И ему нравится, что мужик сказал «дитё»: жалости будто больше.

– Да отчего оно плачет? – домогается, как глупый, Митя. – Почему ручки голенькие, почему его не закутают?

– А иззябло дитё, промёрзла одежонка, вот и не греет.

– Да почему это так? Почему? – всё не отстаёт глупый Митя.

– А бедные, погорелые, хлебушка нетути, на погорелое место просят.

– Нет, нет, – всё будто ещё не понимает Митя, – ты скажи: почему это стоят погорелые матери, почему бедны люди, почему бедно дитё, почему голая степь, почему они не обнимаются, не целуются, почему не поют песен радостных, почему они почернели так от чёрной беды, почему не кормят дитё?

И чувствует он про себя, что хоть он и безумно спрашивает и без толку, но непременно хочется ему именно так спросить и что именно так и надо спросить. И чувствует он ещё, что подымается в сердце его какое-то никогда ещё не бывалое в нём умиление, что плакать ему хочется, что хочет он всем сделать что-то такое, чтобы не плакала больше дитё, не плакала бы и чёрная иссохшая мать дити, чтоб не было вовсе слёз от сей минуты ни у кого и чтобы сейчас же, сейчас же это сделать, не отлагая и несмотря ни на что, со всем безудержем карамазовским».

Вспоминая этот сон после своего осуждения, Митя трактует его как пророческий, как указание необходимости личного страдания за всё небрежение к страданию общечеловеческому, на которое он ранее не обращал внимания при своем карамазовском образе жизни. Митя насильственно оторван от этой жизни, поставлен в условия невозможности её продолжения, и, проходя через очистительное горнило искупления, через мытарства допроса и суда, он осознаёт себя новым человеком. Как пшеничное зерно, падая в землю и умирая, делается способным к принесению плода, так и начала новой жизни проявлены в душе Мити жизненными страданиями. Если возможно, пусть не будет страдания! Если возможно, пусть человек помнит о небе и Боге, о смысле жизни – и без страдания! А если он забывает об этом и несётся по жизни безудержной карамазовской тройкой, если он воплощает в жизнь принцип «всё позволено» и без страдания не может существовать, тогда пусть он страдает и возрождается в горниле скорбей! Прозорливый старец Зосима до земли кланяется Мите, а в его лице – всему человеческому страданию.

Знакомясь с трагической судьбой старшего из братьев, мы видим цену ошибки человеческой жизни вне религии и совести; мы присутствуем при смертельной агонии человеческого духа, чувствуем борение Бога и дьявола за человеческую душу, видим спасительное страдание души, убеждаемся в бессмыслии и безысходности траты сил, сосредоточенных на создании личного блага при небрежении к задачам общественной жизни. При всех своих отрицательных сторонах, при всей широте разгула, беспринципности и эгоизма, образ Мити Карамазова оставляет в нашей душе положительные мотивы, убеждая нас в том, что как бы низко ни пал человек, как бы глубоко ни погрузился в жизненную тину, для него всегда возможно возрождение и обращение к Богу и жизненному смыслу; что залогом такого возрождения является человеческая совесть; что жизненное исправление достигается решительным осуждением прошлого и желанием новой жизни по законам Божьей правды; что к сознанию необходимости этого возрождения человек приходит через жизненные страдания, которые, по воззрению Достоевского, в романах «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы» являются условием спасения души человеческой и обращения её к Богу; что, осуждая прошлое и желая новой жизни, человек вместе с тем должен осудить в себе эгоизм и твёрдо решить, что истинное благо души и подлинная радость жизни невозможны без служения общественным задачам и благу ближних.

По Л. Соколову

Иван Фёдорович Карамазов

Иван Фёдорович Карамазов более всех заинтересован решением вопроса о вере в Бога, мучается от своих сомнений и этим подтверждает основную мысль романа, что безверие губительно. Иван Фёдорович – настоящий преемник Раскольникова и Ставрогина, это человек умный, сильный, с твёрдым характером. По внешнему виду и образу действий Ивана нельзя сразу разобрать, что он такое. Он ходит к старцу и беседует с ним, он чувствует большую симпатию к Алёше, сообщает ему заветные свои мысли, а между тем Алёша – человек совсем иных убеждений. С отцом своим Иван Фёдорович не только сдержан, но даже почтителен, хотя чувствует к нему презрение. Иван спокоен, но это спокойствие только внешнее, кажущееся, за которым скрыт тяжкий недуг, подтачивающий его силы.

Обладая критическим умом, Иван Фёдорович всё анализирует и почти всё отрицает, и этот умственный протест и анализ составляют его главную страсть. Мироззрение его постепенно изменяется и становится всё более и более глубоким. Для нас важны прежде всего те воззрения, с которыми он приехал к отцу и которые некоторое время внушает Смердякову. Эти воззрения высказываются от лица чёрта, двойника Ивана Фёдоровича. Чтобы облагодетельствовать человечество, думал Иван, надо прежде всего разрушить идею о Боге. «Раз человечество отречётся поголовно от Бога... то, само

собою, падёт всё прежнее мировоззрение и, главное, вся прежняя нравственность, и наступит всё новое. Люди совокупятся, чтобы взять от жизни всё, что она может дать, но непременно для счастья и радости в одном только здешнем мире. Человек возвеличится духом божеской, титанической гордости, и явится человеко-бог. Ежечасно побеждая уже без границ природу, волею своею и наукой, человек тем самым ежечасно будет ощущать наслаждение столь высокое, что оно заменит ему все прежние упования наслаждений небесных. Всякий узнает, что он смертен весь, без воскресения, и примет смерть гордо и спокойно, как Бог. Он из гордости поймёт, что ему нечего роптать на то, что жизнь есть мгновенье, и возлюбит брата своего уже безо всякой мзды». Достижение человекобожества, рассуждал далее Иван, может ещё затянуться на тысячи лет, ввиду закоренелой глупости человеческой, поэтому «всякому, сознающему уже и теперь истину, позволительно устроиться совершенно как ему угодно, на новых началах. В этом смысле ему «всё позволено». Мало того: если даже период этот и никогда не наступит, то так как Бога и бессмертия всё-таки нет, то новому человеку позволительно стать человеко-богом, даже хотя бы одному в целом мире, и, уж конечно, в новом чине, с лёгким сердцем перескочить всякую прежнюю нравственную преграду прежнего раба-человека, если оно понадобится. Для Бога не существует закона! Где станет Бог, там уже место Божие! Где стану я, там сейчас же будет первое место... «всё дозволено», и шабаш!» Вот первоначальное мировоззрение Ивана Фёдоровича, которое было сходно с теорией Раскольникова. Результат получился одинаковый – и Раскольников, и Иван поставили себя на первое место, и потому оба они дерзнули, оба переступили через кровь: Раскольников убил старушонку, Иван позволил Смердякову убить отца; в этом состоит связь «Преступления и наказания» с «Братьями Карамазовыми». Смердяков не вынес поднятого бремени и трагически кончил с собой. Иван сознаёт себя главным виновником и потому страшно мучается, тем более что он сознаёт, что его прежняя теория, побудившая Смердякова к убийству, не выдерживает критики. К этому времени он уже составил новую теорию, на основании которой убийство есть страшное преступление.

Прежде Иван думал, что для нравственного освобождения человечества надо разрушить идею о Боге. Он полагал, что сделать это очень легко, так как идея о Боге недоказуема для ума человека. Теперь (то есть со времени «исповеди» пред Алёшей) Иван думает иначе. Он теперь мыслит гораздо глубже. Он не отрицает существования Бога и потому с метафизической точки зрения более прав, но в то же время Иван с большей силой отрицает волю Бога, право Его делать человека средством. Он отстаивает от всех, даже от Бога, право человека быть самоцелью. В этом выражается «бунт» его мысли. «Один старый грешник (то есть Вольтер), – говорит Иван, – в восемнадцатом столетии изрек, что если бы не было Бога, то следовало бы его выдумать... И не то странно, не то было бы дивно, что Бог в самом деле существует, но то дивно, что такая мысль – мысль о необходимости Бога могла залезть в голову такому дикому и злому животному, как человек, до того она свята, до того она трогательна, до того премудра и до того делает честь человеку». Таким образом, по мнению Ивана, идея о Боге есть нечто высокое; принятие этой идеи может доставить человеку высшее удовлетворение. Но принять эту идею правдиво человек может не вопреки своим способностям усвоения, а только следуя им, как они устроены ему Творцом. Иван не отвергает бытия Божия. То, что всего более затрудняется защитить религия, вовсе не подвергается нападению. Строгую научность этого приёма нельзя не признать: относительность и условность человеческого мышления есть истина, которая в течение тысячелетий оставалась скрытой от человека, но наконец обнаружена. Возникновение так называемой неевклидовой геометрии, которая разрабатывается лучшими математиками Европы и в которой параллельные линии сходятся, есть факт бесспорный, для всех ясный, и он не оставляет никакого сомнения в том, что действительность бытия не покрывается мыслимым в разуме. К тому, что немислимо и однако же существует, может относиться и бытие Божие, недосказуемость которого не есть какое-

либо возражение против его реальности. «Я смиренно сознаюсь, – говорит Иван, – что у меня нет никаких способностей разрешать такие вопросы, у меня ум эвклидовский, земной, а потому где нам решать о том, что не от мира сего. Да и тебе советую никогда об этом не думать, друг Алёша, а лучше всего насчёт Бога: есть ли Он, или нет? Все эти вопросы совершенно несвойственные уму, созданному с понятием лишь о трёх измерениях. Итак, принимаю Бога... Я не Бога не принимаю... я... мира – то Божьего не принимаю и не могу согласиться принять», – заключает Иван.

Иван не принимает мира потому, что не может примирить существующее в мире зло с идеей всеблага Творца мира. Иван указывает на страдания детей, как на факт в высшей степени возмутительный в здедном мире.

Нельзя не признать, что аргументация Ивана Карамазова в пользу атеизма очень сильная. Вопрос о неповинных страданиях детей самый трудный и непонятный для человеческого разума. Человеческим умом, «эвклидовским умом», как определяет его сам Иван, нельзя объять великой тайны человеческих страданий и тех таинственных путей, какими эти страдания перейдут в гармонию личного и божеского начала. Алёша указал Ивану, что Великое Существо может всё простить, «всех и вся и за всё, потому что Само отдало неповинную кровь Свою за всех и за всё». Таким образом, восстанавливается мировая гармония, которую не хотел признать Иван. Этим Алёша уничтожил одно из оснований атеизма.

Проследивши логическое развитие теории Ивана Фёдоровича, мы видим, как далека эта теория от прежнего его принципа: «всё позволено человеку, даже убийство». По новой теории Ивана, напротив, люди должны как можно больше любить друг друга. Впрочем, взгляды Ивана ещё не установились. Недаром мудрый старец Зосима, слушая стройную логику Ивана, прозревает в его душе какие-то сомнения, какие-то колебания. Он признаёт у Ивана великое сердце, способное «горняя мудрствовать и горних искати». Имея в виду духовный разлад Ивана, Зосима считает всю жизнь его «великим горем». «Дай вам Бог, – говорит он, – чтоб решение сердца вашего постигло вас ещё на земле, и да благословит Бог пути ваши».

По И. Глебову

Ясно, что братья Карамазовы не могли получить через наследственность ни одного прочного, положительного качества. Они все очень неглупы, но роковое наследие тяготеет над ними. Иван Карамазов, в своём роде теоретик карамазовщины, говорит, что основная черта их семьи – жажда жизни, безудержная, стихийная. «Эту жажду жизни», – говорит Иван, – «иные чахоточные сопляки-моралисты называют часто подлой, особенно поэты». Почему? Потому что это – любовь к жизни «не умом, не логикой, а нутром и чревом». Любовь к жизни больше, чем к смыслу жизни. Всё, чем культивируется и сдерживается эта святогорская, можно сказать, силушка, Ивану Карамазову претит, это дело «сопляков-моралистов». Поэтому он не признаёт ни принципов религии, ни принципов социологии, ни привычек культурного общежития. Он мечтает поехать в Европу, как «на самое дорогое кладбище». Там он только в прошлом видит страстную веру в подвиг, в истину, в борьбу и науку. Но его карамазовская натура не принимает нового европейского подвига, новой борьбы за общественную справедливость и лучшую жизнь. Мало того, для Ивана и всё христианство только кладбище. Христос уже не нужен, и по смыслу его поэмы о Великом Инквизиторе, если бы Христос вновь явился, Ему нечего было делать. Сильные люди покорили слабых, и те влачат существование стадных животных, а Христова проповедь может поднять это стадо, пробудить принижённое сознание разумно-свободного духа и помешать владычеству сильных. Для этих сильных «всё дозволено», и эту теорию Иван отстаивает везде и всюду. Её усваивает и лакей Смердяков, «передовое мясо», по характеристике Ивана. Но как же с такой теорией, оправдывающей насилие над чужой жизнью, примирить любовь к живой жизни, «к клей-

ким листочкам, дорогим могилам, голубому небу»? Есть сила, которая выдержит это противоречие, именно «сила низости карамазовской» – таково мнение самого Ивана. И он действительно выдерживает: долго крепится и не идёт на суд с заявлением, что убил отца Смердяков, и убил под идейным влиянием его, Ивана.

По С. Золотарёву

Впервые Иван Карамазов является перед читателем на семейном собрании в келье отца Зосимы. В ожидании Дмитрия затевается беседа на тему о журнальной статье Ивана. Будучи по университетскому образованию естественником и уже готовясь к научной поездке за границу, он вдруг напечатал в распространённой газете одну «странную статью» по предмету, который, казалось, был чужд его интересам, – о церковном суде. «Разбирая некоторые, уже поданные мнения об этом вопросе, он высказал и свой личный взгляд. Главное было в тоне и в замечательной неожиданности заключения». Церковники приняли автора за своего человека, но и «атеисты» стали ему аплодировать. «В конце концов некоторые догадливые люди решились, что вся статья есть лишь дерзкий фарс и насмешка».

В келье старца Зосимы вся великая диалектика ума Ивана намечается полностью. Иван уже виден, образ его уже волнует и захватывает читателя. Он отвечал в своей статье на несколько положений автора, духовного лица, написавшего книгу под названием «Основы церковно-общественного суда». Автор утверждал, что церковь не должна действовать никакими уголовными репрессиями, что царство её не от мира сего, и что ни ей, ни вообще никакому общественному союзу не подобает «присваивать себе власть распоряжаться гражданскими и политическими правами своих членов», которая принадлежит только государству. Иван Карамазов в своих возражениях становится сразу на совершенно ясную почву. Он отвергает теорию, отделяющую церковь от государства, не на тех основаниях, на каких это делают рассудочные государственники либерального или реакционного типа, а на своих собственных, особенных, неслыханно смелых и неслыханно оригинальных для России основаниях. Было время, короткое время, рассуждает он, когда христианство «являлось лишь церковью и было лишь церковью».

Это было и могло быть естественным только тогда, когда христианство, ещё не признаваемое миром, искало себе приюта под кровом чуждого ему во всех своих принципах языческого государства. Оно должно было терпеть это государство, ибо оно было бессильно, само жило в тени чужой терпимости, ибо оно и мир не вступили тогда в живое взаимодействие. Когда же языческое государство признало над собою авторитет христианства, оно этим самым решило основаться на том начале, на котором стояла церковь. «Не церковь должна искать себе определённого места в государстве, – говорит Иван, – а, напротив, всякое земное государство должно бы впоследствии обратиться в церковь вполне и стать не чем иным, как лишь церковью, и уже отклонив всякие несходные с церковными свои цели». Если между церковью и государством в настоящее время существуют компромиссы, то на это надо смотреть только как на временное зло. Церковь не есть какой-нибудь частный «союз людей для религиозных целей», некоторый общественный союз, какая-нибудь часть государства. Она должна быть выражением всей полноты, всех форм христианской жизни, а другого государства, кроме церкви, быть не должно. Отсюда следует, что если государство имеет право на уголовную репрессию, то это право и есть как бы природный атрибут церкви: она имеет это право и могла бы воспользоваться им, если бы оно оказалось достойным её целей и задач. При этом изменился бы сам взгляд на преступление, преступление явилось бы в другом свете. Достаточно было бы одного отлучения «преступного и непослушного», чтобы он оказался совершенно бессильным и бесприютным, потому что церковь, преобразованная в государство, ставшая единственным земным государством, обнимает собою и внутреннюю жизнь людей, и весь социальный строй. А с другой стороны, церковь не

станет рубить голов: она будет заботиться о возрождении, воскресении и спасении падшего человека. Речь идёт о возрождении человека чисто человеческим путём.

В сущности, Иван борется только против раздвоения авторитета – церковного и государственного, причём в церкви он мысленно отрицает её мистическую основу, а в современном, исторически сложившемся государстве – его грубое насилие над людьми. В его отрицании мистического начала церкви заключается вся суть его философии. Бог, бессмертие, даже индивидуальная совесть – совершенно выкидываются из его расчётов и построений, ибо для него по существу нет ничего вечно таинственного, и двигатели человеческого развития могут полностью реализоваться в истории. История имеет свои тайны, свои запутанные ходы, ещё не прослеженные анализом человеческой мысли, но всё таинственное постоянно разоблачается в ней: она не имеет в себе никаких таинств, ничего непознаваемого. В своих теориях Иван Карамазов поднялся так высоко, что даже не предполагает, что самое смелое, самое широкое и высокое построение человеческого ума оставляет что-то нетронутым в душе. Это что-то глубже логики и потому вечно ускользает от анализа; его не разрушат и ничем не заменят никакие ходы исторического процесса и никакие построения самой смелой логики.

Иван Карамазов ошибается, полагая, что нужны какие-то особенные условия для того, чтобы человек посмел стать в противоречие с «объявленным» единосуществоующим авторитетом церкви-государства, чтобы он посмел сказать себе: «Все – ложная церковь, я один, убийца и вор, – справедливая, христианская церковь». В том-то и дело, что для этого вовсе не требуется никаких «огромных условий»: достаточно какой-нибудь мелочи, незаметной ошибки в суде над человеком, исходящей от общества, чтобы человек ухватился за эту мелочь, за эту ошибку и противопоставил массовой, исторически воплощённой совести свою личную, невыраженную, но всё же непререкаемую индивидуальную совесть. Там, где человек почуствовал своё разобщение с людьми и свою правоту перед людьми, – все они, со всеми их установлениями, даже самыми авторитетными, делаются в его глазах «ложною церковью», потому что она не вмещает всей истины. В том-то и дело, что, вопреки логике Ивана Карамазова, правда и справедливость даже в своих лучших исторических выражениях опираются именно на это личное, всегда пребывающее общение человека с миром, лежащим «по ту сторону» исторически известных понятий добра и зла, с миром ещё не отчеканенных для жизни нравственных идей, с миром божества, которое едино для всех и которое само по себе реальнее всех случайных временных, исторических реальностей и ценностей.

Каждый новый разговор, в котором принимает участие Иван, делает его облик всё более мрачным и суровым. Иван не останавливается и продолжает свою титаническую работу с вдохновенным дерзновением. Он исходит из понятия о естественном законе, который в его глазах делает человека независимым от всех других людей. Такого закона природы, естественного, чтобы один человек любил другого, не существует, и «если есть и была до сих пор любовь на земле, то не от закона естественного, а единственно потому, что люди веровали в своё бессмертие». Уничтожить идею Бога и бессмертия – значить уничтожить не только всякую нравственность на земле, но и узаконить величайший эгоизм, доходящий до злодейства. «Нет добродетели, если нет бессмертия», – говорит Иван в келье старца Зосимы. Но идея бессмертия, как и идея Бога, являются благородными фикциями, на которых держится «цивилизация». На вопрос Фёдора Павловича, есть Бог или его нет, Иван прямо отвечает: «Нет, нету Бога». – Иван, а бессмертие есть, ну, там какое-нибудь, ну, хоть маленькое, малюсенькое?» – продолжает спрашивать Фёдор Павлович. Иван отвечает категорически: «Нет и бессмертия. Никакого!». Вот его убеждения, явно атеистические, с тем особенным демонизмом, который при его натуре, при его страстях в логике превращается в какую-то демоническую манию, постоянно раздуваемую упорной и односторонней работой логики.

Иван Карамазов – человек почти помешавшийся на мысли, что можно воздвигнуть мир без реально существующего Бога, с одними только благородными фикциями Бога и бессмертия, – с фикциями, которые «делают честь» такому злему и дикому животному, как человек. Он не верит ни в Бога, ни в бессмертие. Но он не останавливается на тех выводах, которые вытекают из безверия, потому что он непримирим, потому что кошмар жизни, с её страданиями, с её противоречиями и нелепостями, не перестаёт возмущать его. И когда он в своём искреннем излиянии перед Алёшей прямо и просто заявляет, что он «принимает» Бога, но «мира Божьего» не принимает, он заносит нож на самый мир. Пусть мир, благодаря своим фикциям, войдёт когда-нибудь в высшую гармонию. Но ничем нельзя покрыть страдания невинных существ, и никакая будущая гармония не перевесит мучений современного человечества, мучений детей и матерей, ибо никакая живая душа не может отречься от немедленного законного возмездия. «О Алёша, я не богохульствую! – восклицает Иван. – Понимаю же я, каково должно быть сотрясение вселенной, когда всё на небе и под землёю сольётся в один хвалебный глас...» Он предвидит это будущее разрешение земных печалей, верит в него, но не принимает его. «Не хочу гармонии, – говорит он, – из-за любви к человечеству не хочу... Слишком дорого оценили гармонию, не по карману нашему вовсе столько платить за вход... Не Бога я не принимаю, Алёша, я только билет ему почтительнейше возвращаю».

Логика Ивана Карамазова, несмотря на размах, не даёт удовлетворения ни ему самому, ни другим. Человеческим умом, «эвклидовским умом», как определяет его сам Иван Карамазов, нельзя, конечно, обнять великой мистерии человеческих страданий и тех таинственных путей, какими эти страдания перейдут в гармонию личного и божеского начала. Мы видим человеческие мучения, содрогаемся по поводу их несправедливости, напрасно ищем объяснения им, но в то самое время, пока ищем страстно, но бесплодно, что-то начинает накапливаться в душе – печальное, но успокоительное. Последней верой верится в высший смысл жизни, несмотря на все её уродства и обиды, и когда живёшь не одной только логикой, а всем существом, нервами и страстями, сердцем, – постоянно улавливаешь сквозь страдания, свои и чужие, какое-то прощение всему и всем. Страдаешь и плачешь над своими и чужими печальми, и всё-таки улыбаешься, сам не зная в точности чему. И эта улыбка неземной радости, едва уловимого настроения, стоит всех страданий мира и достаточна для того, чтобы человек не расстался со своим правом на жизнь, с тем билетом, который Иван почтительнейше возвращает Богу. Человек примиряется с Богом, примиряется с людьми, но несомненное и глубже всего он примиряется с самим собой.

Иван Карамазов кажется нам каким-то не русским человеком: не русская это манера – всё осмысливать сознанием, всё пронизывать логикой, отбрасывая то, что не вмещается в эту логику. Русский человек философствует по-иному. Он путается среди жизненных противоречий, постоянно наталкивается на какие-то неразрешимые контрасты и тут же, вопреки логике, чутьём охватывает этот огромный мир, полный противоречий. Если бессилён «эвклидовский ум», то не бессильно человеческое сердце, в котором стекаются какие-то высшие веяния, какие-то духовные прозрения. Иван Карамазов кажется нам почти не русским человеком именно потому, что логикой он хочет остановить эти веяния, эти озарения, эти откровения души. «Я Ивана не признаю совсем, – говорит Фёдор Павлович. – Откуда такой появился! Не наша совсем душа. Иван не наш человек; эти люди, как Иван, – это, брат, не наши люди, это пыль поднявшаяся. Подует ветер, и пыль пройдёт».

Уже бывало что люди не «принимали» идеи Бога, но ещё не бывало, чтобы люди не принимали идеи мира, уходя от него с сатанинским негодованием. Одни уходили от мира к Богу, другие от Бога к миру, но не было таких, которые уходили бы и от Бога, и от мира. Однако, мудрый старец Зосима, слушая строгую логику Ивана, обнаруживает в его душе какие-то сомнения, какие-то колебания. Никто, кроме Зосимы, не заметил бы в нём этого, никто не обличил бы этой скрытой в нём слабости. Он признаёт в Иване

высшее сердце, способное «горняя мудрствовать и горних искати». Он видит конвульсии этого сердца от напора великих, но бесплодных мыслей. «Идея эта ещё не решена в нашем сердце и мучает его, – говорит он Ивану. – Пока с отчаяния, и вы забавляетесь – и журнальными статьями, и светскими спорами, сами не веря своей диалектике и с болью сердца усмехаясь ей про себя...» Зосима говорит здесь об идее бессмертия, которую Иван Карамазов, не веря в бессмертие, поставил в такую решительную связь со всеми нравственными вопросами. Старец Зосима слышит какой-то искренний, чистый отзвук истинно благородного и глубоко чувствующего сердца в придуманной Иваном философии благородных фикций. Сердце Ивана не разрешило этого мучительного разлада в его собственном существе, этого трагического раздвоения в нём, вот почему вся жизнь его представляется для Зосимы «великим горем». «Дай вам Бог, – говорит он, – чтобы решение сердца вашего постигло вас ещё на земле, и да благословит Бог пути ваши». Какая-то святая слеза, слеза сочувствия и тонкого сострадания проливается с этими словами в измученную душу Ивана, и на одну минуту он вспыхивает и в сердечном юношеском порыве подходит под благословение великого старца и почтительно целует его руку. Все видят этот столь странный для Ивана поступок и поражаются им до испуга. Иван целует руку старого монаха! Иван принимает благодатный символ крестного знамения! Зосима тронул его сердце, и в нём зашевелилась мягкая, богочеловеческая стихия.

Стоит продолжить поиск в Иване ещё каких-нибудь следов богочеловеческой мягкости, ибо не может быть, чтобы такой художник, как Достоевский, не дал своему герою сознательно или бессознательно таких черт, которые делают его не эфемерным, а живым явлением. В беседе Ивана с Алёшей мы находим эти нужные для художественной правдивости и нужные читателю порыве подходить под благословение великого старца и почтительно целует его руку. Все видят этот столь странный для Ивана поступок и поражаются им до испуга. Иван целует руку старого монаха! Иван принимает благодатный символ крестного знамения! Зосима тронул его сердце, и в нём зашевелилась мягкая, богочеловеческая стихия.

Стоит продолжить поиск в Иване ещё каких-нибудь следов богочеловеческой мягкости, ибо не может быть, чтобы такой художник, как Достоевский, не дал своему герою сознательно или бессознательно таких черт, которые делают его не эфемерным, а живым явлением. В беседе Ивана с Алёшей мы находим эти нужные для художественной правдивости и нужные читателю порыве подходить под благословение великого старца и почтительно целует его руку. Все видят этот столь странный для Ивана поступок и поражаются им до испуга. Иван целует руку старого монаха! Иван принимает благодатный символ крестного знамения! Зосима тронул его сердце, и в нём зашевелилась мягкая, богочеловеческая стихия.

Люди представляются ему какими-то волевыми аппаратами, с естественным, неизбежным стремлением к взаимным уничтожениям. Таков закон жизни, по его мнению, такова его страшно прямолинейная логика. Но, пройдя весь путь своей ослепительно яркой мысли, Иван вдруг, приложив к себе свои собственные теории, как бы отступает, как бы пугается тех представлений, которые он даёт о себе Алёше. «Позволь и тебя спросить, – обращается он к нему, – считаешь ли ты меня, как Дмитрия, способным пролить кровь Эзопа, ну, убить его, а?» Алёша решительно отвергает такое допущение: он ни его, ни Дмитрия не считает способным на убийство. «Спасибо хоть за это, – усмехнулся Иван. – Знай, что я его всегда защищу. Но в желаниях моих я оставляю за собой в данном случае полный простор. Не осуждай и не смотри на меня, как на злодея», – прибавил он с улыбкой.

Если такой человек, как Иван, с такой психомоторной силой в убеждениях, не может, по собственному признанию, сделаться убийцей, то это значит, что он неправ в своей логике, что мысль его ошибочна, что она многое упускает из виду и что моментами сквозь озарения он сам видит свою ошибку.

Продолжая рассматривать психологический портрет данного персонажа, следует упомянуть о тягостной сцене, где Фёдор Павлович своими кощунственными рассказами доводит до истерического припадка Алёшу. Иван вспыхивает против отца «неудержимым гневным презрением». При виде припадка Алёши старик вспо-

минает мать его Софью Ивановну, которая была подвержена таким же припадкам: «Вспрысни его изо рта водой, – кричит Фёдор Павлович, – я так с той делал. Это он за мать свою, за мать свою!» – «Да ведь и моя, я думаю, его мать была, как вы полагаете?» – вскрикивает Иван, засверкав глазами. Неудержимая вспышка гневного презрения вырвалась из мягкого, просыпающегося сердца Ивана. Этот Иван, со своей колоссальной логикой, Иван-богофоб сквозь искусственно выстроенную им идею мира, управляющегося благородными фикциями, – этот Иван вдруг чувствует себя сыном своей матери. Он тоже как-то бережёт её память. Пусть взгляд его сверкает демонским огнём презрения: вполне понятно, в чём тут дело – этот мастер диалектики недоволен своим непослушным сердцем, но именно за это непослушание сердца хочется примириться с ним, любить его.

Так же невольно и так же неудержимо срывается он в сцене с Григорием, который жалуется на дерзость Дмитрия, поднявшего на него руку: «Он и отца дерзнул, не то что тебя», – заметил, «кривя рот», Иван Фёдорович. Он делает разграничения между побитым Григорием и побитым «отцом»: как это не похоже на Ивана и как это отродно!

Наконец, при свидании в трактире Алёши и Ивана мы видим последнего в совершенно ином облике, столь неожиданным, столь трогательным, что, всматриваясь, почти не узнаешь в нём Ивана. Они сошлись, Иван и Алёша, чтобы объяснить друг другу свою веру, ибо Алёша должен знать наконец, на каком именно камне стоит этот человек, его брат, столь загадочный и столь притягательный. Он долго ждал, Иван видел его ожидания, сначала раздражался ими, но потом в конце концов полюбил («жидающий взгляд») Алёши. Объяснение двух братьев принимает очаровательную форму, потому что оба они проникнуты непосредственной нежностью друг к другу и трогательно ласковым вниманием. Иван от всего сердца угощает Алёшу тем, что, по его памяти, Алёша любил ещё в детстве, – вишневым вареньем, и эта мелкая деталь в обращении Ивана показывает, что, при всех его безмерных умственных интересах, его «подозрительные и презрительные» глаза любовно видят и замечают привычки и вкусы близких ему людей. «Вот тебе уху принесли, – говорит он, продолжая угощать Алёшу. – Кушай на здоровье. Уха славная, хорошо готовят». Обычные слова, но и в них чувствуется тоже любовное настроение Ивана по отношению к младшему брату, особенно дорогое и особенно прекрасное именно потому, что оно проявляет себя, как и всякий живой порыв, в мелочах и пустяках. Когда такая натура, как Иван, начинает вникать в пустяки жизни, она вносит в них и свою серьёзность, и всю ту свежесть сердца, которая остаётся неизрасходованной под вечной работой духа. В словах Ивана, как и в кратких репликах Алёши, слышится аромат юношеских чувств. Язык Ивана, всегда суровый, всегда обвеянный морозным холодом, наливается живительными соками, и, благодаря этому, отдельные выражения становятся по-детски мягкими. Головная философия Ивана на время исчезает, и перед нами, в немногих словах раскрывается другая философия, философия его юношеской души и чисто карамазовской любви к жизни. Алёша понимает Ивана. «Ты такой же точно молодой человек, – говорит он ему, – как и все остальные двадцатитрёхлетние молодые люди, такой же молодой, молоденький, свежий и славный мальчик, ну желторотый, наконец, мальчик!» Иван Карамазов не отрицает своей «желторотости». Он сам видит себя молоденьким мальчиком, потому что, обнимая собственным сознанием свои демонские исступления, он догадывается, что они его не исчерпывают. Он любит жизнь, что бы она собой ни представляла и вопреки всем разочарованиям, каким может подвергнуть его судьба. «Жить хочется, и я живу, хотя бы и вопреки логике. Пусть я не верю в порядок вещей, но дороги мне клейкие, распускающиеся весной листочки, дорого голубое небо, дорог иной человек, которого иной раз, поверишь ли, не знаешь за что и любишь, дорог иной подвиг человеческий, в который давно уже, может быть, перестал и верить, а всё-таки по старой памяти чтить его сердцем». Иван видит жизнь в образе клейких весенних листочков, голубого неба и любимого человека, которого не знаешь, за что любишь. Клейкие

листочки – это проявление ещё только зарождающейся жизни, с её намечающимися формами, бродящими соками и неопределёнными судьбами органического роста. Они ещё только начинают жить, эти клейкие листочки, и, прикасаясь к ним, ощущаешь какое-то непередаваемое умиление перед этим странным Божиим миром, которого только что ещё не было и который разворачивается во всех направлениях на ваших глазах. Его душа поёт, вопреки его собственной логике, светлый гимн рождения. Когда жизнь совершает своё таинство, сознание, с его логическими рамками, отступает и даёт место безумному умилению и восхищению перед тем, что есть, за то, что оно есть. «Я хочу в Европу съездить, Алёша, – говорит Иван дальше, – отсюда и поеду; и ведь я знаю, что поеду лишь на кладбище, но на самое, на самое дорогое кладбище. Дорогие там лежат покойники... паду на землю и буду целовать эти камни и плакать над ними, – в то же время убеждённый всем сердцем моим, что всё это давно уже кладбище и никак не более... Собственным умилением упьюсь... Тут не ум, не логика, тут нутром, тут чревом любишь, первые свои молодые силы любишь...» Иван не замечает ошибки, может быть, обмолвки в своих словах: не сердцем убеждён он в том, что всё это давно уже кладбище: сердцем, нутром и чревом он любит и верит. Он прежде всего любит, прежде всего верит, а потом уже умом и логикой отрицает веру и убеждения собственного сердца. В этом разладе между его нутром и его логикой – всё великое несчастье его жизни, ибо прав Алёша, говоря, что надо полюбить жизнь раньше логики и только через эту любовь разгадывать её смысл. Иван любит жизнь великой любовью, но осмысливает её мимо этой любви, через логику, тоже великую, но не столь великую, не столь глубокую, как его любовь, ибо в ней, в этой логике, какие-то необозримые замешательства, какие-то вихри, но не свет, не озарение свыше.

При всём этом Иван не перестаёт быть «желторотым мальчиком», как и Алёша, этот очаровательный «человечек», который твёрдо стоит на своём камне. Он мальчик, оригинальный русский мальчик, вместивший в себе какое-то странное веяние духа. Всё отрицая умом, он, тем не менее, живёт «предвечными вопросами» о Боге и бессмертии. «И множество, множество самых оригинальных русских мальчиков, – говорит Иван, – только и делают, что о вековечных вопросах говорят у нас в наше время». Таково это странное карамазовское царство.

По А. Волынскому

Иван Карамазов – носитель аморализма. Он колеблем страшными соблазнами. Его привлекает тот самый «лозунг», который Ницше впоследствии делает своим: «всё позволено!» Нет никаких моральных норм, правил, принципов! Достоевский связывает это с тем, что Иван бунтует против религии. Двое братьев Карамазовых противопоставляются один другому. Старший, Дмитрий, – человек грешных страстей, способный к преступлению. Но так как он твёрдо верует в Бога, то, мол, сумеет спастись от преступлений. Иван – человек рассудочный; он далёк от каких бы то ни было грешных страстей, далёк и от преступности. Но так как он бунтует против религии и церкви, то неизбежно станет на путь преступлений, хотя они и чужды всей его натуре. «Пусть погибнет мир», пусть погибнут правда и логика характеров, зато да здравствует благонамеренная пропись! Дескать, коли ты безбожник, в церкви Христовой усомнился, то, хочешь не хочешь, хотя бы это и было противно всей твоей природе, – полезай в преступники! Убивай отца своего руками соблазнённого тобою раба! Иначе – какой же ты безбожник?

Злосчастный Фёдор Павлович, и без того уже достаточно посрамлённый за свой «нигилизм» и «вольномыслие», становится чем-то вроде подопытной собаки для своеобразных идеологически-убивочных экспериментов своих сыновей. Дмитрий по природе своей мог убить, но не убил. Иван по своей натуре не мог убить, но убил руками соблазнённого его безбожием Смердякова. А почему? Потому что первого в решающую минуту «Бог сторожил», «светлый дух облобызал», а второго некому было сторожить, он Бога не боялся; он только для того специально и под-

стрекнул Смердякова на отцеубийство, чтобы всем доказать, что безбожник или усомнившийся обязательно должен быть преступником...

Но и в «Братьях Карамазовых» Достоевский показывает могущество своего дарования. В главе «Бунт» он обнаруживает, какая бунтарская сила таилась в нём. Вопреки всей своей церковной благонамеренности, он вместе с Иваном вступает в бунт против этой благонамеренности, против лжи религии.

В этой главе Достоевский поднял перед всем человечеством образ детских страданий. Разве способно человечество когда-либо забыть образ ребёнка, которого «один генерал, со связями большими и богатейший помещик», «затравил в глазах матери, и псы растерзали ребёнка в клочки!..» Он поднял образ: вселенское дитё, обиженное в мире, и не побоялся вложить этот образ, как сильнейший и неопровержимый аргумент, в уста своего героя, взбунтовавшегося против лживой христианской сказки о «божественной гармонии». Не стоит эта «гармония» слезинки хотя бы одного замученного ребёнка.

Логика бунта Ивана отличается той особенностью, что она как будто принимает все послышки христианской религии и исходит из них. Бог существует, он создал мир, божественная гармония настанет; обиженный примирится с обидчиком; все люди виновны в грехе: они съели яблоко, и с тех пор продолжают есть его, то есть утопают в грехах. За это они все должны страдать. Все эти нелепые догматы христианства, на протяжении веков используемые привилегированным меньшинством в эксплуататорском обществе для того, чтобы удерживать в повиновении подавляющее большинство, Иван соглашается принять. Допустим, что все эти послышки правильны, — как бы говорит он. — Но как быть со страданиями детей? «В сотый раз повторяю, — говорит Иван Алёше, — вопросов множество, но я взял одних деток, потому что тут неотразимо ясно то, что мне надо сказать. Слушай: если все должны страдать, чтобы страданием купить вечную гармонию, то при чём тут дети, скажи мне, пожалуйста? Совсем непонятно, для чего должны были страдать и они и зачем им покупать страданиями гармонию? Для чего они-то тоже попали в материал и унаволили собою для кого-то будущую гармонию? Солидарность в грехе между людьми я понимаю, понимаю солидарность и в возмездии, но не с детками же солидарность в грехе, и если правда в самом деле в том, что и они солидарны с отцами их во всех злодействах отцов, то уж, конечно, правда эта не от мира сего и мне непонятна. Иной шутник скажет, пожалуй, что всё равно дитя вырастет и успеет нагрешить, но вот же он не вырос, его восьмилетнего затравили собаками. О, Алёша, я не богохульствую! Понимаю же я, каково должно быть сотрясение вселенной, когда всё на небе и под землею сольётся в один хвалебный глас и всё живое и жившее воскликнет: «Прав ты, Господи, ибо открылись пути твои!» Уж когда мать обнимется с мучителем, растерзавшим псами сына её и все трое возгласят со слезами: «Прав ты, Господи!», то уж, конечно, настанет венец познания и всё объяснится! Но вот тут-то и запытая, этого-то я и не могу принять. И пока я на земле, я спешу взять свои меры. Видишь ли, Алёша, ведь может быть, и действительно так случится, что когда я сам доживу до того момента али воскресну чтобы увидеть его, то и сам я, пожалуй, воскликну со всеми, смотря на мать, обнявшуюся с мучителем её дитяти: «Прав ты, Господи!», но я не хочу тогда восклицать. Пока ещё время, спешу оградить себя, а потому от высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только замученного ребёнка, который бил себя кулачком в грудь и молился в зловонной конуре своей неискуплёнными слёзками своими к «Боженьке»! Не стоит потому, что слёзки его остались неискуплёнными. Они должны быть искуплены, иначе не может быть и гармонии. Но чем, чем ты искупишь их? Разве это возможно? Неужто тем, что они будут отомщены? Но зачем мне их отмщение, зачем мне ад для мучителей, что тут ад может поправить, когда те уже замучены?.. И если страдания детей пошли на пополнение той суммы страданий, которая необходима была для покупки истины, то я

утверждаю заранее, что вся истина не стоит такой цены. Не хочу я, наконец, чтобы мать обнималась с мучителем, растерзавшим её сына псами! Не смеет она прощать ему! Если хочет, пусть простит за себя, пусть простит мучителю материнское безмерное страдание своё; но страдания своего растерзанного ребёнка она не имеет права простить, не смеет простить мучителя, хотя бы сам ребёнок простил их ему! А если так, если они не смеют простить, где же гармония? Есть ли во всём мире существо, которое могло бы и имело право простить? Не хочу гармонии, из-за любви к человечеству не хочу. Я хочу лучше оставаться со страданиями неотмщёнными... Да и слишком дорого оценили гармонию, не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно. И если только я честный человек, то обязан возвратить его как можно заранее. Это я и делаю. Не Бога я не принимаю, Алёша, я только билет ему почтительнейше возвращаю.

– Это бунт, – тихо и потупившись проговорил Алёша.

Да, это бунт, по существу – бунт против самых основ религии, хотя Иван и заявляет, что он «не Бога не принимает», а только мир, созданный Богом, и грядущую «божественную» гармонию не принимает. Иван раскрывает ложь и фальшь не только христианской религии, он разоблачает безнравственность всякой религиозной морали, которая призывает мириться со всеми страданиями и муками, со всеми преступлениями, совершаемыми над человечеством во имя будущей небесной «гармонии». Допустим, говорит Иван, что эта гармония воцарится. Но безнравственно для матери прощать муки ребёнка её! Она не имеет морального права прощать. Допустим, что тогда, в той «божественной гармонии», будет торжествовать какой-то иной, небесный, а не человеческий, ограниченный, эвклидовский, земной разум, и тем «небесным» разумом можно будет «понять», зачем так страдали люди на земле, «понять», что страдания эти шли на благо, так как ими покупалась истина, искупались грехи и т. д. и т. п. Но как я – человек, с моим, данным мне, с вашей, религиозной точки зрения, самим Господом земным разумом, – могу примириться с невыносимыми страданиями человечества, и особенно со страданиями детей, виновных только в том, что родились на свет!

Иван бунтует против примирения со страданиями человечества, которое составляет сущность всякой религиозной морали. Он берёт тему детских мучений только потому, что на этой теме особенно ярка нелепость, бессмысленность и безнравственность религиозной проповеди примирения со всем злом и неправдой на земле. Он говорит Алёше: «Слушай меня: я взял одних деток для того, чтобы вышло очевиднее. Об остальных слезах человеческих, которыми пропитана вся земля, от коры до центра, – я уж ни слова не говорю, я тему мою нарочно сузил».

Религия утверждает, что виновных в страданиях человечества нет, что всё совершается по «благости» Божьей, что надо терпеть всю грязь, кровь, все муки на земле, ибо «там», на небесах, все разъяснится, и все поймут, зачем «нужно» было, чтобы генерал травил псами восьмилетнего мальчика; зачем «нужно» было, чтобы умер Илюшечка, пронзённый в сердце обидой, которую нанёс Дмитрий Карамазов его отцу; зачем «нужно» было, чтобы по всему свету раздавался плач голодного «дитё»; зачем «нужно» было, чтобы вся земля, от коры до центра, была пропитана человеческими слезами! Религия учит, что во всём этом «воля Божья», недоступная благодать его.

Иван вскрывает капитальную ложь, являющуюся первоосновой религии: страдания человеческие необходимы потому, что ими покупается грядущее блаженство; следовательно, всё, что происходит – в том числе и самые чудовищные унижения и оскорбления человека, – представляют собою величайшее благо. Но человеческий разум и совесть не могут мириться с унижением и оскорблением, не могут мириться с муками детей! И только эта, человеческая мораль высока и свята.

В своем бунте Достоевский поднимается до такой моральной высоты, как признание примирения со страданиями людей безнравственным. Он заставляет своего христианнейшего, смиреннейшего Алёшу поддержать эту мораль. Когда Иван спрашивает

своего брата, страдающего вместе с ним за всё человечество, — что нужно сделать с генералом, затравившим псами мальчика: «Ну... что же его? Расстрелять? Для удовлетворения нравственного чувства расстрелять? Говори, Алёшка!» — тот тихо отвечает, но его тихий ответ гремит громом, потому, что отвечает сам Достоевский.

«Расстрелять!» — тихо проговорил Алёша, с бледной, перекосившеюся какою-то улыбкой, подняв взор на брата».

Центр тяжести не в том, конечно, расстрелять или не расстрелять генерала, расстрелявшего псами ребёнка на глазах матери. Речь идёт о моральной памяти человечества. Имеет ли человечество моральное право забывать такие преступления? Может ли совесть человечества допустить даже мысль о возможности такой «гармонии», при которой подобные преступления могут быть прощены? Может ли совесть человечества забыть и простить слезинку хоть одного замученного ребёнка?

Таково нравственное существо вопроса, поставленного Достоевским перед человечеством.

Тема главы «Бунт» огромна. Здесь объявлено безнравственным забвение и прощение преступлений против совести человечества. Если бы человечество забывало преступления, противоречащие человечности, оно стало бы в моральном отношении на голову ниже, оно начало бы морально мельчать, деградировать, вырождаться. Но жива совесть человечества! И глава «Бунт» в романе «Братья Карамазовы» — одно из неопровержимых свидетельств того, что ничем нельзя заглушить совесть человечества и совесть русской литературы!

Таким образом, Иван Карамазов поднял свой протест против фальшивой «гармонии», оправдывающей всю грязь, всю кровь, все слёзы, все обиды на земле.

Один из критиков-современников верно сказал о бунте Ивана Карамазова, что он «поражает читателя глубоко, как крик Прометея, прикованного к скале, видящего страдания и несправедливость человечества и не могущего сделать шагу для помощи ему».

Религия по существу отвечает утвердительно на вопрос Ивана: стоит ли грядущая «божественная гармония» слезинки хотя бы одного замученного ребёнка. Мир, дескать, создан Господом, и всё, что есть в мире, творится по воле Божьей; следовательно, всё благо; муки детей необходимы для «божественной гармонии» и не дело человека, греховного по самой природе своей, ограниченного своим земным разумом, вольнодумствовать, допытываться о том, зачем нужны и нужны ли детские страдания! Надо, конечно, облегчать эти страдания по мере возможности, во имя христианского человеколюбия, а всё остальное — от лукавого! «Повинуйся, дрожащая тварь, и молчи!» — таков, по сути дела, ответ религии, в точности совпадающий с тем аморализмом, который прельщал и ужасал Родиона Раскольникова. Аморальность церковной «морали» действительно, может быть, ярче всего проявляется в примирении с мучениями детей. И Иван Карамазов обнажает этот аморализм религии.

По В. Ермилову

Характер двойника — первый, созданный Достоевским характер, его излюбленный тип, над которым художник работал всю жизнь, и без которого не обошлось ни одно из его произведений. Иван Карамазов — последний двойник в творчестве Достоевского, и в нём с наибольшей полнотой выразились философские искания двойника.

«Нам прежде всего надо предвечные вопросы решить», — вот первые слова той горячей исповеди, в которой Иван раскрывает свою душу перед братом Алёшей. И, действительно, «предвечные вопросы» владеют всем существом Ивана. Он страстно ищет их решения, с таким напряжением, упорством, мучениями, что здесь невольно чувствуется не только теоретический интерес, а живая, насущная потребность жизни, потребность неотложная, от удовлетворения которой зависит — жить или не жить.

Причины этой растерянности и торопливости лежат в условиях жизни упадочно-го мецанства. Захваченные приливом новых капиталистических отношений, раз-

рушивших старую экономическую правду, превративших в мёртвую букву старые правовые, моральные и религиозные ценности, мещанство лишилось почвы, очутилось в положении погибающих. Из беспочвенного положения есть только два выхода: вверх и вниз. Где настоящий выход? Куда броситься? Где спасенье? Тут нет места спокойному обдумыванию. Необходимо немедленно совершить тот или иной акт, принять то или иное решение. Если при этом иметь в виду, что, бросаясь то к тому, то к другому выходу, мещанин замечает, что верхний «плотно забит», а нижний ведёт «на дно», которое не сулит ему ничего хорошего, то станет ещё понятней эта мучительная и напряжённая суматоха в действиях и мыслях.

Какими бы отвлечёнными вопросами ни занималась мысль двойника, она всегда исходит и всегда возвращается к основному, практически насущному вопросу: где спасение? Куда броситься – к гордости или смирению, к своеволию или к пассивности? С тем же вопросом в душе подходит Иван Карамазов к решению мировой проблемы. В нём живёт гордый дух, болезненно самовластный, иррационально-своевольный, дух, жаждущий ничем не ограниченного господства, тот дух, который у Раскольникова мечтает о Наполеоне, у Ипполита мечтает стать «почище Остермана» и который на практике кончается «испанским королём», как у гоголевского Поприщина.

Но в нём живёт и другой дух, смиренный и болезненно-приниженный, сознающий своё бессилие и пассивно опускающий руки. Карамазов смотрит на мир поочерёдно глазами того и другого духа. Когда он смотрит на него глазами гордого духа, он видит себя господином мира, своевольным и всевластным, и мечтает он уже не о Наполеоне и Остермане, а о «человеке-боге». Когда он смотрит глазами смиренного духа, он чувствует себя жалким и ничтожным, а в мире видит таинственного, всемогущего властелина, перед которым остаётся пассивно сложить руки и смиренно ждать исполнения его воли, признавши эту волю благой, словом, тогда на место человека-бога становится мир-бог.

Внутреннее противоречие своей природы и противоречие социального положения, противоречие верха и дна, своеволия и пассивности Карамазов перенёс и на отношения между миром и человеком. Понять глубокую гармонию мира и человека Карамазов не в силах, как не в силах был Раскольников представить себе гармонических отношений людей между собой. Кто чувствует эту гармонию, кому понятно единство мира и человека, перед тем не стоит мучительной дилеммы Ивана Карамазова, тому не нужно выбирать между миром и человеком, уничтожать одно во имя другого. Но для того, кто разделяет мир и человека, кто видит между ними противоречие, необходимо искать выход. Именно так и стоит вопрос для Ивана Карамазова. Мир и человек для него не единство, а двойственность, не отношение солидарности и согласия, а отношение господства и покорности. Между ними вечный антагонизм, вечное противоречие, которому может положить конец лишь победа одного из них. Иван напряжённо ищет выход из этого антагонизма, противоречие бесконечно мучит его, потому что это – противоречие его природы, болезненная двойственность его души, в которой гордость борется с унижением.

Чтобы обрести гармонию, Карамазову нужно сделать выбор между духом гордости и духом смирения, внять голосу одного из них и отвергнуть другой. Что же нашептывает ему гордый дух? «По-моему, и разрушать ничего не надо, а надо всего только разрушить в человечестве идею о Боге, вот с чего надо приняться за дело! С этого надобно начинать – о слепцы, ничего не понимающие! Раз человечество отречётся поголовно от Бога... то само собой, без антропофагии падёт всё прежнее мировоззрение и, главное, вся прежняя нравственность, и наступит всё новое. Люди совокуляются, чтоб взять от жизни всё, что она может дать, но непременно для счастья и радости в одном только здешнем мире. Человек возвеличится духом божеской, титанической гордости и явится человеком-бог. Ежечасно побеждая уже без границ природу, волею своей и наукой, человек тем самым ежечасно

будет ощущать наслаждение столь высокое, что оно заменит ему все прежние упования наслаждений небесных. Всякий узнает, что он смертен весь, без воскресения, и примет смерть гордо и спокойно, как Бог. Он из гордости поймёт, что ему нечего роптать на то, что жизнь есть мгновение, и возлюбит брата своего уже без всякой мзды. Любовь будет удовлетворять лишь мгновению жизни, но одно уже сознание её мгновенности жизни усилит огонь её настолько, насколько прежде расплывалась она в упованиях на любовь загробную и бесконечную... Но так как, ввиду закоренелой глупости человеческой это, пожалуй, ещё в тысячу лет не устроится, то всякому, сознающему уже и теперь истину, позволительно устроиться совершенно как ему угодно, на новых началах. В этом смысле ему «всё позволено». Мало того: если даже период этот и никогда не наступит, но так как Бога и бессмертия всё-таки нет, то новому человеку позволительно стать человеко-богом, даже хотя бы одному в целом мире, и, уж конечно, в новом чине, с лёгким сердцем переключить всякую прежнюю нравственную преграду прежнего рабо-человека, если оно понадобится. Для Бога не существует закона!» Таков совет гордого духа. Гордый дух Ивана Карамазова, решая проблему мира, провозглашает господство человека над миром, человеко-бога, для которого не существует закона. Однако реальная жизнь даёт очень ясно понять мещанину человеко-богу всё его ничтожество и бессилие. О человеко-божестве можно только мечтать. Ивану Карамазову очень хотелось бы стать человеко-богом, очень хотелось бы, чтоб это было не фантазией, не пустой мечтой, а действительностью. Иногда он даже забывает, что это мечта, готов даже поверить в человека-бога, но после увлечения фантазией наступают минуты пробуждения, которые ужасны. Тогда он начинает питать ненависть к своей мечте и к своему гордому духу. Тот самый гордый дух, который нащёптывает Ивану о человеке-боге, который смело отрицает власть мира-бога, сам позорно расписывается в собственной слабости, неспособности к отрицанию этой власти и отсутствию веры в себя. «Каким-то там современным назначением, которого я никогда разобрать не мог, я определен «отрицать», между тем я искренно добр и к отрицанию совсем не способен», — говорит он себе. Он вдруг признаётся: «Моя мечта это — воплотиться, но чтоб уж окончательно, безвозвратно, в какую-нибудь толстую семипудовую купчиху и всему поверить, во что она верит». За это позорное бессилие и не любит Карамазов своего гордого духа. Для него этот гордый дух становится злым духом: он манит прекрасной мечтой, но не даёт никакого реального, действительного удовлетворения. Когда Карамазов в момент галлюцинации объективизирует вне себя гордую половину своей природы, она представляется ему в образе «чёрта». И как ненавидит он этого чёрта! Галлюцинация приводит его в ярость, почти в исступление. Рассказывая своему брату о чёрте, Иван говорит: «Он — это я, Алёша, я сам. Всё моё низкое, всё моё подлое и презренное».

Итак, проблема мира не разрешается в идее человеко-божества, потому что она не оправдывается действительностью и, следовательно, разумом. Остаётся второй выход из противоречия между миром и человеком: признать безграничную власть мира над человеком, признать уделом человека смирение и пассивность. В этом случае человеку остаётся терпеливо ожидать, надеяться, верить в благость царящей над ним власти: мир-бог. Этот второй выход практически зовёт мещанина к покорному подчинению своей участи, к оправданию своего унижения и страдания верою в то, что благая воля Бога ведёт через страдания неведомым нам путём к высшей гармонии и блаженству. За это решение говорит чувство своего бессилия, сознание, что над ним господствует какая-то мощная, стихийная сила, понять которую он не может. Против говорит то, что эта сила ничем не обнаруживает своей благости, что она реально ведёт лишь к обезличению и страданию. Итак, Бог вполне допустим, даже логически неизбежен для Карамазова, и он готов признать его. Но он не в силах признать его благости. Как может благая воля обрекать на унижение и страдание?

Пусть так, пусть существует Бог, пусть всё в мире совершается неизбежно по его воле и, в конце концов, совершается для будущей гармонии. Но страдание и унижение остаётся фактом, оно ничем не может быть оправдано, и потому Иван не хочет покоряться Божьей воле, он объявляет «бунт» против неё. «Я не Бога не принимаю... я мира, им созданного, мира – то Божьего не принимаю и не могу согласиться принять... В мировом финале, в момент высшей гармонии, случится и явится нечто до того драгоценное, что хватит его на все сердца, на утоление всех негодований, на искупление всех злодейств людей, всей пролитой ими крови, хватит, чтобы не только было возможно простить, но и оправдать всё, что случилось с людьми, – пусть, пусть всё это будет и явится, но я – то этого не принимаю и не хочу принять!» Карамазов прекрасно понимает всю логическую нелепость бунта против Всемогущего. Но здесь уже не до логики, здесь голое возмущённое чувство. Карамазов заявляет, что ему решительно нет никакого дела ни до логики, ни до «каменной стены». «О, по моему, по жалкому, земному эвклидовскому уму моему, я знаю лишь то, что страдание есть, что виновных нет, что всё одно из другого выходит прямо и просто, что всё течёт и равномерно вешивается, – но ведь это лишь эвклидовская дичь, ведь я знаю же это, ведь жить по ней я не могу же согласиться! Что мне в том, что виновных нет и что я это знаю, – мне надо возмездие, иначе ведь я истреблю себя. И возмездие не в бесконечности где-нибудь и когда-нибудь, а здесь уже, на земле, и чтоб я его сам увидал... Не для того же я страдал, чтоб собой, злодействами и страданиями своими унавозить кому-то будущую гармонию?» Карамазов не желает признать ни «эвклидовской дичи», ни Бога хотя бы вопреки логике и здравому смыслу. Пусть есть Бог, пусть всё совершается по Его воле с целью в конце концов осчастливить людей. Иван не хочет получить этого счастья, потому что его цена – страдание и кровь. «Представь, – говорит он брату, – что это ты сам возводишь здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им, наконец, мир и покой, но для этого... предстояло бы замучить всего лишь одно только крохотное созданыще, вот того самого ребёночка, бывшего себя кулачком в грудь... согласился ли бы ты быть архитектором на этих условиях, скажи и не лги!» – «Нет, не согласился бы», – тихо отвечает ему брат. И Иван ни за что не хочет признать ни будущей гармонии, ни её архитектора, потому что эта гармония жестока и бесчеловечна. «Не хочу гармонии, из-за любви к человечеству не хочу. Я хочу оставаться лучше со страданиями неотомщёнными. Лучше уж я останусь при неотомщённом страдании и неутолённом негодовании моём, *хотя бы я был и неправ*. Да и слишком дорого оценили гармонию, не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому билет свой на вход спешу возвратить обратно... Не Бога я не принимаю, Алёша, а только билет ему почтительнейше возвращаю». Во имя человеческой личности, во имя свободного проявления её воли Иван Карамазов отрицает будущую гармонию, купленную ценой пассивности и страдания.

Человеко-божество невозможно и потому неприемлемо, мир-бог неприемлем и потому невозможен – таково метафизическое выражение раздвоенности мещанина-упадочника между невозможным идеалом и неприемлемой действительностью. Мысль Карамазова нерешительно бьётся между двумя решениями мировой проблемы, не смея остановиться ни на одном из них. Две идеи борются между собой за обладание его душой: идея гордого своеволия и идея пассивного смирения. В его груди вечно звучат два голоса: голос гордого духа, того, что выносил идею человека-бога, и голос смиренного, робкого духа, того, что создал идею Бога. Иван Карамазов сам говорит об этой тяжёлой внутренней борьбе: «Здесь дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей». Трагизм его положения в том и заключается, что его сердцем не владеет всецело ни гордый дух, ни дух смирения, ни дьявол, ни Бог. Ум, измученный этой вечной борьбой без победы, истомлённый неразрешимым внутренним противоречием, не выдерживает, и Карамазов кончает помешательством.

В лице Ивана Карамазова Достоевский как бы снова попытался воплотить свою раннюю художественную мечту создать двойника в узком и точном смысле этого слова, мечту, на осуществление которой не хватало юношеских сил Достоевского и которую он так блестяще осуществил в период полного расцвета творческих сил.

По В. Переверзеву

Иной оттенок жизненной философии, относительно Фёдора Павловича, выдвигается в убеждённых суждениях идеального выразителя карамазовщины – Ивана Фёдоровича Карамазова. Философия последнего сводится к практическим инстинктивным суждениям отца. Инстинктивно-практическое «всё позволено» Фёдора Карамазова сходится с тождественным, но уже продуманным выводом Ивана Фёдоровича. Недаром, по заключению неглупого и воспитанного Иваном Смердякова, если и есть из сыновей, который более похожий на Фёдора Павловича по характеру, то это он, Иван Фёдорович. И Смердяков точно указывает эти черты сходства Ивана с отцом: его жизнелюбие, привязанность к деньгам и жизненные инстинкты. «Вы, как Фёдор Павлович, наиболее-с, изо всех детей на него похожи вышли, с одною с ними душою-с», – говорит Смердяков Ивану в глаза.

Но было бы ошибкой исходя из этих суждений Смердякова представлять Ивана Фёдоровича в чертах отца, а разницу между ними полагать лишь в возрасте и неодинаково выраженной резкости инстинктов. Иван Карамазов представляет собой явление более сложное, чем Фёдор Павлович, человека недоужинного, а по своей психологии – весьма интересного и содержательного, вызывающего не отвращение, а сочувствие к переживаемой им трагедии духа.

По своему развитию, идейности, содержательности и глубине вопросов, обширности познаний, оригинальности и обоснованности суждений, а также по силе жизненной наблюдательности и замечательному анализу своих и чужих душевных явлений, Иван Карамазов способен вызывать удивление.

Двадцатитрёхлетний юноша, приехавший к отцу по окончании университета, Иван Фёдорович Карамазов уже имеет большой навык и значительные познания в области вечных принципиальных вопросов жизни. Являясь типичным представителем русской интеллигенции, неизменно трактующей при всяком удобном случае о мировых вопросах: о Боге, о бессмертии, о переделке всего человечества, о социализме, анархизме и т.п. – Иван Карамазов свободно касается весьма важных вопросов: о сущности христианства, о бытии Божьем, о будущей жизни, о неповинных страданиях, о любви к ближним, о христианстве и социализме и, оперируя в сфере этих вопросов, обнаруживает развитие и силу мысли, логичность суждений и наличие познаний в данной сфере. И если соотнести его суждения и весь его духовный облик с его возрастом и условиями воспитания, можно прийти к заключению, что Иван Карамазов не праздно проводил время в гимназии и университете, ибо его знания и развитие – дело не только таланта, но и труда. Естественник по образованию, Иван Фёдорович по окончании Университета напечатал талантливую и обратившую на себя внимание статью по вопросу о церковном суде, ту самую, о которой Иван говорит в монастыре с учёным иеромонахом. А легенда о Великом Инквизиторе ещё в большей степени подтверждает и развитие Ивана Карамазова, и его знания и, главное, действительно убеждённое и серьёзное отношение к вопросам христианства и жизненного строительства.

Развитой и начитанный, мыслящий и принципиальный человек, Иван Карамазов прошёл суровую школу воспитания и выработал в себе твёрдый характер. Брошенный отцом на произвол судьбы, переходивший в детстве из одних рук в другие, Иван ещё в отроческом возрасте стал угрюмым и замкнутым. С десяти лет он уже понимал, что живут они в чужой семье, на чужих милостях, что отец у них какой-то такой, о котором даже и говорить стыдно. Он рано обнаружил необыкновенные, блестящие способности к учению. После окончания одной из московских гимназий, Иван Фёдо-

рович поступил в университет, где первые два года ему пришлось очень солоно, так как он был вынужден все это время содержать себя сам и в то же время учиться. К отцу он не обращался. Бегая по урокам, имея копеечный заработок в редакциях, в последние годы пребывания в университете он уже стал писать серьёзные статьи и почувствовал себя независимо. Учёный, гордый, осторожный явился он к всеобщему удивлению по окончании университета в дом отца, который в значительной мере стал подчиняться его влиянию. В таких чертах можно представить себе этого члена семьи Карамазовых, прибавив к этому ещё и анализ душевного состояния Ивана, данный в главе под заглавием «Чёрт. Кошмар Ивана Фёдоровича».

Человек сильного ума, прямолинейный, искренний и неспособный к сделкам и компромиссам, Иван Фёдорович Карамазов в цвете лет, в сознании своих сил стремится к прекрасному и великому. Он очень любит жизнь: «...Дороги мне клейкие, распускающиеся весной листочки, дорого голубое небо, дорог иной человек, которого иной раз... не знаешь за что влюбишь, дорог иной подвиг человеческий, в который давно уже, может быть, перестал и верить, а всё-таки по старой памяти чтить его сердцем». Он собирается ехать в Европу – «на самое, самое дорогое кладбище»: «Дорогие там лежат покойники, каждый камень над ними гласит о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу и в свою науку, что я, знаю заранее, паду на землю и буду целовать эти камни и плакать над ними...» И этот сильный человек, способный по своим знаниям, развитию, характеру и искренности быть строителем жизни, падает под её напором и сходит с ума в результате кошмарного периода своей жизни. Где же разгадка этого результата?

По изображению Достоевского, одна из существенных черт карамазовщины – неверие. Это неверие, утрача веры в старое без замены новым и губят сильного Ивана Карамазова. Любя жизнь, ценя прекрасное, Иван Фёдорович в возрасте двадцати четырёх лет серьёзно рассуждает о возможности самоубийства к тридцати годам. С потерей религиозной веры жизнь потеряла для него ценность и смысл, он стал холодным и безучастным эгоистом, и проявления жизни вызывают в нём брезгливое раздражение, он делается жёстким: «один гад съест другую гадину, обоим туда и дорога», – говорит он в адрес отца и брата; «Сторож я, что ли, моему брату Димитрию?» – по-каиновски отвечает Иван на вопрос Алёши об отце и брате. Отрицая нравственные нормы, утратив религиозную веру, Иван Карамазов становится на позитивную почву. Позитивная теория Огюста Конта о трёх состояниях человечества – теологическом (богословие), метафизическом и позитивном – в трагедии Ивана Карамазова находит свою этическую оценку. Иван Фёдорович перешагнул две ступени развития и стоит на третьей – позитивной, где факты и очевидность становятся основами для выводов научно образованного эвклидовского ума. Что же они дают этому талантливому позитивисту? В трагичной обстановке Иван Карамазов, не охотник до трактатов, и чистый Алёша под звуки органа и трагичный шум решают мировые вопросы, мыслью возносятся к небу, углубляются в бездну соображений Великого Инквизитора, и раскрывается духовная трагедия Ивана. Сущность трагедии состоит не в отрицании им нравственности, ибо нравственность отрицает и Фёдор Павлович, однако трагедии не переживает. Трагедия Ивана Фёдоровича в том, что, теоретически стоя на ступени отрицания теологии и метафизики, он не может практически освободиться от нравственного сознания и требований голоса совести. Увлекаясь клейкими весенними листочками, намереваясь слезами орошать обломки европейской культуры, Иван Фёдорович не может понять, как можно любить ближних: чтобы полюбить человека, уверяет Иван, надо, чтобы тот спрятался, а чуть покажет лицо своё – пропала любовь, и потому Иван Карамазов не понимает христианства, предписывающего любовь ко всем людям как к ближним. Карамазовым нужен широкий и звучный подвиг ради человечества, а работать медленно ради блага ближних – невыносимо и без любви невозможно, а любовь неразрывна с верой. Уничтожьте в

человечестве веру в бессмертие, в нём тотчас же иссякнет не только любовь, но и всякая живая сила, чтобы продолжать жизнь, и тогда – антропофагия (людоедство). Проблема бессмертия, как и религиозная, – не решена в душе Ивана Карамазова; она мучает его, настоятельно требуя решения, и в том его трагизм, как понял душевное состояние Ивана старец Зосима. Коренные вопросы христианской морали – о Боге, о бессмертии, о любви к ближним, о смысле жизни – не разрешены Иваном Карамазовым, он их теоретически отвергает; а если нет Бога, бессмертия, ближних, то всё позволено. К этому отцовскому выводу, пусть и другими путями приходит Иван Карамазов. Всё позволено, и тогда – «переоценка ценностей»; всё позволено, и тогда – «по ту сторону добра и зла»; всё позволено, и тогда – нет ближних, долой любовь, долой альтруизм; всё позволено – и на месте упразднённой общечеловеческой морали является мораль эгоизма, а на место Бога является человекобог.

За много лет до модных афоризмов певца индивидуализма Ницше Достоевский устами Ивана Карамазова сформулировал основные положения ницшеанства. Ницше стал кумиром моды, но он лишь повторил ранее выраженные идеи Ивана Карамазова. Сверхчеловек Ницше и человекобог Ивана Карамазова становятся одинаково «по ту сторону добра и зла»: мораль любви, братства и долга разрушена, а на её место становится мораль господ и рабов; нет ближних, а есть стадо. Но Иван Карамазов, как и Ницше, не может победить моральных запросов личности, а переходя на сторону последних, не может принять Божьего мира, и он бунтует и против мира, и против Творца, и особенно против христианства как наилучшего выражения небесной воли. И этот последний бунт выражен в легенде о Великом Инквизиторе.

Согласно этой легенде, действие происходит в Испании, в Севилье, в самое страшное время инквизиции, когда в стране ежедневно сжигали на кострах еретиков. В эту самую эпоху, на следующий день после аутодафе, при котором в присутствии короля, двора, рыцарей, кардиналов и прелестнейших придворных дам была сожжена целая сотня еретиков, – Христос ещё раз показывается среди людей на улицах Севильи в том самом образе, в котором Он ходил три года между людьми пятнадцать веков тому назад. Народ с непобедимой силой стремится к Нему, окружает Его, следует за Ним. Как и прежде, из одежды Его исходит целующая сила. Он возвращает зрение слепорождённому, на паперти севильского собора воскрешает семилетнюю девочку в открытом белом гробике... И вдруг по площади собора проходит сам кардинал, Великий Инквизитор. Это девяностолетний старик с иссохшим лицом, со впалыми глазами, из которых ещё, как огненная искорка, светится блеск. За ним на известном расстоянии следуют его мрачные помощники, рабы и священная стража. Он приказывает взять Христа, и до того послушен был ему народ, что Христа уводят и сажают в тюрьму. Ночью Великий Инквизитор один, со светильником в руке посещает своего пленника. Здесь в глубокой и сильной речи Великий Инквизитор высказывает Христу, почему он не может допустить Его вторичного пребывания на земле и почему он завтра же велит сжечь Его на костре, и завтра же, говорит он, Ты увидишь, как это послушное стадо людей бросится подгрэбать горячие угли к Твоему костру. Причина в том, что учение Христа, действительно Божественное, было, по мнению Великого Инквизитора, не под силу всему тысячемиллионному человечеству, а было доступно разве только нескольким тысячам избранных. Христос желал сделать людей слишком свободными. Но нет заботы беспрерывнее и мучительнее для человека, как, оставшись свободным, поскорее сыскать того, пред кем преклониться. Христос отвергнул в пустыне искушение сатаны. А между тем сатана предлагал Христу именно то, что могло объединить вокруг Него всех людей в общем поклонении. Это было, во-первых, зная хлеба земного, отвергнутое во имя той же свободы и хлеба небесного; во-вторых, чудо, тайна и авторитет. Христос и этого не принял. Он жаждал свободной веры, а не чудесной. Жаждал свободной любви, а не рабства невольника перед могуществом, раз и навсегда его ужаснувшим. Он отвергнул и последнее искушение сата-

ны, показавшего Ему царства земные: Рим и меч Кесаря. Отречение Христа было истинным подвигом Бога. Но мы, говорит великий инквизитор, давно с ним, то есть с сатаной: мы исправили Твой подвиг и основали его на чуде, тайне и авторитете. Мы дали людям тихое, смиренное счастье слабосильных существ, какими они и созданы. Мы заставим их работать, но в свободные часы устроим им жизнь, как детскую игру – с детскими песнями, хором, с невинными плясками. О, мы разрешим им грех, они слабы и бессильны, и они будут любить нас, как дети, за то, что мы позволяем им грешить. Мы скажем им, что всякий грех будет искуплён, если будет совершён с нашего позволения; позволяем же им грешить, потому что любим их, наказание же за грехи, так и быть, возьмём на себя. Возьмём на себя, а они будут обожать нас. Самые мучительные тайны их совести они понесут к нам, и мы всё разрешим. И все будут счастливы, только мы, хранящие тайну, будем несчастны. Тихо умрут они и за гробом обрящут лишь смерть, но мы сохраним секрет и для их же счастья будем манить их наградою небесною и вечною... Ты пришёл нам мешать... Завтра сожгу Тебя...

Узник слушает инквизитора, проникновенно и тихо глядя ему в глаза и, видимо, не желает ничего возражать. И вдруг Он приближается к старику и тихо целует его в девяностолетние бескровные уста. В этом и весь ответ. Старик вздрагивает. Что-то шевельнулось на концах его губ; он идёт к двери, открывает её и говорит Христу: ступай и не приходи более... не приходи вовсе... никогда, никогда! И выпускает Его на тёмные стогны града. Пленник уходит. Поцелуй горит в сердце Великого Инквизитора, но старик остаётся на прежней идее. Этим оканчивается поэма.

Не анализируя подробно эту загадочную легенду, следует, однако, сказать, что и здесь в суждениях Великого Инквизитора, то есть того же Ивана Карамазова, выражается безысходный конфликт веры и безверия. Вопрос о практической посильности христианства человечеству должен быть решаем не логикой рассудка, а силой любви, поцелуем, горящим в сердце инквизитора. Безбожное, атеистическое учение о равенстве всех людей, по суждению Достоевского, неосуществимо и невозможно, потому что противоречит человеческим инстинктам. Люди равны в Боге, но не равны в природе, и где нет религии, там не может быть и равенства; Инквизитор возводит в идеал насилие, вводя двойственную мораль – рабов и господ, а христианство проповедует любовь, мир, сострадание, равенство. Таким образом, Иван Карамазов – прототип нищезанского сверхчеловека, но как последний, он терпит крушение, потому что в противовес теоретическому «всё позволено» выдвигаются моральные запросы человеческой души, которые разумная нравственная личность отрицать не в состоянии, потому что это значило бы отрицать самих себя. И если в области жизни и личной морали отрицатель религии может строить личное благо на началах эгоизма и утилитарных основаниях, то истинный интеллигент, не удовлетворяющийся личной жизнью и желающий расширения жизненного масштаба до сфер общественного строительства, должен, по Достоевскому, помнить, что на почве безверия он ничего не сделает и в лучшем случае наследует печально-трагическую судьбу Ивана Карамазова. Настроение последнего и внутренний трагизм определяются не только конфликтом атеистически-позитивных воззрений и сознания моральных запросов души, но и, главным образом, сознанием невозможности практического осуществления начал новой позитивной религии – религии без Бога, без догматов, без веры, без мистицизма. Позитивная религия смотрит на настоящую жизнь как на путь или средство приготовления к будущей жизни, но к будущей земной жизни, лучшей жизни человечества. По утверждению позитивизма будущее человечество осуществит на земле принципы свободы, равенства и братства. Все формы рабства и угнетения человека человеком погибнут, человек овладеет природой посредством науки, устроит свободную и радостную жизнь, и человек будущего будет жить этой жизнью. Но, независимо от того, осуществимо это предствление или нет, остаётся совершенно ясным, что для людей настоящего, желающих работать ради блага отдалённого будущего человечества, необходимо иметь

веру. И Достоевский не верит, что вне религиозного сознания возможно устройство человеческого блага, он полон сомнений в возможности истинного братства там, где забыты заветы Христа и где существует двойственная мораль – мораль господ и мораль рабов, при которой могут быть вожаки, скрывающие тайну, порабощающие авторитетом, и стадо, но не может быть христианского братства. Это положение иллюстрируются всё той же многосодержательной поэмой о «Великом Инквизиторе», где Инквизитор, он же Иван Карамазов, хочет устроить земное царство без Христа, гонит его, заключает в тюрьму, но поцелуй Христовой любви горит в его сердце, призывая к строительству жизни на началах Христова братства, а не порабления масс. Вера в бесконечный естественный прогресс человечества, альтруистическое служение этому прогрессу – отличительные особенности воззрений современного интеллигента. Но Иван Карамазов сомневается, чтобы в человеке оказалась нравственная сила для жертвы безличному и абстрактному прогрессу своим личным благом, личными интересами, чтобы несчастья и страдания настоящих поколений могли быть оправданы ценою счастья поколений будущих, что будущее человечество, ради которого приносятся неповинные жертвы, действительно будет счастливо.

Таким образом, даровитый, идейный мыслитель, сильный человек, Иван Карамазов является выразителем карамазовского жизнелюбия и эгоизма с одной стороны, и неудержимого размаха широкой русской природы – с другой. Вопросы, им затрагиваемые, не иначе как мировые; знамя, им выносимое, не иное, как вселенское; его ницшеанский девиз: «всё позволено» – заманчив для масс и собирает вокруг себя несметные толпы. Под это знамя становятся фанатики прогресса, но под ним охотно собираются и Ракитины, которые понимают свободу в смысле собственной разнузданности, равенство – в смысле возможности забраться вверх и братство – в смысле неограниченного пользования братьями для своих целей. Попадая в руки ракитиных и им подобных, знамя прогресса и эволюционной религии непрочно, оно теряет свой авторитет в глазах широких людских масс и вместо свободы даёт порабощение, вместо блага даёт зло, вместо хлеба даёт камень. В руках Ивана Карамазова это знамя, конечно, более прочно и чисто, но и здесь оно не способно держаться намечаемого курса, потому, что с муками душевного разлада, с теорией без веры, знамя это, прежде всего, угнетает самого знаменосца; потому, что лишённый религиозной веры, с муками совести, но с духом отрицания, Иван Карамазов не может иметь никакой существенной связи с народом, а народ, трактуемый гордым умом Ивана как стадо, вдруг обнаруживает себя, свою стихийную силу и самобытность: народ–Богоискатель и Богоносец, по мнению Достоевского, не пойдёт за тем, кто потерял Бога и совесть и у кого вместо креста на груди висит ржавая гайка сомнительной машины. На почве своего горделивого атеистического мировоззрения Иван Карамазов готов устроить народное благо – благо стада, благо толпы, а эта толпа должна, по его взгляду, чувствовать в нём отца и благодетеля. Но народ даёт гордому позитивисту тяжёлый урок, лишая его доверия и не признавая его благодеяния.

Безбожный деятель, не понимающий народных верований, не слившийся с народным мировоззрением, не одушевляемый заветами Христовой любви, не найдёт доступа к народному сердцу, и, временно увлекаясь своими планами, он не избежит тяжёлой участи Ивана Карамазова. Материализм, позитивизм и всякие иные безрелигиозные доктрины действуют на человечество, как хронический яд, временно поднимая настроение, но в конечном результате истощая душу и расслабляя волю, внося в сознание человечества мотив бессмыслия и пустоты.

По Л. Соколову

В лице Достоевского мы имеем не только бесспорно гениального художника, великого гуманиста и народолюбца, но и выдающийся философский талант. Из всех наших писателей почётное звание художника–философа принадлежит по пра-

ву Достоевскому; даже Толстой, поставленный рядом с ним, в этом отношении теряет в своих колоссальных размерах. Давая мастерству Достоевского оценку с этой позиции, всего естественнее остановиться на том произведении, которое и в философском, и в художественном отношении является наиболее гениальным, а именно, на «Братьях Карамазовых», и выбрать в этом романе самую яркую в философском отношении точку – образ Ивана Карамазова.

Иван Карамазов – одна из центральных фигур в этой грандиозной эпопее русской жизни, в которой последняя отразилась от самых высших до самых низших своих проявлений. Он один из трёх братьев Карамазовых, которые, быть может, в глазах Достоевского символически изображали всё русское общество, всю русскую жизнь. Но вместе с тем Иван – это фигура, которой в романе не принадлежит практически никакого действия. Отношение Ивана к трагедии, разыгравшейся в стенах карамазовского дома, может быть охарактеризовано самое большее как попустительство. Хотя сам Иван впоследствии мучится мыслью, что он есть нравственный виновник убийства, но это бред его больной души. «Не ты убил», – говорит ему Алёша, устами которого чаще всего говорит и сам автор. И правда, нетрудно заметить, что кровавое событие в романе надвигается с фатальной силой, что трагедия неотвратима и всё равно разыгралась бы и без всякого участия Ивана.

После сказанного относительно места Ивана в романе, легко понять, что его душевный мир менее всего характеризуется его поступками. Главный и основной источник для понимания его души – это его собственные слова о себе. Отзывы о нём действующих лиц являются сравнительно второстепенными и получают значение только в связи со словами Ивана. Характеристика Ивана дана в драматической форме, большей частью в форме монолога, реже – диалога. Особого упоминания, как виртуозный технический приём, доступный в нашей, да и во всей мировой литературе одному Достоевскому, заслуживает характеристика души Ивана его бредом. Имеется в виду глава «Чёрт. Кошмар Ивана Фёдоровича». Благодаря бреду, сопровождающемуся галлюцинацией и болезненным раздвоением сознания, мы имеем здесь как бы монолог в диалогической форме. Чёрт Ивана Фёдоровича не метафизический Мефистофель, изображающий собой абстрактное начало зла и иронии, это произведение собственной больной души Ивана, частица его собственного Я. Всё, что мучает Ивана, что он презирает и ненавидит в себе, притом не только в настоящем, но и в прошлом, всё это получает как бы персонафикацию в чёрте. Этот эпизод ценен как характеристика состояния души Ивана. Это высший пункт нервного и умственного раздражения, в котором находится Иван, – момент, когда силы его рвутся и им овладевает болезнь. Появление его в суде на последних страницах романа мало прибавляет к его душевной драме.

Мало прибавляет для характеристики Ивана и любовная интрига, его роман с Екатериной Ивановной. В душевной жизни Ивана все действующие лица романа: отец, Алёша, Митя и в особенности Смердяков – имеют своё значение, не имеют его только Екатерина Ивановна и Грушенька.

Вообще Достоевский даёт только, так сказать, моментальную фотографию души Ивана. Он очень кратко и отрывисто говорит о его прошлом, о его детстве и юности – в романе Ивану двадцать три года – и ничего не говорит о его будущем. Рассказ круто обрывается. Возможно, причиной тому была смерть автора, унёсшего с собой в могилу столько невысказанных слов. Но едва ли и в дальнейшем Иван занял бы видное место в романе – в предисловии Достоевский говорит только об Алёше как герое будущего романа, который должен был, по плану автора, составить продолжение «Братьев Карамазовых».

Характерно, что в романе нигде нет описания внешности Ивана, хотя описывается внешность всех главных действующих лиц. И это не случайность, не неряшливость, а внутренний художественный инстинкт. Иван – дух, он весь отвлечённая

проблема, он не имеет внешности. Таким образом, весь талант автора направлен к тому, чтобы раскрыть и осветить состояние души Ивана в данный момент; оно находится как бы в фокусе таланта Достоевского.

Иван принадлежит к тем высшим натурам, для которых проблемы бытия, так называемые метафизические вопросы – о Боге, о душе, о добре и зле, о мировом порядке, о смысле жизни – представляются не праздными вопросами серой теории, а имеют самую живую, непосредственную реальность. Такие натуры не могут жить, не поставивши и не разрешивши этих вопросов. С психологической точки зрения не имеет значения, каковы те выводы или ответы, которые получены тем или другим лицом на эти вопросы. Важно то, что они не могут не быть поставлены и ответы на них не могут быть не получены. Характерной особенностью состояния, в котором находится Иван, является неверие, утрата веры в старое, которое не заменилось ещё новым. Такое переходное состояние в высшей степени болезненно. Представьте себе в момент такого перехода, такой болезненной ломки человека огромного ума, логической неустрашимости, страстной искренности, человека, абсолютно неспособного к сделкам с собой, – и вы получите Ивана Фёдоровича Карамазова. Этот умный и талантливый человек, в расцвете сил и жизни, совершенно серьёзно говорит о самоубийстве к тридцати годам, когда остынет жажда жизни «неприличнейшая». А Иван любит жизнь и умеет её ценить. «Пусть я не верю в порядок вещей, но дороги мне клейки, распускающиеся весной листочки, дорого голубое небо, дорог иной человек, которого иной раз, поверишь ли, не знаешь, за что и любишь, дорог иной подвиг человеческий, в который давно уже, может быть, перестал и верить, а всё-таки по старой памяти чишь его сердцем». Душа этого человека открыта для всего великого и прекрасного. Он говорит, что поедет в Европу, которую считает «самым, самым дорогим кладбищем»: «Дорогие там лежат покойники, каждый камень над ними гласит о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу и в свою науку, что я, знаю заранее, паду на землю и буду целовать эти камни и плакать над ними...» Таким образом, вся европейская культура, которую он так ценит и чтит, в настоящем представляется ему дорогим покойником. Вся жизнь является для него обезвученной. Состояние нравственного омертвения, в котором находится Иван, делает его холодным и безучастным эгоистом, которому окружающая жизнь внушает только безглагольное раздражение. Мороз по коже подирает, когда он говорит по поводу возможности убийства Дмитрием отца, что «один гад съест другую гадину», шокирует и возмущает его барски-надменное, грубое отношение к Смердякову, которому случайно пришлось сделаться настоящим героем его метафизического романа; многое в образе действий и в чувствах Ивана кажется жёстким и отталкивающим. Но при этом не верится, что во всём этом сказывается подлинная сущность натуры этого человека, умеющего так умиляться клейкими весенними листочками и целовать, орошая слезами, камни европейской культуры. Не верится самому Ивану, когда он говорит Алёше, что никогда не мог понять, как можно любить своих ближних. Тот Иван, которого мы видим в романе, не таков, каков он есть на самом деле, как Раскольников, готовящийся к убийству старухи, мало похож на подлинного Раскольникова. Постоянное страдание, жгучая боль неразрешенных сомнений заставляют Ивана внимательно относиться только к своему внутреннему миру; на участие во внешней жизни у него не хватает сил. Иван болен не только в конце романа, когда с ним случается настоящая нервная горячка; он болен с самого начала, болен с того времени, когда перед ним со всей ясностью стали мучащие его вопросы, которые ему нужно разрешить или нравственно умереть. Софист и диалектик в Иване иногда заслоняет мученика идеи, но последний виден пронизательному взору старца Зосимы, который с пророческой прозорливостью после памятного разговора о церковном суде говорит Ивану: «идея эта (о бессмертии души) ещё не решена в вашем сердце и мучает его. Но и мученик любит иногда забавляться своим отчаянием, как бы тоже от отчаяния. Пока с отчаяния и вы

завлечены — и журнальными статьями, и светскими спорами, сами не веря своей диалектике и с болью сердца усмехаясь ей про себя... В вас этот вопрос не решён, и в этом ваше великое горе, ибо настоятельно требует разрешения...» В этих вещих словах дан верный ключ к душе Ивана. Какие же вопросы не решены у Ивана, что составляет его великое горе?

Пётр Александрович Миусов в той же сцене в монастыре рассказывает про Ивана следующее: «Не далее как дней пять тому назад в одном здешнем, по прежнему дамском, обществе он торжественно заявил в споре, что на всей земле нет решительно ничего такого, что бы заставляло людей любить себе подобных, что такого закона природы: чтобы человек любил человечество — не существует вовсе, и что если есть и была до сих пор любовь на земле, то не от закона естественного, а единственно потому, что люди веровали в своё бессмертие. Иван Фёдорович прибавил при этом в скобках, что в этом-то и состоит весь закон естественный, так что уничтожьте в человечестве веру в своё бессмертие, в нём тотчас же иссякнет не только любовь, но и всякая живая сила, чтобы продолжать мировую жизнь. Мало того: тогда ничего уже не будет безнравственного, всё будет позволено, даже антропофагия. Но и этого мало, он закончил утверждением, что для каждого частного лица... не верующего ни в Бога, ни в бессмертие своё, нравственный закон природы должен немедленно измениться в полную противоположность прежнему, религиозному и что эгоизм даже до злодейства не только должен быть дозволен человеку, но даже признан необходимым, самым разумным и чуть ли не благороднейшим исходом в его положении». Иван подтверждает верность передачи его мысли: «Нет добродетели, если нет и бессмертия». Он не верит в бессмертие души. Ту же мысль повторяет ему его страшный двойник-чёрт. Он говорит о будущем царстве свободы и науки, когда человек, окончательно упразднив веру в Бога, станет человекобогом. Но «вопрос теперь в том, думал мой юный мыслитель (высмеивает Ивана чёрт): возможно ли, чтобы такой период наступил когда-нибудь или нет? Если наступит, то всё решено, и человечество устроится окончательно. Но так как, ввиду закоренелой глупости человеческой, это, пожалуй, ещё и в тысячу лет не устроится, то всякому, сознающему уже и теперь истину, позволительно устроиться совершенно как ему угодно, на новых началах. В этом смысле ему «всё позволено». Мало того: если даже период этот и никогда не наступит, то так как Бога и бессмертия всё-таки нет, то новому человеку позволительно стать человеко-богом, даже хотя бы одному в целом мире, и, уж конечно, в новом чине, с лёгким сердцем перескочить всякую прежнюю нравственную преграду прежнего раба-человека, если оно понадобится. Для Бога не существует закона! Где станет Бог, там уж место Божие! Где стану я, там сейчас же будет первое место... «всё позволено», и шабаш!»

Идея, что «всё позволено», является вообще излюбленным предметом разговора Ивана Карамазова: он развивает эту идею и Алёше, и Мите в тюрьме, и Смердякову, и останавливая внимание исключительно на философской стороне дела, следует заметить, что здесь с безоговорочной решительностью ставится одна из самых главных, из самых центральных проблем философии всех времён и народов, этическая проблема, а именно — вопрос о критериях добра и зла.

Иван с честной неустранимостью и с жестокой последовательностью делает этические выводы из философии атеизма, он приходит к безотрадному для себя выводу, что критерий добра и зла, а следовательно, и нравственности не может быть получен без метафизической или религиозной санкции. Религиозной веры у него нет, а с её потерей он с ужасом теряет и нравственность. Трагедия Ивана не в том, что он приходит к выводам, отрицающим нравственность; мало ли людей, для которых теоретическое «всё позволено» является только удобной вывеской для практической безнравственности; трагедия состоит в том, что с таким выводом не может примириться его сердце «высшее, способное такой мукой мучиться», как охарактеризовал его

старец. Достаточно вспомнить муки Ивана, считавшего себя виновным в убийстве отца. Теоретический разум приходит здесь в разлад с практическим, то, что отрицается логикой, поднимает свой голос в сердце, существует, несмотря ни на какие отрицания, как факт нравственного сознания, как голос совести. В высшей степени этическая натура вынуждена отрицать этику – таков этот чудовищный конфликт.

Нерешительно и условно выражается Иван относительно морали; он говорит: если нет Бога и бессмертия души, то всё позволено. Но когда его спрашивают: есть ли Бог, то иногда он решительно отвечает: нет Бога, иногда он даёт почти противоположный ответ. В том и состоит мучительность положения Ивана, что он не может прийти ни к какому окончательному выводу. Иван жадно ищет веры, он устал от сомнений. Ведь это про него говорит его насмешливый двойник–чёрт: моя мечта, «чтобы воплотиться в душу семипудовой купчихи и Богу свечки ставить». Но достаточно поглубже заглянуть в душу Ивана, чтобы понять, как далек он от спокойствия веры, как оно недоступно ему, как глубоки и широки его сомнения. Припомним те главы романа, где описывается разговор Ивана и Алёши в трактире. Достоевский достигает здесь поистине титанической мощи; какой своеобразный замысел кроется даже в самой обстановке, где братья впервые сходятся для разговора о Боге и Его мире. Иван, о котором говорится, что он не любил ни пьянства, ни разврата и «до трактиров вообще не охотник», и послушник Алексей, сидят в грязном трактире, на манер того, в каком Раскольников слушал рассказ Мармеладова. Они сидят за ширмами во входной комнате, «с буфетом у боковой стены. По ней поминутно шмыгали половые. Из посетителей был один лишь старичок, отставной военный, и пил в уголку чай. Зато в остальных комнатах трактира происходила вся обыкновенная трактирная возня, слышались призывные крики, откупоривание пивных бутылок, стук бильярдных шаров, гудел орган». А за ширмами, в уголке, подвергаются суровой оценке творческие замыслы Бога, разверзаются бездонные глубины легенды о Великом Инквизиторе, возносится к небу фимиам человеческой мысли... Есть что-то подлинно русское в этой простоте и в отсутствии всяких внешних обстановочных эффектов, с которыми выражены здесь великие идеи.

В такой-то обстановке братья впервые раскрываются друг перед другом. Иван даёт ответ на молчаливый вопрос Алёши, во что верует и чем живёт его любимый брат. Сначала Иван в духе позитивизма говорит, что где уж его «эвклидовскому земному» уму «про Бога понять» и решить, есть ли Он. Но затем продолжает: «Принимаю Бога, и не только с охотой, но, мало того, принимаю и премудрость Его, и цель Его, нам совершенно уж неизвестные, верую в порядок, в смысл жизни, верую в вечную гармонию, в которой мы будто бы все сольёмся, верую в Слово, к которому стремится вселенная и которое само «бе к Богу» и которое есть само Бог, ну и прочее, и прочее, и так далее в бесконечность. Слов-то много на этот счёт наделано. Кажется, уж я на хорошей дороге – а? Ну так представь же себе, что в окончательном результате я мира этого Божьего – не принимаю, и хоть и знаю, что он существует, да не допускаю его вовсе. Я не Бога не принимаю, пойми ты это, я мира, Им созданного, мира-то Божьего не принимаю и не могу согласиться принять. Оговорюсь: я убежден, как младенец, что страдания заживут и сгладятся, что весь обидный комизм человеческих противоречий исчезнет, как жалкий мираж, как гнусенькое измышление малосильного и маленького, как атом, человеческого эвклидовского ума, что, наконец, в мировом финале, в момент вечной гармонии, случится и явится нечто до того драгоценное, что хватит его на все сердца, на утоление всех негодований, на искупление всех злодейств людей, всей пролитой ими их крови, хватит, чтобы не только было возможно простить, но и оправдать всё, что случилось с людьми, – пусть, пусть это всё будет и явится, но я-то этого не принимаю и не хочу принять!»

Своим «эвклидовским» умом Иван не хочет признать целесообразности и разумности человеческих страданий. О «слезах человеческих, которыми пропитана вся земля от коры до центра, – я уж ни слова не говорю... Я клоп и признаю со всем принижением,

что ничего не могу понять, для чего всё так устроено. Люди сами, значит, виноваты: им дан был рай, они захотели свободы и похитили огонь с небеси, сами зная, что станут несчастны, значит, нечего их жалеть». Но детки невинны, они не «съели яблока, на их страданиях яснее поэтому ненужность, бессмысленность страданий вообще. И вот идут ужасные страницы о детках, зарезанных, застреленных в момент, когда дитя играючи тянулось за пистолетом, томимых в скверном месте, истязаемых, затравленных собаками на глазах у матери, — длинная, кровавая галерея. «Совсем непонятно, — гремит Иван, — для чего должны были страдать и они, и зачем им покупать страданиями гармонию? Для чего они — то тоже попали в материал и унавозили собою для кого-то будущую гармонию?» Иван отказывается от гармонии за такую цену. «Не стоит она слезинки хотя бы одного только того замученного ребёнка, который бил себя кулачком в грудь и молился в зловонной конуре своей неисккуплёнными слёзками своими к «Боженьке»! Не стоит потому, что слёзки остались неисккуплёнными. Они должны быть искуплены, иначе не может быть и гармонии. Но чем, чем ты искупишь их? Разве это возможно? Неужто тем, что они будут отомщены? Но зачем мне их отмщение, зачем мне ад для мучителей, что тут ад может поправить, когда те уж замучены?» «Слишком дорого оценили гармонию, — заключает Иван, — не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно. И если только я честный человек, то обязан возвратить его как можно заранее. Это и делаю. Не Бога я не принимаю, Алёша, а только билет Ему почтительнейше возвращаю. — Это бунт, — тихо и потупившись проговорил Алёша...»

Да, это бунт, бунт человека против Бога, бунт бессильной человеческой личности против объективного порядка вещей. В Иване воскрес пламенный дух мировой скорби! Он отвечает Алёше: «Бунт. Я бы не хотел от тебя такого слова. Можно ли жить бунтом, а я хочу жить». Да, бунтом жить нельзя, это настроение, это миропонимание нужно как-то победить или пережить, иного выхода нет.

Кривое зеркало души Ивана, его чёрт, с пошлой насмешливостью развивает ту же идею необходимости зла в мировой дисгармонии. Он противопоставляет себя Мефистофелю, который всегда хочет зла. «Я, может быть, единственный человек во всей природе, который любит истину и хочет добра». Чёрт рассказывает, как и ему хотелось крикнуть: «Осанна!» — но «...что же бы вышло из моей — то «осанны»? Тотчас бы всё угаало на свете и не стало бы случаться никакие происшествия. И вот единственно по долгу службы и по социальному моему положению я принужден был заставить в себе хороший момент и остаться при пакостях. Честь добра кто-то берёт всю себе, а мне оставлены в удел только пакости». «Я ведь знаю, — жалуется чёрт, — тут есть секрет, но секрет мне ни за что не хотят открыть, потому что я, пожалуй, тогда, догадавшись в чём дело, рявкну «осанну», и тотчас исчезнет необходимый минус и начнётся во всём мире благоразумие... Будирую и скрепя сердце исполняю своё назначение: губить тысячи, чтобы спастись один. Сколько, например, надо было погубить душ и опозорить честных репутаций, чтобы получить одного только праведного Иова, на котором меня так зло поддели во время оно! Нет, пока не открыт секрет, для меня существуют две правды: одна тамошняя, ихняя, мне пока совсем неизвестная, а другая моя». Иван изнывает от этого издевательства чёрта над его идеями.

Вопрос, который с такой трагической силой и безумной отвагой ставит здесь Иван, вопрос о происхождении и значении зла в мире и разумности мирового порядка, — это вековой вопрос метафизики, старый как мир.

Стоит коснуться ещё одного вопроса, который тревожит сердце Ивана, а именно вопроса всемирно-исторического развития человечества. XIX век разрушил или, по крайней мере, расшатал в умах многих старые верования и старое представление о земной жизни, как приговлении к будущей, небесной. Место религии временно заняла теория прогресса. Научно доказывалось, что будущему человечеству суждено царство свободного и светлого развития, при котором в жизнь

будут воплощены радостные принципы свободы, равенства и братства. Все тяжести жизни, все формы эксплуатации и порабощения человека человеком погибнут естественной смертью, и миру явится новый, свободный, научно владеющий природой человек, человеко-бог, по выражению Достоевского.

Независимо от того, молится или не молится душа новым богам, в основе нового понимания жизни лежит всё-таки вера, которую можно охарактеризовать как веру в человеко-бога, заменившая прежнюю веру в Богочеловека. Вообще, на дне всякого мирозозерцания, настолько широкого и действенного, что оно непосредственно переходит в религию, находится вера; одной наукой нельзя построить живого и целостного мировоззрения, ибо в его создании участвует, кроме ума, находящего выражение в науке, ещё и чувства, или, иными словами, сердце.

Итак, для того чтобы жить упованием светлого и прекрасного будущего человечества, нужно верить в человечество; верить в то, что человек действительно способен быть человеко-богом, что человечество в целом действительно может подняться до небывалой ещё высоты, а не выродиться в нравственное убожество. В это нужно верить, и в это можно не верить. Следовательно, и здесь возможны сомнения, и здесь тоже мы имеем мировой вопрос. И этот вопрос поставлен, а это сомнение выражено в «Легенде о Великом Инквизиторе».

«Легенда о Великом Инквизиторе» – один из самых драгоценных перлов, созданных русской литературой и представляет собой эпизодическую вставку в романе. Хотя она и является важнейшим документом для характеристики души Ивана, но может быть выделена и рассматриваться как самостоятельное произведение. Легенда представляет собой «безбрежную фантазию», философскую поэму молодого студента, не написавшего за свою жизнь и двух стихов. Она вторично сводит Христа на землю, в самый разгар религиозных насилий и инквизиции в Испании. Чудными чертами описано появление Христа: «Он появился тихо, незаметно, и вот все – странно это – узнают его. Это могло бы быть, – прибавляет Иван, – одним из лучших мест поэмы, то есть почему именно узнают его. Народ непобедимую силой стремится к нему, окружает его, нарастает кругом него, следует за ним. Он молча проходит среди их с тихой улыбкой бесконечного сострадания. Солнце любви горит в его сердце, лучи Света, Просвещения и Силы текут из очей его и, изливаясь на людей, сотрясают их сердца ответною любовью». Это чисто русская манера художественного трактования образа Христа.

Христос совершает чудеса, исцеляет больных, воскрешает мёртвых. При этом Его видит и узнаёт Великий Инквизитор – официальный служитель Его ученья, и велит Его арестовать. Толпа расступается, и Христа уводят в темницу. А ночью, севильской душной ночью, к Христу в тюрьму приходит инквизитор, девяностолетний старец, и здесь происходит полный философского величия и священного мистицизма разговор. Впрочем, говорит всё время Великий Инквизитор; Христос говорит молча, хотя мы всё время слышим эту молчаливую ответную речь, речь любви и всепрощения. Не стоит искать исторической верности в речах Инквизитора; вскоре мы убеждаемся, что в фантастическом образе средневекового инквизитора выступает скорбная и мятущаяся душа Ивана. Инквизитор исповедует свою веру или, точнее, своё неверие в человечество, которое не может жить, по его мнению, своим умом и своей совестью. Он упрекает Христа в том, что, исходя из идеального понимания человечества и его задач, он взвалил на плечи последнего непосильную тяжесть. Евангельский рассказ об искушении Христа в пустыне и трёх соблазнах, которые представлял ему дьявол, служит символом всей исторической проблемы. «В этих трёх вопросах как бы совокуплена в одно целое и предсказана вся дальнейшая история человеческая и явлены три образа, в которых сойдутся все неразрешимые исторические противоречия человеческой природы на всей земле... «Обрати их (камни в раскалённой пустыне) в хлебы, и за Тобой побегит человечество как стадо, благодарное и послушное, хотя и вечно трепещущее, что Ты отымешь руку свою, и

прекратятся им хлебы твои. Но Ты не захотел лишить человека свободы и отверг предложение, ибо какая же свобода, рассудил Ты, если послушание куплено хлебами?» Но людям не под силу это. После тяжёлых испытаний «люди поймут наконец сами, что свобода и хлеб земной вдоволь для всякого вместе немислимы, ибо никогда, никогда, не сумеют они разделиться между собою! Убедятся тоже, что не могут быть никогда и свободными, потому что малосильны, порочны, ничтожны и бунтовщики». Так рисуется Инквизитору проблема свободной демократической организации производства, проблема, поставленная «страшным и злым духом» в вещих его искушениях. «Приняв «хлебы», Ты бы ответил на всеобщую и вековечную тоску человеческую как единоличного существа, так и целого человечества вместе – это: «перед кем преклониться?» Нет заботы непрерывнее и мучительнее для человека, как, оставшись свободным, сыскать поскорее того, перед кем преклониться».

Инквизитор упрекает Христа в том, что он отверг и второе предложение дьявола – свергнуться со скалы, сделать чудо. «Но Ты не знал, что чуть лишь человек отвергнет чудо, то тотчас отвергнет и Бога, ибо человек ищет не столько Бога, сколько чудес». Распятый Христос не захотел сойти с креста. «Ты не сошёл со креста потому, что опять – таки не захотел поработить человека чудом и жаждал свободной веры, а не чудесной. Жаждал свободной любви, а не рабских восторгов невольника перед могуществом, раз навсегда его ужаснувшим. Но и тут Ты судил о людях слишком высоко, ибо, конечно, они невольники, хотя и созданы бунтовщиками... Мы исправили подвиг Твой и основали его на *чуде, тайне и авторитете*. И люди обрадовались, что их вновь повели как стадо и что с сердец их снят, наконец, столь страшный дар, принесший им столько муки». Зноем дышит речь инквизитора.

Инквизитор третий раз упрекает Христа, что Он не захотел взять у великого духа власти, царства земного, которое он предлагал ему, отвергнул меч, надеясь только на слово свободного убеждения. Мы исправили подвиг Твой, – говорит инквизитор, – взяв меч на помощь кресту, насилие на помощь свободному убеждению, «мы не с Тобой, а с *ним*!». Немногие избранники взяли на себя управление человеческим родом, основав его на сладком обмане. «И все будут счастливы, все миллионы существ, кроме сотни тысяч управляющих ими. Ибо лишь мы, мы, хранящие тайну, только мы будем несчастны. Будут тысячи миллионов счастливых младенцев, и сто тысяч страдальцев, взявших на себя проклятие познания добра и зла».

Итак, на вопрос, способен ли человечество выйти из теперешнего униженного состояния, вместить в себя начала новой, свободной, автономной нравственной жизни, исполнить задачу, указуемую ему в будущем, Инквизитор отвечает злобным и страстным нет. Достоевский даёт как будто намёк, в каком направлении следует искать выход из отчаяния воззрений инквизитора, он даёт его в речах молчаливого собеседника – Христа. С каким неподражаемым искусством художник заставляет чувствовать присутствие этого молчаливого собеседника. «И что Ты молча и проникновенно глядишь на меня кроткими глазами своими? – раздражается вдруг Инквизитор в самом разгаре своей богохульственной речи. – Рассердись, я не хочу любви Твоей, потому что сам не люблю Тебя... То, что имею сказать Тебе, всё Тебе уже известно, я читаю это в глазах Твоих». Как не даёт покоя, лишает уверенности этот безмолвный любящий взор Спасителя! И каким дивным аккордом кончается легенда! «...Когда инквизитор умолк, то некоторое время ждёт, что Пленник его ему ответит. Ему тяжело Его молчание. Он видел, как Узник всё время слушал его проникновенно и тихо, смотря ему прямо в глаза и, видимо, не желая ничего возражать. Старику хотелось бы, чтобы Тот сказал ему что-нибудь, хотя бы и горькое, страшное. Но Он вдруг молча приближается к старику и тихо целует его в его бескровные девятнадцатилетние уста. Вот и весь ответ». Инквизитор выпускает Пленника, которого только недавно хотел сжечь. И хотя старик остаётся при прежних идеях, но «поцелуй горит на его сердце».

Инквизитор хотел съжечь Христа, не потому, что его идеи являются прямым отрицанием идей христианства, не потому, что он говорит богохульственные речи, а по самому своему существу. Основная идея христианства состоит в этической равноценности всех людей, в равенстве всех перед Богом. Речь идёт не о мнимом равенстве людей, которые по своим естественным данным различаются и не могут быть равны между собой, а о признании в каждом человеке полноправной нравственной личности, имеющей известные права и, следовательно, и известные обязанности. Христианская идея этической равноценности требует для своего осуществления устранения таких внешних препятствий, которые этому равенству противоречат; она требует устранения таких форм жизни, в которых человек человеку является средством, а не целью, устранения форм эксплуатации человека человеком. Вот почему Великий Инквизитор, отрицая демократию и свободу во имя порабощения личности, является «с *ним*, а не с Тобою», является антихристом. Он отрицает основной завет Христа о равном достоинстве всех людей как нравственных личностей и о любви к этим людям как к носителям одного и того же божественного начала. «Инквизитор твой не верует в Бога, вот и весь его секрет!» – говорит Алёша, и Иван это вполне подтверждает. Достоевский хочет указать на несостоятельность атеистического учения о равенстве, на его противоестественность. Люди равны в Боге, но не равны в природе, и это естественное неравенство побеждает этическую идею их равенства там, где эта идея лишена религиозной санкции. И история свидетельствует о постоянном поругании этой идеи, об упорной, хронической греховности людей, оказывающих насилие друг над другом. Это насилие и возводит в идеал Великий Инквизитор, чуждый христианской любви, которую хочет зажечь в его сердце поцелуй Христа. Инквизитор делит людей на две расы, на две различных породы, между которыми открывается пропасть; таким образом устанавливаются две нравственности – мораль господ и мораль рабов. Идея Инквизитора – отрицание этического равенства людей, признание различной морали: только относительно равны себе существующие обязанности, относительно существ низшего порядка можно действовать по усмотрению.

В том и состоит гениальная прозорливость Достоевского, прозревшего одну из самых характерных нравственных болезней человечества. Образ «сверхчеловека» упорно тревожил его творческое воображение: в двух своих величайших созданиях – «Преступление и наказание» (Раскольников) и «Братья Карамазовы», – не говоря уже о второстепенных, возвращается он к этому образу.

По С. Булгакову

Алёша Карамазов

Алёша Карамазов был мальчик нервный, кроткий, любящий по природе. Он отчасти напоминает князя Мышкина, героя романа Достоевского «Идиот» с той, однако, разницей, что Алёша здоров, не проявляет никаких ненормальностей и действует весьма последовательно. Все его любят, все с ним дружат, а достигается это самыми простыми средствами: Алёша всегда откровенен, правдив, уступчив, сострадателен, любвеобилен. «В нём была исступлённая стыдливость и целомудренность». Достоевский недаром сказал: «исступлённая»; тут несомненно сказались Карамазовская чрезмерность. Алёша никогда не заболит относительно материальных средств. По объяснению автора, он был «из таких юношей вроде как бы юродивых, которому попади вдруг хотя бы даже целый капитал, то он не затруднится отдать его, по первому даже спросу... он как бы вовсе не знал цены деньгам».

Бросив гимназию для того, чтобы побывать на могиле матери, Алёша сблизился со старцем Зосимом. Увлечённый его жизнью и речами, Алёша решил поступить в монастырь. Достоевский заключает, что если бы Алёша не встретил Зосимы и не уверовал в него, то пошёл бы точно так же в атеисты или в социалисты, так как принадлежал к разряду тех людей, которые, услышав слова: «Раздай всё и иди за

Мной», – не могут ограничиться тем, что будут ходить к обедне или подавать нищим копейки. Достоевский упрекает Алёшу и подобных ему в торопливости. Жизнью пожертвовать не так трудно, как это кажется: наоборот, таким юношам бывает гораздо труднее принять на себя более долгий и, по-видимому, более лёгкий подвиг, например, лишних пять-шесть лет поучиться, чтобы потом служить той же правде с удесятёрёнными силами. Но этот даже маленький подвиг им труднее, чем жертвование жизнью и именно потому, что они ищут подвига «скорого».

Жизнь Алёши протекает без всяких коллизий, за исключением краткого смущения, которое Алёша испытывает после смерти старца Зосимы, когда от этого святого старца пошёл «тлетворный дух». Алёше показалось, что в этом «поспешном тлении, предупредившем естество», нарушена высшая справедливость. На его сердце налетела буря сомнений. «Я в Бога – то вот, может быть, и не верую», – говорит он Ракитину. Но эта минута быстро рассеялась, и после одного вещего сна в монастырском саду Алёша пал на землю со слезами восторга. Он почуял в душе своей близость Бога и соприкосновение своё с миром иным.

Личность Алёши, нужно заметить, очерчена крайне бледно. Чтобы убедить читателей в возможности существования такого нравственного и религиозного лица, автору следовало показать весь процесс его развития. Но этого не сделано, а потому благочестие Алёши нужно объяснять врожденностью. Нельзя, конечно, думать, что благочестие могло передаваться от Фёдора Павловича, этого «нераскаянного» грешника. Остаётся приписать это наследство матери. Намёк на это есть в романе: описывается, что в душе Алёши глубоко запечатлелось воспоминание из самого раннего детства о том, как мать его с молитвой и слезами судорожно сжимала его в своих объятиях и потом подносила его к образу Богородицы. Но этим одним обстоятельством трудно объяснить религиозность Алёши. По мысли автора, Алёша – новый человек, он герой будущего романа. Что это за человек, сказать пока трудно: он ещё в тумане. Нужно пожалеть о том, что преждевременная смерть Достоевского прервала его замысел очертить во весь рост симпатичную фигуру Алёши.

По И. Глебову

В противоположность непосредственности Дмитрия, Алексей Карамазов, как и Иван, представляется человеком с большими теоретическими обоснованиями своего мировоззрения. Он близок сердцу автора, «ранний человеколюбец», и с первых страниц Достоевский сообщает, что Алёша на иной взгляд будет «чудаком», но, пожалуй, в нём – то и находится «сердцевина целого», а остальные его сверстники от этой сердцевины обособлены. Нельзя назвать Алёшу и не развитым человеком, мистиком и проч. Алёша, может быть, более реалист, чем кто-нибудь.

Он, прежде всего, – Карамазов и в качестве такового враг всего половинчатого. «Хочу жить для бессмертия», – сказал он себе, – а половинного компромисса не принимаю». В этой карамазовской натуре осталось нечто и от матери Алёши: запомнились ему поездки на богомолье и косые лучи заходящего солнца перед образом, и с детства рвалась из мрака мирской злобы к свету любви душа его. Был он юноша «честный по природе своей, требующий правды, ищущий её и верующий в неё, а, уверовав, требующий немедленного участия в ней всею силою души своей, требующей скорого подвига, с неперменным желанием хотя бы всем пожертвовать для этого подвига, даже жизнью». Непрерывным подвигом представлялся для Алёши идеал его жизни. Встреча с Зосимой была для него откровением, и он, явившись в монастырь с вопросом скептика, остался там послушником.

Алёша знает и понимает карамазовщину, он любит всю свою семью, и его любят. Любит своего «тихого мальчика» сам старик Карамазов, издевающийся над монахами и над церковными верованиями. «С тобой только одним бывали у меня добренькие минуты, а то ведь я злой человек», – так признается Алёше

старик. И чтобы дать отцу такие «добренские» минуты, чтобы слышать эти признания, Алёша, «до исступления стыдливый», выслушивает бесстыдные речи Фёдора Павловича, «умирает, чтобы принести много плода».

Наедине с Алёшей переживает такие же чистые, хотя минутные настроения брат Дмитрий. Этот «хам в офицерском чине, который пьёт коньяк и развратничает» (его собственные слова), для Алёши раскрывает тайники души своей, где «дьявол с Богом борется».

Только Алёша должен узнать, потому что он один только может поверить, что в самые бешеные минуты позорного разврата, «летя в бездну, головой вниз и вверх пятками», Дмитрий Карамазов мучится мыслью об унижении человека и, «идя вслед за чёртом», любит Господа. Тяготит Дмитрия эта «широта» его карамазовская, это одновременное увлечение позором и красотой. «Сузил бы я человека», – говорит он.

Слушает Алёша, краснеет при мысли, что и в нём не вовсе изгнан дьявол карамазовщины, и признаётся в этом брату, и признанием своим приводит его в умиление. За эту всегда «цельную правду» любит Дмитрий Алёшу, и в печали невинного осуждения своего с Алёшей делится мечтами о своём будущем возрождении.

Иван Карамазов тоже не может обойтись без откровенного признания Алёше. «Братишка ты мой, не тебя я хочу развратить и сдвинуть с твоего устоя, я, может быть, себя хотел бы исцелить тобою» – и, говоря это, Иван улыбается невиданной у него улыбкой «маленького кроткого мальчика».

Алёша всем нужен, и для всех он «Алёша». К нему идут и с горем, и с радостью, и с обидой, и с весельем. Он умеет утешить, помочь, не оскорбляя, не принижая человека. На Алёшу смотрят, как «на совесть свою», люди вроде Грушеньки, глубоко улавливающие «бездну», о которой говорил Дмитрий. Была у Грушеньки такая «подлая мысль, что хотела проглотить» она Алёшу и к себе даже его завела с помощью Ракитина, но «совесть» победила. «Я шёл сюда злую душу найти, – говорит Алёша, – а нашёл сестру искреннюю, нашёл сокровище – душу любящую...» Грушенька же говорит Ракитину: «Не знаю я, не ведаю, ничего не ведаю, что он мне такое сказал, сердцу сказало, сердце он мне перевернул... Пожалел он меня первый, единый, вот что! Зачем ты, херувим, не приходил прежде, – упала вдруг она пред ним на колени, как бы в исступлении. – Я всю жизнь такого, как ты, ждала, знала, что кто-то такой придёт и меня простит. Верила, что и меня кто-то полюбит, гадкую, не за один только срам!...»

Дорого досталась Алёше победа над Грушенькой, но зато привела его в какой-то экстаз. С «переполненной» душой вошёл он в келью только что умершего Зосимы, где уже читали над гробом Евангелие. Хорошо знакомый рассказ о браке в Кане Галилейской, рассказ о первом выступлении Христа, получил новый знаменательный смысл для Алёши, только что совершившего великое претворение «подлой», «хитрой» души Грушеньки. Ему слышится голос Зосимы, его что-то влечёт на простор. «Полная восторгом душа его жаждала свободы, места, широты». Ему хочется видеть ночное небо, усеянное звездами, хочется упасть на землю, обнять её, целовать. «Как будто нити от всех этих бесчисленных миров Божиих сошлись разом в душе его, и она вся трепетала, соприкасаясь с миром иным. Простить хотелось ему всех и за всё и просить прощения, о! не себе, а за всех, за всё и за вся, а «за меня и другие просят», – прозвенело опять в душе его. Но с каждым мгновением он чувствовал явно и как бы осязательно, как что-то твёрдое и незыблемое, как этот свод небесный, сходило в душу его... Пал он на землю слабым юношей, а встал твёрдым на всю жизнь бойцом...» Через три дня Алёша вышел из монастыря.

Проникая в мрачные тайники души, Ивана или Грушеньки, освещая и очищая их, Алёша с тем же ключом любви, внимания и прощения, проникает в детскую душу. Он верен заветам Зосимы: деток особенно любите. Он не может исцелить телесно, но излечивает душевно бедного Илюшу, которого «пришибла правда» грубой действительности. Исстрадавшийся, озлобленный за отца своего, жестоко

оскорблённого Дмитрием Карамазовым, Илюша с ненавистью относится ко всем Карамазовым – Алёша, однако, покоряет его.

Сближение Алёши со всеми школьными товарищами Илюши описано у Достоевского с глубоким знанием детской души и глубокой любовью к детям. Среди молодых друзей Алёши выделяется Коля, ранний сухой рационализм которого поддается воздействию Алёши не легче, чем ранняя страстная ненависть Илюши. Алёша видит в Коле как бы продолжателя дела своего и говорит ему о его будущем то же, что ему самому сказал Зосима: он будет несчастен, но в целом благословит жизнь.

Коля тоже высказывает свои душевные мысли почти теми же словами, как и Алёша: О, если бы я мог хоть когда-нибудь принести себя в жертву за правду... я желал бы умереть за всё человечество...»

Это и есть – испытать несчастья и в целом благословить жизнь, умереть и принести плод.

Роман заканчивается бодрящей речью Алёши, являющейся как бы заветом самого автора: «Будем все великодушны и смелы. Ах, деточки, ах, милые друзья, не бойтесь жизни! Как хороша жизнь, когда что-нибудь сделаешь хорошее и правдивое!»

По В. Максиму, С. Золотарёву

В большой толпе среди разнохарактерных лиц всегда можно заметить какого-нибудь юношу, который, стоя вместе с другими, тихо смотрит вперед кротким, мечтательным взглядом. В толпе есть фигуры, напоминающие чем-нибудь Фёдора Павловича Карамазова, есть фигуры с чертами Дмитрия и Ивана. Все это живые, страдающие лица, причастные так или иначе к тому, что делается в обществе, ибо эти люди – типичнейшие представители этого общества. Алёша – это не сама действительная жизнь, которая создала уже видимые слои свои, а, так сказать, мечта этой жизни, её будущее. Если представить себе на минуту, что неземной ангел захотел бы принять человеческий облик, то он предстал бы перед людьми в образе Алёши. Настоящим херувимом ходит он от одного к другому: от Дмитрия к отцу, от отца к Катерине Ивановне, от Катерины Ивановны к Грушеньке, зная все закоулки города, легко перелезая через плетни, повсюду разнося целительный бальзам. Его постоянное жилище, откуда он вышел и куда он в конце концов вернётся – белый подгородный монастырь, где обитает настоящая мудрость. К чему бы он ни прикоснулся, на всём он оставляет след своей душевной чистоты, своей нежной, юной правды.

Все любят Алёшу, но любят его особенно, не по-земному, «по-иному», своим глубоким, духовным элементом. В ком есть душа, тот любит его глубинами души. Во всём карамазовском царстве один только Смердяков не любит Алёши. Для Грушеньки он «молодой месяц», восходящий среди её темной ночи. Какое-то «княжеское» достоинство она улавливает в нём, потому что его нельзя ни с кем смешать, хотя сам он ласково смешивается со всеми. Таким именно молодым месяцем он остаётся в воображении, когда читаешь роман. Каждое его появление приносит с собой какой-то тихий, прохладный свет, какое-то мягкое веяние. Дмитрий любит Алёшу «по-настоящему»: своим бурным страстям, мятежной любви и ненависти он противопоставляет своё чувство к Алёше. Для него он – «высший человек», «ангел», «херувим». Иван, который не ценит ничьих на свете мнений, кроме своего, внимательно прислушивается к словам Алёши. Для него «высоко» мнение этого маленького, кроткого мальчика. Он хотел бы «исцелить себя» Алёшею. Он, который всего мира не принимает, принимает этого «голубя», этого «чистого херувима». Фёдор Павлович души в нём не чаёт: «Милый Алексейчик ты мой, Алексейчик!» – говорит он ему. Он всех на свете боится, одного только Алёши не боится.

Все любят Алёшу духом, и сам он является каким-то духом в притягательно красивой, но не обольстительной форме. Всё в нём пропорционально и тихо. Он среднего роста, здоровый, краснощёкий, тёмно-русый. У него правильный, несколько удлинённый овал лица, широко расставленные, тёмно-серые блестящие глаза со свет-

лым взором. При общем оживлении лицо его не теряет духовной тихости. Он тихо смотрит в самую душу, хотя блеск его пристального взгляда кажется улыбкой. «Не могу я видеть, как он этак смотрит в глаза и смеётся, не могу. Утроба у меня вся начинает на него смеяться, люблю его!» – говорит о нём Фёдор Павлович Ивану. Чистой искренности чувствуется в его «сияющем» взгляде. «Не глядите мне слезком прямо в глаза», – пишет ему Лиза. Его тихий взгляд, продолговатый овал его лица, оживлённость выражения – всё это сливается в какой-то иконописный образ старого письма, образ, в котором нет ничего вызывающего, ничего резко индивидуального, ничего раздражающего. Если Алёша и является цельной личностью, то всё-таки это личность чисто фантастическая, выписанная у Достоевского не столько художественными, сколько мечтательно-поэтическими красками. Такие образы встречаются в искусстве религиозных живописцев, например, в ярком письме Васнецова с его византийскими основами. Алёша – благоденствующий ангел, миссионер высшей правды, а не тот обыкновенный деятель жизни, который входит в неё собственными страстями и сам вызывает страсти. Как бы глубоко его ни любили, никто не полюбит его тем мучительно-острым чувством, которое называется страстью, страстной любовью. Среди ярких и пёстрых картин общей карамазовской истории в романе есть один эпизод – отношения Алёши с Лизой Хохлаковой, крайне характерный именно в этом смысле. Алёша любит Лизу, и Лиза любит Алёшу, но спрашивается: как любят друг друга эти два молодых существа? Эпизод этот стоит самого внимательного обследования.

Лиза Хохлакова – больная девочка с прелестным личиком, худенькая, но весёлая. «Что-то шаловливое светилось в её темных больших глазах с длинными ресницами». Она была знакома с Алёшей ещё в раннем детстве, и вот они теперь встретились после некоторого перерыва у старца Зосимы. Алёша краснеет, не выдерживает её упорного и задорного взгляда. Проницательный Зосима догадывается, что между ними что-то завязывается – сердечное, тёплое. «Экой, экой вы прекрасный! Ведь я всегда думала, что вы прекрасный», – говорит она ему. Уже в первых словах её чувствуется, что эта девочка находится по отношению к Алёше на той черте, за которой начинается либо большая дружба, либо большая любовь. Всё зависит от того, к чему направит её чувства он сам. Если в нём окажется нечто ярко личное, цепляющее другую личность, между ним и ею выйдет любовь. Но видно, что художник намечает со стороны Лизы только дружескую перспективу. Все её кокетство, весь её задор показывают, что Лиза находится в том периоде, когда женское сердце ищет любви. Алёша, однако, чистый, ровный, не даёт ей тех впечатлений – противоречивых и потому волнующих, которые перерабатываются в любовь. «Мы вечные друзья, вечные, вечные!» – восклицает она. «Он теперь спасается! Вы что на него эту длиннополую-то ряску надели... Побежит, упадёт...» В своей длиннополой ряске краснощёкий Алёша кажется ей чуть-чуть смешным, а комизм, в особенности тонкий, едва уловимый, внешний, жизненный комизм, граничащий с чем-то возвышенным, мешает любви. В Алёше нет тех ядовитых элементов, той силы, которая вызывает страсть. Чего бы Лиза ни говорила Алёше, для читателя должно быть ясно, что в общении с ним у неё впервые раскрывается и развёртывается чисто духовная сторона её существа. Этот «бесёнок» имеет в себе уже раздвоение, которое сделает её жизнь трагедией: она земная и тянется к ярким земным впечатлениям, хотя в ней есть что-то высокое, и это высокое получает своё удовлетворение в дружбе с Алёшей. «Милый Алёша, – пишет она ему, – я вас люблю, люблю ещё с детства, с Москвы, когда вы были совсем не такой, как теперь, и люблю на всю жизнь. Я вас избрала сердцем моим, чтобы с вами соединиться, а в старости вместе кончить нашу жизнь». Как далеко заглядывает своими тёмными глазками эта девочка! Она уже планирует своё отдалённое будущее и не торопится к нему, готовая ждать столько, сколько «приказано законом». Но она ни к чему не рвётся в настоящем – именно по отношению к Алёше. Алёша тихо и сладко улыбается, читая её письмо и, отходя ко

сну, прячет его в конвертик и осеняет себя крестом. Ему самому кажется, что в жизни ему улыбается счастье. А между тем, его ждёт на этом пути скорое разочарование. Бесёнку нужно что-то другое, иная жизнь, иные волнения. В новой беседе окончательно намечается дружеский тип отношений Лизы к Алёше. Он для неё «мальчик, самый маленький мальчик, какой только может быть». Алёша фантазирует относительно брака с ней, но фантазирует тоже бесстрастно, пока бесстрастно: лучшей жены ему не найти для себя, – говорит он, – а старец «велел» ему жениться. «Ну, не маленький ли, не маленький ли он сам мальчик!», – восклицает Лиза ещё раз, – «и можно ли ему, мама, после этого жениться, потому что он, вообразите себе, он хочет жениться, мама. Представьте себе, что он женат. Ну, не смех ли, не ужасно ли это?» Лиза смеётся при этом «нервным, мелким смешком, лукаво смотря на Алёшу». Алёша в роли мужа смешон ей. Конечно, это не то настроение, из которого родится страсть, из которого родится любовь, основанная на страсти. С каждой новой встречей уважение Лизы к Алёше растёт, становится чем-то большим, но всё более и более заглушает задатки любви. Она удивляется ему за его пронципальность, за то, что он, такой молодой, уже знает, что делается в душе человеческой. Однажды Алёша поцеловал её «в самые губки», но Лиза, молоденькая, шаловливая и горячая Лиза, тут же решает, что с поцелуями можно «подождать». «Такой умный», «такой мыслящий», «такой замечательный», Алёша готов взять её в жёны! Её радует это, но в этой радости слишком много логики, хотя и молодой, и слишком мало волнений, в которых чувствуется живая кровь. Алёша продолжает фантазировать на эту тему, но тут же – с какой-то горячностью ума – очерчивает пределы своих уступок в любви. Если Лиза не будет согласна с ним в том, что составляет его убеждение, он поступит так, как велит ему «долг». Лиза не возражает и даже даёт ему клятву держать себя относительно него с полным благородством. «Мы будем счастливы!» – восклицает она. Но уже видно, что это счастье никогда не наступит для них, потому что мечты её, связанные с Алёшей, как бы не касаются её непосредственной, внутренней жизни, влечений её природы. Другое существо, другой человек уже поразил её, приковал её внимание. Умиление, которое возбуждает в ней Алёша, не может потушить в ней того пламени, которое уже разгорается в ней, хочет разгореться ярко, и для которого даёт подходящую пищу этот другой человек. Если поставить Алёшу рядом с братом его Иваном и спросить себя, кому из этих двух юношей должно отдать предпочтение женское сердце, то невольно скажешь себе, что в таком состязании Алёша должен проиграть. Он прекрасен, как мечта, а потому самая любовь к нему принимает какой-то неземной характер. Иван, напротив, со своей сложностью, загадочностью, со своими внутренними противоречиями, в которых постоянно сверкает огонь, невольно овладевает сердцем глубокой женской природы. Он может вызывать и ненависть, но в самой этой ненависти будут уже черты любви. Лиза уже заметила Ивана, уже восприняла от него впечатление той презрительности, той исключительной оригинальности, которые задавают и дурманят воображение и женское сердце. «Я вашего брата, Ивана Фёдоровича, не люблю», – говорит она вдруг Алёше. Но в этом неожиданном признании чуткий Алёша улавливает что-то новое для себя. Она не любит Ивана – это значит, что она уже чувствует над собой его власть, что ей жутко от него, что она близка к страсти. Она будет поклоняться Алёше до конца своей жизни, но господином её души мог бы сделаться только Иван.

Наконец, последнее свидание Алёши с Лизой. Она страшно изменилась за последние три дня, похудела, во всем её существе, рядом с прежним простодушием, чувствуется озлобление. Какие-то демонские огоньки сверкают в её словах. Теперь она уже не хочет быть счастливой, не хочет быть «святой». В ней проснулась потребность «раздавить что-нибудь хорошее». Она вдруг постигла, что люди любят преступление. «Я первая люблю», – говорит она. Ей мерещится распятый ребёнок, ещё не умерший, ещё стонущий, а она сидит против него и ест «ананасный компот». Она почуяла в себе две бездны, в которые она поочерёдно заглядывает. Лиза с раздражением, с нервным

возбуждением выливает все эти признания, которые наводят Алёшу на какие-то новые мысли о ней. Он слушает её, пристально вглядываясь в её лицо. Для него ясно, что кто-то вошёл в её душу с новыми влияниями и открыл в ней то, что ещё не успело открыться собственными силами. У неё был по её приглашению Иван. Лиза говорит почти его словами, переработав его идеи своим болезненным воображением. Она ему всё рассказала про «ананасный компот», и он её одобрил. Вот что случилось за эти последние дни. Что-то мучительное, терзающее вошло в неё, что-то такое, что она сама, иными сторонами своей души презирает, но что естественно связалось у неё с образом Ивана, который и презирает, и принимает всё это, ибо и в нём уживаются две противоположные бездны. «Когда он вышел и засмеялся, – говорит Лиза, – я почувствовала, что в презрении быть хорошо. И мальчик с отрезанными пальчиками – хорошо, и в презрении быть хорошо». Говоря это, она «злобно» и «воспалённо» смеётся Алёше в глаза. Уже не может быть никакого сомнения, что Иван становится господином её души, что в ней собираются элементы, из которых вырабатывается страсть. Алёшу она любит, но любит теми глубинами души, которые почти не участвуют в жизни, хотя и дают человеку соприкосновение с иными мирами. За ним она могла бы пойти окончательно только в том случае, если бы «звёздная тайна» жизни, то есть то, что есть в жизни истинно божеского, мечтательно высокого и разрешающего земные сложности, составляло в настоящее время суть её интересов. Но именно теперь она самой сильной стороной своей природы влечётся к Ивану. Алёша не господствует над ней. «Вы в мужья не годитесь, – говорит она, – я за вас выйду, и вдруг дам записку, чтобы снести тому, которого полюблю после вас. Вы возьмёте и непременно отнесёте, да ещё ответ принесёте». Эта нравственная самоотверженность, которая не стесняет ничьей свободы, которая даже помогает в ущерб себе чужой воле, является плохой почвой для любви. Тут нужны камни преткновения, борьба гордостей и самолюбий, низкое чувство собственности одного над другим – что-то хищное, что-то злое, минуты даже подлое, потому что демон страсти сидит в личных притязаниях человека. Этого-то демона в Алёше и нет. Прощаясь с ним, Лиза «кистулленно, вся сотрясаясь», приказывает ему передать – таки Ивану «маленькое письмецо, твёрдо сложенное и запечатанное». Лиза сознаёт свой внутренний разлад, знает, что прогоняет от себя ангела и идёт навстречу чёрту и, чтобы залить это создаваемое раздвоение новыми ощущениями, дочерна ущемляет дверь своей пальчик. Это решительный поворот Лизы в сторону Ивана, который тоже заметил и оценил её. Она уже «предлагается», – говорит он Алёше, грубо преувеличивая смысл её записки. «Мне нравится Лиза» – замечает он как-то невольно, ещё в бреду, сразу после кошмара.

Достоевский написал своего Алёшу, как уже сказано, мечтательно-поэтическими, а не художественными красками. Хотя иной раз, при чтении романа, кажется, что это совсем живой человек, но это происходит от того, что в нём с удивительной ясностью захвачена идеальная сторона знакомой народной русской стихии. Алёша не фанатик, не мистик, а «ранний человеколюбец». Достаточно этого краткого определения при типичных внешних чертах, чтобы перед глазами встал русский юноша. Какие бы отдалённые и предвечные вопросы не решал такой человек, он всю свою молодую логику и всю свою деятельную любовь направит на земные дела и интересы. Даже отвлечённые идеи о Боге и бессмертии в рассуждениях таких юношей, как Алёша, перечеканиваются в яркие, образные представления, которые вызывают к делам.

Но чтобы приобщить Алёшу к карамазовскому корню и придать этому образу реальность, Достоевский намечает в его натуре некоторые карамазовские черты. С раннего детства Алёша несёт в себе живую память о своей матери и подвержен припадкам, напоминающим её кликушеские припадки. Выросши, он стал понимать карамазовскую страсть и карамазовское сладострастие. Он считает самого себя стоящим на «нижней ступеньке» этой лестницы. «Я до многого, до многого прикоснулся, – говорит он Лизе. – Ах, вы не знаете, ведь и я Карамазов». Эти слова Алёши

кажутся правдоподобными, потому что невольно видишь его в свете карамазовского царства, но во всём романе нет ни одного эпизода, который художественно оправдал бы эти его слова. Затем, в беседе с Лизой, он признаётся, что понимает демонскую злобу на людей и их преступную волю, но опять – таки в словах этих не чувствуется ни малейшего оттенка личной психологии. Намёк не развернут, потому что при реальных внешних чертах, Алёша остаётся на протяжении всего романа какой – то психологической фантазией, какой – то надеждой художника на появление людей с новым, цельным строем души – уже без разладов, демонских исступлений, даже без внутренней борьбы. Эта великая надежда великого художника не только не оскорбляет в читателе чувства реального, но как бы окрыляет и очищает его. В одном месте ранний человеколюбец Алёша как бы колеблется в самых святых для него религиозных верованиях. «Я в Бога – то вот, может быть, и не верую», – говорит он. Случилось «суетное» и «соблазнительное» событие: тело умершего Зосимы стало издавать тотчас же после его смерти «тлетворный дух». Алёше показалось, что в этом «посешном тлении, предупредившем естество», нарушена «высшая справедливость». На его сердце налетела какая – то буря. Но он, который всегда говорил, что бессмертия и Бог существуют, что «в Боге и бессмертие», что он хочет жить для бессмертия, не мог, конечно, поддаться этой буре окончательно. Туча быстро рассеялась на его чистом небе. Разве он может долго сомневаться! Он весь религиозен, весь опьянён тем «новым вином», которое даёт «новую, великую радость».

В этом духовном опьянении Алёша произносит прощальную речь толпе мальчиков. Вокруг него – Красоткин, Карташов, Смуров и другие дети, похожие все вместе на стаю голосистых птиц. Он является среди них каким – то русским Франциском Ассизским, который проповедовал птицам. Дети слушают его с умилением, с радостными лицами, со слезами на глазах. А он говорит и говорит. И опять – таки не метафизические идеи проповедует он им, а «прекрасное святое воспоминание» о чудесном мальчике Илюше. Одного такого воспоминания достаточно, чтобы между ними навеки сохранился духовный союз. Именно так должен говорить чисто русский Алёша. «Ура Карамазову!» – кричит Красоткин, и все дети подхватывают этот возглас. На границе карамазовского царства, в последний раз оглядываясь назад и улавливая сверкающие над ним звёзды, невольно присоединяешь своё внутреннее ура к вдохновенному восклицанию Красоткина.

По А. Волынскому

Утверждая фактическую жизненность карамазовщины и в то же время её нравственную несостоятельность, Достоевский в своём знаменитом романе даёт и положительное решение вопроса о смысле жизни, выдвигая носителем этого смысла Алёшу Карамазова и старца Зосиму.

Как же можно представить себе Алёшу Карамазова?

Двадцатилетний юноша, статный, краснощёкий, со светлым взором, пышущий здоровьем, красивый, стройный, средневысокого роста, тёмно – русый, с правильным, хотя несколько удлинённым овалом лица, с блестящими тёмно – серыми широко расставленными глазами, весьма задумчивый и, по – видимому, весьма спокойный – таков Алёша внешне.

Мы отмечаем эти черты по тем же побуждениям, по каким они внесены в роман, то есть чтобы Алёшу – монастырского послушника не представляли себе болезненной, бедно развитой натурой, бледным мечтателем, чахлам человеком. Он ушёл из мира на монастырскую дорогу, «потому только, что в то время она одна поразила его и представила ему, так сказать, идеал исхода рвавшейся из мрака мирской злобы к свету любви души его». Впечатления семьи, наблюдения жизни усиливали его решимость.

Оставшись без матери «всего лишь по четвертому году, он запомнил её потом на всю жизнь, её лицо, её ласки», «точно как будто она стоит предо мной живая». Осо –

бенно запомнил он один вечер: «в комнате в углу образ, пред ним зажжённую лампадку, а пред образом на коленях рыдающую как в истерике, со взвизгиваниями и вскрикиваниями, мать свою, схватившую его в обе руки, обнявшую его крепко до боли и молящую за него Богородицу, протягивающую его из объятий своих обеими руками к образу как бы под покров Богородице...» – тёплой Заступнице от холодного мира.

«В детстве и юности он был мало экспансивен и даже мало разговорчив, но не от недоверия, не от робости или угрюмой нелюдимости, вовсе даже напротив, а от чего-то другого, от какой-то как бы внутренней заботы, собственно личной, до других не касавшейся, но столь для него важной, что он из-за неё как бы забывал других. Но людей он любил: он, казалось, всю жизнь жил, совершенно веря в людей, а между тем никто и никогда не считал его ни простячком, ни наивным человеком. Что-то было в нём, что говорило и внушало (да и всю жизнь потом), что он не хочет быть судьёй людей, что он не захочет взять на себя осуждения и ни за что не осудит. Казалось даже, что он всё допускал, нисколько не осуждая, хотя часто очень горько грустя. Мало того, в этом смысле он до того дошёл, что его никто не мог ни удивить, ни испугать, и это даже в самой ранней своей молодости». Это был чистый, искренний, сострадательный, глубоко религиозный юноша, сердечный, целомудренный и стыдливый; «все этого юношу любили, где бы он ни появился, и это с самых детских даже лет его». «Дар возбуждать к себе особенную любовь он заключал в себе, так сказать, в самой природе, безыскусственно и непосредственно».

В школе он был задумчив и как бы отъединялся от товарищей; «он с самого детства любил уходить в угол и книжки читать». «Казалось бы, он именно был из таких детей, которые возбуждают к себе недоверие товарищей, иногда насмешки, а, пожалуй, и ненависть... однако же, и товарищи его до того полюбили, что решительно можно было называть его всеобщим любимцем во всё время пребывания его в школе. Он редко бывал резв, даже редко весел, но все, взглянув на него, тотчас видели, что это вовсе не от какой-нибудь в нём угрюмости, что, напротив, он ровен и ясен. Между сверстниками он никогда не хотел выставляться. Может, по этому самому он никогда и никого не боялся, а между тем мальчишки тотчас поняли, что он вовсе не гордится своим бесстрашием, а смотрит как будто и не понимает, что он смел и бесстрашен. Обиды никогда не помнил. Случалось, что через час после обиды он отвечал обидчику или сам с ним заговаривал с таким доверчивым и ясным видом, как будто ничего и не было между ними вовсе. И не то чтоб он при этом имел вид, что случайно забыл или намеренно простил обиду, а просто не считал её за обиду, и это решительно пленяло и покоряло детей». В классе по успеваемости он всегда был одним из лучших, «но никогда не был отмечен первым».

«Была в нём одна лишь черта, которая... возбуждала в его товарищах постоянное желание подтрунить над ним, но не из злобной насмешки, а потому, что это было им весело. Черта эта... исступлённая стыдливость и целомудренность. Он не мог слышать известных слов и известных разговоров про женщин».

Ещё одной его характерной чертой была та, «что он никогда не заботился, на чьи средства живёт... Но эту странную черту в характере Алексея, кажется, нельзя было осудить очень строго, потому что всякий чуть-чуть лишь узнавший его тотчас, при возникшем на этот счёт вопросе, становился уверен, что Алексей непременно из таких юношей... которому попади вдруг хотя бы даже целый капитал, то он не затруднится отдать его, по первому даже спросу... Да и вообще говоря, он как бы вовсе не знал цены деньгам, разумеется не в буквальном смысле говоря. Когда ему выдавали карманные деньги, которых он сам никогда не просил, то он или по целым неделям не знал, что с ними делать, или ужасно их не берёт, мигом они у него исчезали». По выражению одного из действующих лиц романа, Алёша Карамазов – «может быть, единственный человек в мире, которого оставьте вы вдруг одного и без денег на площади незнакомого в миллион жителей города, и он ни за что не погибнет и не умрёт с голоду и холоду, потому что его мигом накормят, мигом пристроят, а если не пристроят, то он сам мигом

пристроится, и это не будет стоить ему никаких усилий и никакого унижения, а пристроившемуся никакой тягости, а может быть, напротив, почтут за удовольствие».

Так относились к нему люди. Этот двадцатилетний член семьи Карамазовых, так сказать, яблочко от карамазовской яблони, является духовным центром для всех, знающих его людей, носителем Божьего Духа в адском хаосе жизни Карамазовых; юноша-учитель, любовью пробуждающий светлые задатки человеческой души. Гордый и безверный Иван Карамазов, изнемогая в своём демоническом одиночестве, мучаясь в своём духовном борении добра и зла, именно Алёше пове-ряет свои сомнения; его – юношу, гимназиста – делает своим духовным старцем, доверяя свою великую философскую исповедь. А, кончая эту исповедь, Иван с резким для него сердечным порывом признаётся, что именно в Алёше сосредото-чился для него скрытый и желаемый жизненный смысл. «Вот что, Алёша, – прого-ворил Иван твёрдым голосом, – если в самом деле хватит меня на клейкие листочки, то любить их буду, лишь тебя вспоминая. Довольно мне того, что ты тут где-то есть, и жить ещё не расхочу. Довольно этого тебе? Если хочешь, прими хоть за объяснение в любви... Я тебе... одно обещание дам: когда к тридцати годам я захочу «бросить кубок об пол», то, где б ты ни был, я таки приду ещё раз переговорить с тобой... хотя бы даже из Америки, это ты знай. Нарочно приеду. Очень интересно будет и на тебя взглянуть к тому времени: каков-то ты тогда будешь?» Очевидно, что Алёша привле-кательен для Ивана – скептика, позитивиста и искателя жизненного смысла, не только своей сердечностью и душевной чуткостью, но и несомненной определённо-стью основ жизни, ясностью цели, которых как раз недостает Ивану.

Ему, Алёше Карамазову, поверяет свою «исповедь горячего сердца» и Дмитрий Фёдорович, допуская его в тайники своей души, в муки и страдания своего сердца, признаваясь, что «по-настоящему... любит только одного Алёшу», и называя его при этом «земным ангелом». Наблюдая за страданиями своих братьев, оберегая их от жизненной и душевной катастрофы, Алёша никогда не повторит слова Ивана: «Сто-рож я, что ли, моему брату?» Он говорит им слова утешения, облегчает их душевную муку, верит в добро их души и смотрит на это, как на Божью заповедь.

Даже ужасный Фёдор Павлович, и тот при всех своих отрицаниях попадает под тепло Алёшиной любви к людям, испытывая на своей тёмной натуре благотворное влияние ангельского света своего младшего сына. Явившись в вертеп грязного разврата – в дом своего отца, Алёша Карамазов, «целомудренный и чистый, лишь молча удалялся, когда глядеть было нестерпимо, но без малейшего вида презрения или осуждения кому бы то ни было». Отец встретил его недоверчиво и угрюмо, но «кончил, однако же, тем, что стал его ужасно часто обнимать и целовать, не далее как через две какие-нибудь недели, ...полюбив его искренно и глубоко и так, как никогда, конечно, не удавалось такому, как он, никого любить...» И хотя, конечно, отец не оставил своего цинизма и не стеснялся в изложении при Алёше своих откровенно грязных взглядов на жизнь, тем не менее «приезд Алёши как бы подействовал на него даже с нравственной стороны, как бы что-то проснулось в этом безвременном старике из того, что давно уже заглохло в душе его...» С кем бы ни встречался Алёша, в какую бы среду ни входил, везде он находит доступ к сердцам людей, будит челове-ческую совесть, независимо от возраста, положения, пола и развития человека. И это отношение людей к Алёше Карамазову, отзывчивость на его призывы, откоро-венность перед ним в который раз подтверждают мысль, что в человеческих душах всегда можно найти искру добра, а, обладая ею, люди тянутся к солнцу добра, хотят его и рады, увидев или почувствовав его яркое проявление. «В столпе сию, но и я существую, солнце вижу, а не вижу солнца, то знаю, что оно есть. А знать, что есть солнце, – это уже вся жизнь», – говорит Митя Карамазов. Вот таким тёплым и радующим солнышком является для людей Алёша. Что же даёт ему такие силы?

Оставление Алёшей гимназии вызвало общее недоумение, и только немногие смутно поняли его, когда узнали, что он разыскивает могилу своей матери. Как чувствительного юношу, как всякого типичного русского интеллигента, Алёшу рано стал занимать вопрос о смысле жизни и в разрешении этого вопроса он попал на монастырскую дорогу, избрал религиозный путь. Этот путь поразил и увлёк Алёшу, предоставив выход для его души, рвавшейся из мрака к свету. Это был юноша «честный по природе своей, требующий правды, ищущий её и верующий в неё, а уверовав, требующий немедленного участия в ней всею силой души своей, требующий скорого подвига, с неперменным желанием хотя бы всем пожертвовать для этого подвига... Едва только он, задумавшись серьёзно, поразился убеждением, что бессмертие и Бог существуют, то сейчас же, естественно, сказал себе: «Хочу жить для бессмертия, а половинного компромисса не принимаю». Алёше казалось даже странным и невозможным жить по-прежнему. Сказано: «раздай всё и иди за Мной, если хочешь быть совершен». Алёша и сказал себе: «Не могу я отдать вместо «всего» два рубля, а вместо «иди за Мной» ходить лишь к обедне».

С воспоминаниями о матери, задумчивый пришёл Алёша в монастырь, может быть, посмотреть: «всё ли тут, или и тут только два рубля», но в монастыре он встретил старца Зосиму, и эта встреча оказалась для Алёши роковой. В общении со старцем Алёша уяснил себе смысл жизни. «Глубокий пламенный внутренний восторг всё сильнее и сильнее разгорался в его сердце. Не смущало его нисколько, что этот старец всё-таки стоит пред ним единицей: «Всё равно, он свят, в его сердце тайна обновления для всех, та мощь, которая устанавит, наконец, правду на земле, и будет все святы, и будет любить друг друга и не будет ни богатых, ни бедных, ни возвышающихся, ни униженных, а будут все, как дети Божии, и наступит настоящее царство Христово». Вот о чём грезилось сердцу Алёши». Своим ранним сердцеведением Алёша обязан старцу Зосиме; старец спас его от карамазовщины и указал ему задачу жизни. «Если бы вы знали, – говорит Алёша, – как я спаян душевно с этим человеком! И вот я останусь один...» Но он не остался один; старец Зосима передал Алёше свой дух деятельной любви, дух бодрый, весёлый, чуждый уныния.

Алёша Карамазов, которого Достоевский в своём предисловии к роману называет «героем» произведения, может показаться странным человеком, даже «чудаком». Но сам Достоевский отмечает, что часто именно такие «чудаки» носят в своей душе сердцевицу целого, от которого остальные люди его эпохи почему-то оторвались. Живёт этот «чудак» Алёша в мире карамазовщины, где царит безудержность и разгул, где нет никаких преград желаниям, где вечный хаос, вечные противоречия, отрицания, сомнения и страдания, где сын косвенно поднимает руку на отца; и, окружённый этой карамазовщиной, он не заражается её тлетворным влиянием, не пачкает свою душу в жизненной грязи, а остаётся светлой звездой, ярко горящей в темноте карамазовской ночи. И как прекрасный солнечный луч веселит нас в осеннюю пасмурную погоду, так радует нашу душу Алёша Карамазов, живущий в царстве карамазовщины, в царстве нравственной темноты, где всякое доброе чувство нераздельно переплетается с пороком. Его детски чистая душа не может примириться с окружающим мраком, злобой и пороком, она рвётся к свету любви, который ему видится в монастырской ограде. Вот почему Достоевский рисует Алёшу в чёрной монашеской рясе послушника, которая так идёт к его внутреннему настроению, полному любви, мира, всепрощения. И хотя от него веет здоровьем и красотой, но «не странен на чём монастырский наряд, эти рясы черничьи и чётки...»

Добрые, светлые чувства находят себе место в его кристально чистой душе; у него нет личной жизни, всего себя он отдаёт людям, недаром Достоевский называет его «ранним человеколюбцем». Видя, как человек, исполненный противоречий и неразрешимых загадок, разменивает на мелочи добро своей души; видя, как он грешит и страдает, мучится и злобствует; слыша, как он не принимает Божьего мира, Алёша не

осуждает этого человека, как не может осудить и своего отца, восклицающего: «Ты – единственный человек на земле, который меня не осудил, мальчик ты мой милый!»

Всем оскорблённым и униженным, страдающим от того, что житейские обстоятельства придавили их непосильным бременем, страдающим от сознания своего оскорбляемого и попираемого человеческого достоинства, всем угнетённым и обиженным людям становится легче от соприкосновения с ангельской душой Алёши: и Иван со своим эвклидовским умом, и полный противоречий Дмитрий, и Катерина Ивановна, и Грушенька – все становятся лучше и добрее при Алёше, только с ним делятся они скорбью своей души, у него ищут они утешения и поддержки. А дети чувствуют в Алёше родственную им, детски чистую душу, льнут к нему, искренно привязываются и любят его, идут к нему, как Коля Красоткин, за разрешением своих сомнений.

Озарённый сиянием апостольского смирения и всепрощения, Алёша, как Божий посланник, является в мир карамазовщины, чтобы спасти грешных. Видя страдания людей, он не может устроить «бунт», как это делает его брат Иван, не принимающий Божьего мира; но, сам неповинный в этих страданиях, Алёша не может остаться равнодушным и безучастным свидетелем чужих мучений, и к его апостольскому всепрощению прибавляется смиренное желание – мучиться. «Я тоже хочу мучиться», – говорит он Ивану, как бы чувствуя на себе всю тяжесть всеобщего греха.

Конечно и мир карамазовщины оказал некоторое влияние на Алёшу, и у него бывают «такие минутки», когда он, называемый земным ангелом, может сказать о себе: *homo sum et nihil humanum a me alienum puto* (я человек, и ничто человеческое мне не чуждо), но именно эти «минутки» делают Алёшу ещё ближе к нам – ведь он не святой, он обычный человек, озарённый сиянием добра и любви к людям, веры в Бога.

Алёша Карамазов – это идеалист, для которого мир созерцания и веры не вызывает сомнений, для которого Бог и Его заветы очевидны, для которого религия является делом жизни, а жизнь на религиозной основе – жизнью радости и восторга, а не скорби и уныния. В его душе звучит голос старца Зосимы: «други, просите у Бога веселья... бегите уныния греха, ...кто любит людей, тот и радость их любит».

Алёша Карамазов, по определению Достоевского, – ранний человеколюбец, благочестивый, чистый юноша, усвоивший заветы старца Зосимы о служении человечеству и о необходимости ради этого отсечь лишние ненужные потребности, идущий в жизнь со смиренной, деятельной любовью к людям. Сливаясь духом с образом Алёши Карамазова, люди, ищущие веры, слабые в вере, лишённые веры и потому несчастные, должны помнить ответ старца Зосимы на вопрос о том, как возвратить веру, чем убедиться, – опытом деятельной любви. Эта деятельная любовь даёт Алёше веру в Бога и делает его сильным в служении людям.

Алёша Карамазов – общий брат, осуществляющий в своём братском служении людям не только подвиг личного почина, но, по замыслу Достоевского, и коренное предопределение русского для всего мира, ибо быть настоящим русским – значить быть братом всех людей, указать исход из жизненных коллизий, высказать своё решительное слово согласия всех народов под знаменем христианского братства. И немудрено, что в этом своём проникновенном идеализме, выходя в мир по завету старца Зосимы, Алёша Карамазов обнимает своей любовью весь мир и чувствует себя в своей вере непобедимым. «Полная восторгом душа его жаждала свободы, места, сияющей. Над ним широко, необозримо опрокинулся небесный купол, полный тихих шипящих звезд... Алёша стоял, смотрел и вдруг, как подкошенный повергся на землю...» Он целовал землю, «плача, рыдая и обливая своими слезами, и исступлённо клялся любить её, любить вовеки веков... О чём плакал он? О, он плакал в восторге своём даже и об этих звездах, которые сияли ему из бездны... Как будто нити ото всех этих бесчисленных миров Божий сошлись разом в душе его, и она вся трепетала, «соприкасаясь миром иным». Простить хотелось ему всех и за всё и просить прощения... Но с каждым мгновением он чувствовал явно и как бы осязательно, как что-то твёрдое и незыбле-

мое, как этот свод небесный, сходило в душу его. Какая – то как бы идея воцарялась в уме его – и уже на всю жизнь и навеки веков. Пал он на землю слабым юношей, а встал твёрдым на всю жизнь бойцом и сознал и почувствовал это вдруг, в ту же минуту своего восторга. И никогда, никогда не мог забыть Алёша во всю жизнь свою потом этой минуты. «Кто – то посетил мою душу в тот час», – говорил он потом с твёрдой верой в слова свои... Через три дня он вышел из монастыря, что согласовалось и со словом покойного старца его, повелевшего ему «пребывать в миру».

По Л. Соколову

Старец Зосима

Старец Зосима – одна из самых удавшихся фигур романа, личность жизненная и реальная. В зарисовке отца Зосимы много черт святителя Тихона Задонского и, как предполагают, Амвросия Оптинского. В лице старца Достоевский дал оригинальную фигуру святого подвижника в земных условиях служения человеку. Старцами в монастырях называются такие уважаемые и опытные в духовных подвигах монахи, перед которыми духовные дети свободно открывают все свои помыслы с целью самоисправления. «Старец, – говорит Достоевский, – это берущий вашу душу, вашу волю в свою душу и в свою волю. Избрав старца, вы от своей воли отрешаетесь и отдаёте её ему в полное послушание, с полным самоотрешением. Этот искус, эту страшную школу жизни обрекающий себя принимает добровольно в надежде после долгого искуса победить себя, овладеть собою до того, чтобы мог, наконец, достичь чрез послушание всей жизни уже совершенной свободы, то есть свободы от самого себя, избежать участи тех, которые всю жизнь прожили, а себя в себе не нашли».

Старец Зосима был шестидесяти пяти лет, происходил из помещиков, в ранней юности был военным и служил на Кавказе обер – офицером. Будучи офицером, отец Зосима пережил минуты, сделавшие его новым человеком. Из ревности и ложного самолюбия он вызывает на дуэль помещика, за которого вышла замуж девушка, нравившаяся ему. Ночью перед дуэлью, возвратившись откуда – то, он ударил два раза по лицу денщика Афанасия, а когда проснулся, на душе было тяжело и позорно. Не оттого ли, подумалось, что идёт кровь проливать? Как будто нет. Не боится ли смерти? Нет. «И вдруг сейчас же и догадался, в чём было дело: в том, что я с вечера избил Афанасия! Всё мне вдруг снова представилось, точно вновь повторилось: стоит он предо мною, а я его бью с размаху прямо в лицо, а он держит руки по швам, голову прямо, глаза выпучил, как во фронте... и даже руки поднять, чтобы заслониться, не смеет – и это человек до того доведён, и это человек бьёт человека! Экое преступление! Слово игла острая прошла мне всю душу насквозь. Стою я, как ошалелый, а солнышко – то светит, птички – то Бога хвалят... Закрыв я обеими ладонями лицо, повалился на постель и заплакал навзрыд». Происшедшее переродило его – он просит прощения у денщика, на дуэли выдержал выстрел противника, а затем извинился перед ним и сам стрелять не стал. После этого он выходит в отставку, и пред ним намечается другая дорога – иночество. Сделавшись иноком, он осуществляет завет Христа о служении ближнему.

Старец Зосима обладал светлым умом и любвеобильным сердцем. «Старец, – говорит Достоевский, – был вовсе не строг, напротив, был всегда почти весел в обождении». «Для счастья созданы люди, – говорил старец, – и кто вполне счастлив, тот прямо достоин сказать себе: «я выполнил завет Божий на сей земле». Конечно, Зосима понимал счастье в смысле духовной радости, которая противоположна унынию, заставляющему опускать руки в борьбе с грехом. Вся богоугодная деятельность Зосимы состояла в аскетических поучениях и нравственных благотворениях. Он был прибежищем и утешением страждущих и обременённых. Все верующие, всех возрастов и состояний, доверчиво и чистосердечно раскрывали пред старцем свои сомнения и греховные помыслы; и всех старец утешал и ободрял. «Алёша почти всегда замечал, что многие, почти все, входившие в первый раз к старцу наединную беседу, входили

в страхе и беспокойстве, а выходили от него почти всегда светлыми и радостными». Богомольцы стекались к нему со всех сторон. Они кланялись пред ним, плакали, целовали ноги его, бабы протягивали к нему детей своих, подводили больных кликуш. Старец говорил с ними, читал над ними краткую молитву, благословлял и опускал с миром. Приёмы его лечения душевных болезней обрисованы с замечательной психологической точностью и показывают в старце тонкий, наблюдательный ум. Вот приходит к старцу простая женщина, почти сумасшедшая, которая никак не может успокоиться оттого, что умер у неё единственный мальчик. Старец, узнав, что муж её стал уже попивать, посылает в её душе веру, что младенец жив и летает к ней в дом, и вот он прилетает и видит, что её нет дома, отец один и пьянствует, то есть для воздействия на неё он берёт самый яркий стимул её душевной болезни — ту же её любовь к умершему — и таким образом убеждает её вернуться домой, уверяя, что теперь ребёнок скучает, а тогда будет веселиться. Другой женщине, которая не могла успокоиться после убийства собственного мужа, старец сказал, что Бог её простит, что Его любовь так велика, что она и представить себе этого не может. «Уж коли я, такой же, как и ты, человек грешный, над тобой умилился и пожалел тебя, колыми паче Бог».

Проницательностью Зосимы, основанной на глубоком понимании человеческого сердца, объясняется его способность предсказывать будущее. «Он до того много принял, — говорит Достоевский, — в душу свою откровений, сокрушений, сознаний, что под конец приобрёл прозорливость уже столь тонкую, что с первого взгляда на лицо незнакомого, приходившего к нему, мог угадывать: с чем тот пришёл, чего тому нужно, и даже какого рода мучение терзает его совесть, и удивлял, смущал и почти пугал иногда приходившего таким знанием тайны его, прежде чем тот молвил слово». Одна вдовица, долго не получавшая известий от своего сына, хотела поминать его за упокой и пришла посоветоваться со старцем, который уверил её, что сын скоро приедет или письмо пришлёт. И, действительно, сын скоро приехал. Старец без всякой, по-видимому, причины поклонился в ноги Дмитрию Фёдоровичу. Все недоумевали, что это значит, но старец по секрету объяснил Алёше: «поклонился его великому страданию». И это предчувствие скоро оправдалось. Дмитрий Фёдорович был безвинно осуждён на двадцатилетнюю каторгу.

Несмотря на свою известность среди братии и окрестного населения, старец отличался глубоким смирением. Он постоянно называет себя грешным; несмотря на свою немощь, он постоянно склоняется перед людьми в низком, глубоком поклоне. Он отвешивает глубокий, низкий поклон каждому из монахов, входящему в его келью. По своей натуре он поэт, восторженно любящий природу и людей. Все его поучения проникнуты духом любви и христианской свободы.

Мировоззрение отца Зосимы вкратце можно изложить следующим образом. В истинно нравственном обществе, где все дети одного Отца и связаны бескорыстными и сердечными отношениями, не может быть признания, что один выше другого. Человек — одна из многих частей общественного организма, дающая окружающим то, что получает от них сам, и наоборот. Отсюда понятно, почему существует тесное взаимодействие между средой и отдельными представителями её. «Сам будешь лучше, — говорил отец Зосима, — и среда будет лучше». Из этого вытекает взаимная ответственность христиан друг за друга: каждый виноват в падении ближнего уже потому, что он не обратил внимания на его исправление, уклонился от участия в его возрождении. Вот почему «все во всём и пред всеми виноваты». Указанный взгляд не переносит всецело ответственности за поступки на среду, но заставляет каждого участвовать в духовном развитии других. Разумеется, всё это возможно под условием высокого нравственного развития, сознания общего братства, когда у всех одна душа и одно сердце. «Будут братья — будет и братство», — говорит отец Зосима.

Анализируя моральное состояние современного ему общества, отец Зосима видит в нём главную характерную черту — «всемирное отъединение», то есть все

живут и действуют, только помня о себе. Будет, однако, время, когда люди поймут, что всеобщее счастье – в единении.

По И. Глебову

Зосима – инок, когда-то в миру прошедший бездны карамазовских заблуждений и потом обретший мир для души своей в монастыре.

Молодость Зосимы шумно протекала среди гвардейского офицерства 1820-х годов. «Пьянство, дебоширство и ухарство», казалось, начисто вытравили в его душе зёрна христианской морали, насаждённые в детстве. Гордясь своим положением, молодой офицер знал только честь полка, другой, «настоящей чести» не понимал, солдат считал «за совершенных скотов», от всякого умственного движения был очень далёк. Но затем с ним произошёл перелом, всколыхнулись детские впечатления, проснулось сознание своей дрянности, и он уходит в монастырь. Сорок лет иноческой жизни укрепили Зосиму в том мировоззрении, которое усвоено от него Алёшей Карамазовым и изложено последним в его рукописном житии старца. Жизнь есть рай, как думает старец, но среди природы прекрасной и безгрешной люди устроили мучения для себя, так как утратили мысль о своём равенстве и братстве. Нужно помнить, что «всякий пред всеми за всех виноват», и сообразно с этим поступать, и тогда настанет снова рай во всей красоте своей. Но «раньше, чем не сделаешься в самом деле всякому братом, не наступит братство». Оно сбудется, наступит это братство, когда люди вступят на истинный путь. Теперь всякий стремится к личному обособлению, «хочет испытать в себе самом полноту жизни, а между тем выходит из всех его усилий вместо полноты жизни лишь полное самоубийство, ибо вместо полноты определения существа своего впадают в совершенное уединение». «Истинное обеспечение лица состоит не в личном уединённом его усилии, а в людской общей целостности». Люди хотят наукой, умом одним устроить счастье – и заливают мир кровью. Спасение же в осмеянной ныне идее о служении человечеству, о всеобщем братстве во имя Христа. Смеются над уединением иноков, но действительное уединение, или «отъединение» человека от человека, господствует в мире. Монахи не в уединении, потому что они духом со всем народом русским. «Народ верит по-нашему, а неверующий деятель у нас в России ничего не сделает». «От народа спасение Руси», «народа-богоснца», и подготавливаться к «великому подвигу» спасения всенародного – вот в чём жизненный смысл монастыря русского. «Велика Россия смирением своим», но смирение не раболепство. «Свободен видом и обращением» народ наш, и ему дано постигнуть «равенство в человеческом духовном достоинстве». В будущем «великолепном единении людей» исчезнет стремление искать для себя слуг, но всякий пожелает служить другим. «И неужели же мечта, чтобы под конец человек находил свои радости лишь в подвигах просвещения и милосердия, а не в радостях жестоких, как ныне?». Прозревая светлое будущее, нужно «деток любить особенно, как некое указание нам».

Любовью к детям возлюбил Зосима Алексея Карамазова, но не для монастырской жизни благословил его, а для жизни в мире, для испытания многих несчастий, для великого счастья подвижника. «Если пшеничное зерно, падши на землю, не умрёт, то останется одно; а если умрёт, то принесёт много плода». Это евангельское изречение, обращённое старцем к Алёше, поставил Достоевский и в эпиграфе к своему роману – важное указание на родственность воззрений его с воззрениями Зосимы.

По В. Максимов, С. Золотарёву

Старец Зосима – подвижник, человек, для которого бедность и смирение сделались внутренней потребностью, а не более или менее тяжёлой необходимостью; он не только пассивно подчиняется лишениям, но идёт им навстречу, ищет их сам.

От самого Зосимы мы узнаем, что есть у него любимая книга, перед которой он благоговеет и трепещет от восторга, – библейская «Книга Иова». «Господи, что это за книга и какие уроки!.. – восклицает он. – Тут тайна, – что мимоидущий лик земной и вечная истина соприкоснулись тут вместе».

Восторг Зосимы перед этим произведением уже достаточно определённо говорит о его характере и направлении мысли. Иов, кроткий, терпеливый страдалец, с уст которого не сходит слово ропота и проклятия, который среди ужаснейших страданий верит в благость Промысла и благословляет жизнь. Иов – Панглосс древних евреев, которому величие страданий придало трагический характер, – вот идеал старца Зосимы. Его мысль направлена к обоснованию и защите этого идеала.

В противоположность Ивану Карамазову Зосима «приемлет мир» со всем случившимся злом и страданиями; он любит его как он есть, считая его созданием Божией благости. Всё хорошо, весь Божий мир прекрасен; прекрасен, несмотря на все стоны и вопли. Эти стоны и вопли не нарушают гармонии жизни; они сами входят в эту гармонию как необходимый, разумный и справедливый элемент её. «Любите всё создание Божие, и целое, и каждую песчинку. Каждый листик, каждый луч Божий любите. Любите животных, любите растения, любите каждую вещь. Будешь любить каждую вещь, и тайну Божию постигнешь в вещах, и полюбишь наконец весь мир всецелою, всемирною любовью». Эта формула оптимизма находит в Зосиме горячего сторонника и убеждённого защитника.

Вполне понятно, что через те же розовые стёкла оптимизма смотрит он и на общественную жизнь, где всё клонится к общему благу. Нет повода ни для протеста, ни для возмущения. Правда, общество делится на богатых и бедных, но между теми и другими устанавливается согласие, и Зосима уже грезит о скором пришествии братского единения между ними, когда богатый будет спешить на помощь бедняку, а последний любовью и кротостью ответит на его братский порыв. «Мечтаю видеть и как бы уже вижу наше грядущее; ибо будет так, что даже самый развращённый богач наш кончит тем, что устыдится богатства своего перед бедным, а бедный, видя смирение сие, поймёт и уступит ему, с радостью и лаской ответит на благолепный стыд его. Верьте, что кончится сим: на то идёт. Лишь в человеческом духовном достоинстве равенство, и сие поймут лишь у нас. Были бы братья, будет и братство, а раньше братства никогда не разделятся».

Для Зосимы общественный порядок так же неприкосновенен, так же не подлежит критике и протесту, как и порядок мировой. Над всей жизнью царит мудрый Промысел, им же установлены и общественные отношения. Видимая ненормальность этих отношений – плод нашей близорукости. Среди страданий и бедности вырабатываются смирение и вера, в которых и лежит залог будущей общей гармонии и счастья. В страдании и бедности закаляются характеры кроткие и глубоко верующие, и именно «кроткие» наследуют землю. Возмущение против таких социальных отношений не только не ведёт к улучшению, а напротив, является лишь новым нарушением гармонии, удалением от неё, грехом перед Богом, естественным следствием чего является страдание. «В Европе восстаёт народ на богатых уже силой, и народные вожаки повсеместно ведут его к крови и ушат, что прав гнев его. Но «проклят гнев их, ибо жесток». А Россию спасёт Господь, как спасал уже много раз. Из народа спасение выйдет, из веры и смирения его».

Не только не следует возмущаться социальными страданиями, но при первых признаках гнева и возмущения нужно самому искать себе страдания. Страдание поучительно: оно – великое воспитательное средство; оно возвращает нас к кротости и смирению, давая нам понять, что и мы сами виноваты в царящем зле, потому что злы: ибо как можно гневаться и возмущаться, не будучи злым. «Если же злодейство людей возмутит тебя негодованием и скорбью уже неодолимою, даже до желанья отомщения злодеям, то более всего страшись сею чувства; тотчас же иди и ищи себе мук так, как бы ты сам был виновен в злодействе людей. Прими сии муки и вытерпи, и утолится сердце твоё, и поймёшь, что и сам виновен, ибо мог светить злодеям даже как единый безгрешный и не светил».

Всякий протест, всякая попытка активного воздействия на мир в целях переустройства его сообразно своим потребностям безусловно осуждаются Зосимой. В своих мистических мечтаниях о загробном существовании он представляет себе ад как душевное состояние этих протестантов, дерзко нарушивших своими проклятиями гармонию мировой жизни.

Вот смысл всей философии Зосимы. Вместо активного воздействия на мир и общество, вместо борьбы против страдания и нищеты Зосима проповедует примирение с ними, вместо гнева и возмущения он рекомендует молитву. Да и не о простом примирении говорит Зосима: нищету, смирение, молитву он полагает в основание своей практической философии, провозглашая идеалами пост, послушание и молитву. Пост, послушание, молитва – вот высшая ступень человеческого бытия, вот где человек достигает полной свободы и счастья: «Над послушанием, постом и молитвой даже смеются, а между тем лишь в них заключается путь к настоящей, истинной уже свободе: отсекаю от себя потребности лишние и ненужные, самолюбивую и гордую волю мою смиряю и бичую послушанием, и достигаю тем, с помощью Божией, свободы духа, а с нею и веселия духовного».

Такова философия старца Зосимы. В основе его этических взглядов лежат три идеи: пост, послушание и молитва; недостижимым этическим идеалом, высшим воплощением человека для него является Иов многострадальный. В основание отношений личности к обществу он кладёт принцип покорности и неприкосновенности общественного порядка, а идеал общественной жизни рисуется ему в виде любовного единения богатых и бедных, в виде нравственного обновления их в духе милосердия и любви. Тот же принцип покорности кладёт он и в основу отношений человека к миру, принцип неприкосновенности мирового порядка, установленного рукою благого Промысла, а нормальные отношения человека к миру, идеальные отношения, представляются ему как гармоническое слияние молитвы и милосердия.

То, что для рядового населения кроткой половиной общественного дна является простой необходимостью, для старца Зосимы становится моральной обязанностью: нищета – это вынужденный пост, вынужденное умерщвление плоти; забитость и унижение – это вынужденное послушание, вынужденное умерщвление духа, ибо подавление личности, отсечение своей воли есть поистине умерщвление духа; по-прошайничеству – это вынужденная молитва, вынужденное умерщвление активности и отказ от борьбы. Моральный идеал Зосимы рождён нищетою, забитостью, он не только узаконивает их, но возводит в идеал, провозглашает нравственным долгом в форме поста, послушания и молитвы.

Возможности активного действия на мир, изменения и приспособления внешних сил на потребу человека он не понимает, как не понимает возможности изменения общественной жизни путём активного вмешательства. На такое вмешательство он смотрит как на кощунственный и в то же время бесплодный бунт, как на неблагодарность и непокорность перед благодетелями, в милосердии которых обретается счастье. Будьте кротки, дабы были милосердны с вами – такова формула Зосимы, определяющая отношения человека к обществу и миру.

По В. Переверзеву

Среди боголюбивых монахов, действующих в романе Достоевского, первое место принадлежит старцу Зосиме. В изображении этого человека художник пользуется своими обычными приёмами. Перед нами не иконописный образ в его застывшем, церковно-византийском типе, не условный символ богословской идеи, а живое лицо, что-то с первого взгляда даже незначительное, на иной вкус даже непривлекательное.

Это был невысокий, сгорбленный человек, с очень слабыми ногами, всего только шестидесяти пяти лет, но казавшийся от болезни гораздо старше. Всё лицо его, очень сухонькое, было усеяно мелкими морщинками, особенно было много их око-

ло глаз. Тело Зосимы, «невеликое, к костям присохшее», сгорбилось как бы под ношей земного бремени. Сухое лицо его, усеянное мелкими морщинками, говорит о том, что прежняя жизнь, молодая и кипучая, сменилась в нём другой, быть может, не менее полной, но совсем иного порядка. Глаза у Зосимы небольшие, светлые. Быстро переходя с предмета на предмет, они светятся, как «две блестящие точки»: в их взгляде чувствуется такая неизменная сосредоточенность, что их вечное движение кажется неподвижностью. «Седенькие волосики сохранились лишь на висках, бородака была крошечная и реденькая, клином, а губы, часто усмехавшиеся, – тоненькие, как две бечёвочки. Нос не то чтобы длинный, а востренький, точно у птички». Это как бы христианский сатир-полубог древнего мира, ставший богочеловеком в эпоху новых религиозных идей. Усмешка, блуждающая на губах Зосимы, даёт нам отражение его вечно сверкающего ума, а весёлый, приветливый взгляд показывает, что этот ум открыл для него утешительные перспективы широкой гуманности. Зосима полон безоблачных восторгов, и восторги эти выражают радость живого общения с миром. Этот мир входит в его душу со всеми своими частностями, утомительными для других подробностями, тяжкими для других обстоятельствами и, войдя в неё, перерабатывается во что-то лёгкое, по-новому осмысленное и потому уже чистое и возвышенное. Он является настоящим хранителем «Божьей правды», ибо эта Божья правда – вечная и неизменная в схемах жизни – не для всякого видна в самой жизни, в её случайных проявлениях, в мелочах, в судьбах отдельных маленьких людей. Самая режущая правда, высказываемая им в глаза, никогда никого не унижает. Даже Фёдор Павлович Карамзев видит безобидную мягкость его правдивых обличений, потому что и к нему он обращается со своей доброй улыбкой. «Блаженнейший человек!» – восклицает старик после того, как Зосима «с весёлым лицом» прижёт своими словами его внутренние язвы. Никакое признание стекающихся к нему людей не может омрачить ясного веселья его духа. «Ничего не бойся, и никогда не бойся, и не тоскуй», – говорит он женщине, покаявшейся ему в каком-то тяжёлом грехе, и сейчас же обращается к другой женщине, которая уже издала привлекла его внимание своим добродушием и беспричинной оживлённостью. «Люблю тебя, – говорит он ей, – развеселила ты моё сердце, мать». Ребяческую болтовню Лизы об Алёше он тоже выслушивает, «улыбаясь», и нежно благословляет её. Когда в его келье разыгрывается грубая семейная сцена между Карамазовыми и все присутствующие иеромонахи заставляют в каком-то «суровом» негодовании, он один, поблуднев от утомления, пытается остановить «беснующихся» жестом своей худенькой руки и мягкой, «умоляющей улыбкой». В этом внешнем контрасте поведение Зосимы и других монахов, в этом тонком противополжении их суровости и его улыбки, художник показывает всё различие их характеров, всё его внутреннее преимущество перед другими подвижниками. Он один смотрит на это расплескавшееся перед ним море грубых страстей с истинной высоты, оттуда, где душа живо касается Божества, преобразуется в нём и проникается его светом. Несмотря на страшное утомление, он с чудесной тонкостью различает особенности спорящих перед ним людей, понимает их страдание и в мудро предвидении как бы созерцает их будущие пути. Он уже понял, что делается в душе Дмитрия, уже отметил его среди других и перед тем, как уйти из кельи, поражает присутствующих своим земным поклоном ему. Он преклоняется перед его будущими муками, выказывая ему своё сочувствие, и поднимается с земли с улыбкой, «чуть-чуть блестевшей на его губах». Из своего общения с настоящими и грядущими страданиями Дмитрия Зосима всё-таки выносит утешительный для себя и для других свет. Даже в минуту всеобщего смятения и расстройств он не теряет своего сияния. Он весь какое-то сияние, отрадное и бодрящее, при всей его физической хилости, при всех болезнях, которые завтра сведут его в могилу.

Смерть уже подходит к нему, но светлое настроение ни на минуту его не оставляет. Умирая, он в последнем, прощальном слове к самым близким людям излива-

ет всю свою мудрость, всё, что накопилось в нём долгими годами жизни и мысли, — и эта мудрость кажется в самом деле откровением нездешнего, иного мира. Речь его от начала до конца залита восторгом. «Иногда он пресекал говорить совсем, как бы собираясь с силами, задыхался, но был как бы в восторге». Несмотря на то, что в нём иссякает воля жизни и начинается таинственный процесс возврата к Богу, Зосима обвеивает каким-то благоуханным фимиамом всё, что только может войти в человеческий кругозор. В последнюю минуту, когда грудь его уже сдавлена предсмертной судорогой, он «тихо опустился с кресел на пол и стал на колени, затем склонился лицом ниц к земле, распротёр свои руки и как бы в радостном восторге, целуя землю и молясь (как он сам учил), тихо и радостно отдал душу Богу». Он умирает, с улыбкой взирая на окружающих, делая последний земной поклон, и каждое слово является здесь не просто краской или чертой, а выражением, — может быть, бессознательным, — величайшей идеи жизни и смерти. Этот поклон до земли — обычное для Зосимы движение — свидетельство его смирения перед безмерным Божеским началом. Тихий восторг, сказывающийся в его улыбке, — это истинное возрождение, в новой, высшей форме древнего человека, который умел умирать, умел уходить в вечность без слабосильных скорбей и сокрушений, не тоскуя и не поселяя тоски в окружающих. В своём полёте из настоящего в историю прошедших времен Достоевский возносится над всем, что есть случайного, застывшего в верованиях людей. Облик Зосимы создан из простых, жизненных элементов, каких мы не встречаем в традиционной религиозной живописи. Фигуры святых обычно представляются неподвижными, с мертвенной сосредоточенностью в глазах, в искусственно удлиненных пропорциях, словно это не живые люди, а какие-то тени, безмольные и бессильно скользящие по земле. От этих фигур, когда смотришь на них, в душе разливается холодная тоска, бессодержательное уныние пленённой и не питаемой никакими тёплыми ощущениями отвлечённой мысли.

Зосима представлен в непосредственности своей простой, цельной внутренней жизни. Его глаза блестят от возбуждения и постоянно улавливают что-нибудь новое. Сначала он молча разглядывает своих гостей, схватывая всё только в общих очертаниях, эскизно, отрывочно, затем он начинает выделять своим зрением мелочи, частности, то, что всего характернее и при всей своей кажущейся незначительности всего содержательнее в психологическом отношении. Из этих мелочей, незаметных для иных, грубых восприятий и неотчётливой наблюдательности примитивных натур, Зосима быстро создаёт свои решительные и бесконечно человеколюбивые выводы. «Пристально» и «зорко» изучает он Ивана, со стремительной пронизательностью он вычитывает в глазах Дмитрия суть его природы и его судьбу. Ориентировавшись, таким образом, посредством одного только зрения в смуте карамазовского дома, он отмечает Дмитрия как предмет особенных забот для Алёши. «Был ли у своих и видел ли брата?» — спрашивает он его на другой день после посещения Карамазовыми его кельи, спрашивает с безотчётной неопределённостью, потому что его в сознании образ Дмитрия отпечатлелся ярче других членов этой семьи и как бы заслоняет их. В душе его, уже обьятой холодом смерти, светится и горит забота об этом человеке, в котором он провидел готовящееся ему распятие.

Старость и болезни не могут сломить энергию Зосимы. У него «слабые» «хилые» ноги, а между тем, он с лёгкостью и быстротой произвольных рефлексов поднимается с места, двигается, всюду поспевает. При первом же появлении его в романе Достоевский даёт художественную деталь, тонкую, не бросающуюся в глаза, но как бы сразу показывающую сильный темп жизни Зосимы. Карамазовы входят в его келью «почти одновременно со старцем, который при появлении их тотчас показался из своей спаленки». Со всем изяществом внимательного к людям и вежливого человека он никого не заставляет ждать себя. Он в вечной гармонии с другими, и эта гармония достигается им благодаря неистощимым запасам его душевных и нервных сил. Изящество скромной

вежливости сливается в Зосиме с природной красотой страстной, подвижной натуры. Странно сказать, в этом измождённом старике, насквозь проникнутом богофильством, есть одна черта, общая с Дмитрием. Зосима, как и Дмитрий, был когда-то офицером, и это обстоятельство намекает на некоторую общность их темпераментов. Каждое впечатление выражается у Зосимы соответствующим внешним порывом, и Достоевский отмечает эту порывистость теми же словами, как и относительно Дмитрия. Успокаивая Миусова, он «вдруг» привстаёт «на свои хилые ноги». В начале ссоры между Карамазовыми, он «вдруг» поднимается с места. «Вдруг» он «внимательно посмотрел на Алёшу», «вдруг» он начинает возражать Ивану Карамазову на тему его статьи. Эти внезапные проявления его деятельной чуткости к людям, побеждающей его физическую слабость, — вот бесподобная краска, взятая из настоящей человеческой действительности и выделяющая образ Зосимы из образов богословской иконописи.

Наконец, последняя особенность во внешней характеристике Зосимы. Через всё его поведение проходит смирение: несмотря на свою немощь, он постоянно склоняется перед людьми в низком, глубоком поклоне. Этот поклон так же свойствен Зосиме, как inferнальный изгиб Грушеньке. Первый же проблеск новых настроений в его душе, ещё в бытность его офицером, сопровождается у него земным поклоном перед оскорблённым им денщиком Афанасием. Вся земная суета, связанная с его чином и блеском офицерских эполет, отпадает от него вместе с этим решительным поклоном. Отныне Зосима приветствует поклоном — низким, русским поклоном — всякое человеческое обращение к нему. Так, через некоторое время, будучи уже странником, он благодарит поклоном того же Афанасия и его супругу за полученную от них полтину. У себя в келье он отвешивает глубокий, низкий поклон каждому из монахов, но сдержанно отвечает на холодные, светские поклоны своих гостей. Он несколько смущён их скрытым протестантством и как бы боится навязать им от себя, от своих привычек, что-нибудь чуждое им, лишнее для них. Уже при первых беседах с Карамазовыми, в его хилом, но подвижном теле чувствуется задержанный рефлекс, не выраженное движение сердца. Дмитрий ещё не пришёл, и Зосима на время удаляется из кельи к ожидающему его народу, в общении с которым он является самим собой. Его чуткая внимательность к людям, умение приспособляться к ним, выступает здесь во всей своей многоцветной колоритности. Он всем улыбается, для каждого находит луч утешения, одного благодарит, исповедуя другого, вне всяких церковных правил садится для него на нижнюю ступеньку крыльца, как бы склоняясь к его одинокой тайне. Как великолепен Зосима в этой своей способности охранять чужие индивидуальные правды, подходить к ним со своей обожающей правдой, вносить своё вечное движение в движение народных масс! От народа он снова возвращается в келью. Когда является Дмитрий, «безукоризненно и щёгольски одетый», и отвешивает ему, с обычной торжественностью, вежливый, глубокий поклон, Зосима, уже как бы насторожённый поведением остальных Карамазовых, ведёт себя опять сдержанно, без обычной непосредственности. Он привстаёт и благословляет его — без поклона. Тут всё в высшей степени характерно — даже то, что он только «привстаёт», а не поднимается с места со свойственно ему живостью. Но вот он понял Дмитрия, безмолвно сблизился с ним душой, и «вдруг», по-своему прекращает общую тяжкую ссору Карамазовых: «старец шагнул по направлению к Дмитрию Фёдоровичу и, дойдя до него вплоть, опустил перед ним на колени». В нём просыпается задержанная энергия, которая проявится сейчас с удвоенной силой, потому что к его инстинктивному преклонению перед страдающими людьми, которое принимает у него пластические формы, присоединяется теперь отчётливое убеждение в исключительности судьбы Дмитрия. «Став на колени, старец поклонился Дмитрию Фёдоровичу в ноги полным, отчётливым, сознательным поклоном, и даже лбом своим коснулся земли». Такого поклона он, быть может, ещё никогда не делал. Он кланяется человеку так, как кланяются иконе, ибо в минуту внутреннего подъёма он видит этого человека, эту живую икону, в двойном свете его двойной ипостаси, всей бесконечности его разла-

дов и страданий; Зосима видит его красоту и благочестиво падает перед ним до земли. «Я вчера великому будущему страданию его поклонился», – говорит Зосима Алёше. Он вдруг отчётливо увидел это страдание и почувствовал свою личную виноватость перед ним, перед Дмитрием, как и перед целым миром. Теперь холод, случайно навеянный на его душу, рассеялся, и Зосима покидает келью с улыбкою на устах и уже с бессознательными, обычными поклонами на все стороны.

Есть что-то очаровательное в той философии поклонов, которая чувствуется в романе, делая его типично русским произведением. Глубокий, поясной или земной поклон – это чисто русский поклон, с самобытно русской психологией смирения и самоуменьшения перед людьми как перед символом воплощённого в них Божества. Особенно же многозначительно является эта черта в обрисовке Зосимы, который корнями своего обновлённого существа врастает в народную почву. Он и умирает с поклоном, становясь на колени, простираясь на земле. И в этом движении его, как и в поклоне Дмитрию тоже чувствуется вспышка могучей мысли, озаряющей до глубины его душу для него самого. Два начала жизни, частное и мировое, в последний раз соприкасаются друг с другом. В такую минуту у человека обыкновенно не хватает сил на наглядное выражение своих чувств, но Зосима и теперь, в последних напряжениях тела, побеждает овладевающую им слабость и, покидая мир, даёт ему, в своём поклоне, последнее, «восторженное» поучение. Он умирает, как истинный богоносец.

Вот и вся фигура Зосимы. Перед нами в самом деле один из глубокомысленнейших образов древнего мира, перешедший в новый мир со своей главной, отличительной чертой – со своим экзотическим весельем. Он истинно мудр, потому что умеет словом поучать этому веселью и доказывать людям его святость. Хилый, сгорбленный человек, со слабыми ногами, он полон этого святого веселья, полон движения, и годы не властны над ним, потому что своими светящимися глазами он смотрит не в бессодержательную, отвлечённую идею вечности, а в самую вечность, в живую безбрежность всё новых и новых явлений. Его учение о вечности выливается из его ощущения бытия – ощущение многоцветного и многозвучного, и потому оно, при своих неизменных метафизических перспективах, приобретает в его устах поэтически чудотворную прелесть. Он видит мир в разнообразии его явлений, представляющих какую-то двойную необъятность, необъятность содержания в каждой отдельной бесконечно малой величине и необъятность их в целом строе вселенной. Из этого созерцания Зосима выносит и своё смирение, и своё веселье. Но именно такое смирение и такое веселье ставят его особняком среди других подвижников монастыря, из которых многие склонны идти в вопросах веры только традиционными путями.

По А. Волынскому

Старец Зосима – самый великий праведник в романе; все поклонники уже при жизни считали его святым. Его богоугодная деятельность состояла в аскетических поучениях и моральных благотворениях. Он был прибежищем, духовной опорой и утешением всех страждущих, обременённых, скорбящих, озлобленных и требующих помощи. Верующие всех возрастов, званий и состояний, обоих полов доверчиво, искренно и чистосердечно раскрывали перед ним свой ум и сердце, свои сомнения и недоумения, свои духовные нужды и печали, свои прегрешения и греховные помыслы. И всех святой старец удовлетворял и успокаивал, никто не уходил от него без облегчения и душевного умиротворения. «Алёша почти всегда замечал, что многие, почти все, входившие в первый раз к старцу на уединённую беседу, входили в страхе и беспокойстве, а выходили от него почти всегда светлыми и радостными, и самое мрачное лицо обращалось в счастливое». Богомольцы стекались к нему со всех сторон. Они повергались пред ним, плакали, целовали его ноги, целовали землю, на которой он стоит, бабы протягивали к нему детей своих, подводили больных кликуш. Старец говорил с ними, читал над ними краткую молитву, благословлял и отпускал их.

Так, однажды, приходит к нему баба и плачет об умершем сынишке; старец говорит ей, что «младенцы пред престолом Божиим дерзновенны», и «нет никого дерзновеннее их в царствии небесном», что поэтому её младенец находится «в ангельском чине», есть «единый от ангелов Божьих», а следовательно, она должна не плакать, а радоваться, идти домой к мужу и беречь его. Баба совершенно успокоилась и весело отправилась домой, сказавши: «Сердце ты моё разобрал». Другая баба сообщила ему на ухо какой-то грех; он, узнав, что она исповедалась и приобщилась, сказал ей: «Ничего не бойся, и никогда не бойся и не тоскуй. Только бы покаяние не оскудевало в тебе – и всё Бог простит». Вдругой раз к старцу явилась великосветская «маловерная дама», Хохлакова, мать исцелённой старцем Лизы, исповедуется, что она страдает неверием не относительно Бога, а относительно будущей жизни, и что это её мучит. Старец рассеял и её сомнения, успокоил, сказав, что уже много значит одно сознание ею своего греха и скорбь о нём.

Благотворения великого старца, равно как и его поучения, имели чисто духовный, теоретический характер; старец был, что называется, созерцательный мистический аскет. О деятельном же, практическом аскетизме ни отец Зосима, ни его автор не имеют ни малейшего понятия. Больше всего старческих поучений выпадало на долю окружавших его лиц, а именно, Алёши, отца Паисия и отца Иосифа, учёного монастырского библиотекаря, и многих других лиц из монастырской братии. Собираясь в келье старца, они вели мудрые беседы о божественных или земных предметах, но с божественной точки зрения; решающий голос всегда, конечно, принадлежал Зосиме. Иногда на этих беседах обсуждались брошюры и статьи по разным современным вопросам, например, об отношении между церковью и государством, о суде гражданском и церковном. Зосима вместе с другими иноками приходил к мнению, что на Западе, у лютеран и католиков, церковь исчезла, а сохраняется только у нас, что идеал общества и государства есть превращение их в церковь, что гражданский суд совершенно неудовлетворителен и останется таким, пока не будет заменён судом церкви...

Старец Зосима был провидцем и многое пророчествовал. Так, одна вдова, долго не получавшая известий от сына, хотела его поминать за упокой и пришла посоветоваться со старцем, который уверил её, что сын скоро придет или пришлёт письмо. И действительно, сын вскоре вернулся. Зосима ни с того ни с сего поклонился в ноги Дмитрию Карамазову во время ссоры последнего со своим отцом. Все недоумевали, что это значит, но старец сказал по секрету Алёше: «Я вчера великому будущему страданию его поклонился». Это оракульское изречение скоро разъяснилось и оправдалось: Митя Карамазов безвинно пострадал.

Вследствие всего этого поклонники отца Зосимы считали его ещё при жизни святым и с уверенностью ожидали, что тотчас же после смерти он начнёт творить чудеса, что от тела его немедленно станет исходить благоухание. Но эти надежды не оправдались, и тело Зосимы вскоре после смерти начало издавать не благоухание, а «тлетворный дух», что глубоко и неприятно поразило Алёшу. Автор очень подробно останавливается на этом чувстве юного послушника, которое, по его словам, составило в душе его «перелом и переворот, потрясший, но и укрепивший его разум уже окончательно, на всю жизнь и к известной цели». В романе много места уделено тому, чтобы разъяснить истинный смысл этой скорби Алёши и доказать, что в ней не было ничего предосудительного. Автор горячо заверяет, что скорбь Алёши о «тлетворном духе» от тела отца Зосимы не была легкомысленным и нетерпеливым ожиданием чудес, которые были бы нужны для укрепления его в вере, а проистекала только из горячей любви к почившему старцу, не была ропотом на Бога, а проистекала из желания высшей справедливости, которая требовала, чтобы тело старца было прославлено благоуханием.

По М. Антоновичу

Смердяков

Исчадие ада, плод греха, вполне достойный своего родителя и своего греховного происхождения, Смердяков – ужасный, закоренелый, холодный и методический зло-

дей, какого трудно себе и представить. Это был не человек, а просто сатана во плоти. Его порочность и преступность вытекали из неверия и атеистических заблуждений, которые он подслушал у своего барина-отца и барина-брата, Ивана Карамазова, и перетолковал по-своему. Поэзию и стихи он отвергает, считая их «существенным вздором-с». В нём нет ни капли русского патриотизма, что подтверждается его собственным признанием: «Я всю Россию ненавижу, Марья Кондратьевна... не только не желаю быть военным гусариком, но желаю, напротив, уничтожения всех солдат-с... В денадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского первого, отца нынешнему, и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки-с». Он усердно изучает французские вокабулы, «чтобы тем образованию моему способствовать, думая, что и самому мне когда-нибудь в тех счастливых местах Европы, может, придётся быть».

Таков Смердяков: лакей, западник, либерал и злодей! Автор наделил его невероятным диалектическим талантом. Вот, например, какие диалектические тонкости он отмечивал. По поводу разговора о подвиге солдата, который не хотел отречься от веры даже тогда, когда турки начали сдирать с него кожу, Смердяков заметил, что не было бы большой беды, если бы солдат и отрёкся от веры для своего спасения. На представленное ему возражения он отвечал такой аргументацией. Как только, рассуждает он, у меня явится хоть мимолётное намерение отречься от веры, тотчас же «я самым высшим Божиим судом немедленно и специально становлюсь анафема проклят и от церкви святой отлучён совершенно как бы иноязычником, так что даже самой четверти секунды тут не пройдёт-с, как я отлучён». А раз человек отлучён от церкви, от христианства, то формальное отречение уже не имеет значения и смысла. «Коли я уж не христианин, значит, я и не могу от Христа отречься, ибо не от чего тогда мне и отречься будет. С татарина поганого кто же станет спрашивать, хотя бы и в небесах за то, что он не христианином родился... Даже сам Бог Вседержитель с татарина если и будет спрашивать, когда тот помрёт, то полагаю, каким-нибудь самым малым наказанием... рассудив, что ведь неповинен же он в том, если от поганых родителей поганым на свет произошёл». Вслед за тем он огорошил своих противников таким возражением: в Писании сказано, что кто имеет хоть слабую веру, тот если прикажет горе двинуться в море, то она и двинется, а никто из вас не может этого сделать, значит, вы сами люди неверующие.

Смердяков убил доверявшего ему Фёдора Павловича Карамазова. Это убийство задумано и совершено с такой сатанинской обдуманностью и предусмотрительностью, с таким адским хладнокровием и методичностью, что становится жутко от ужаса перед титаничностью такого преступника. Слыша от Ивана Карамазова, что «всё дозволено», Смердяков «намотал себе на ус» это правило. Предполагая, что Ивану в интересах наследования была бы желательна смерть отца, Смердяков рассчитывал, что убьёт старика другой сын, Митя, который ненавидел отца, ревновал его к Грушеньке, очаровавшей старика, и имел с ним какие-то нескончаемые денежные счёты. В случае убийства отца Митей Смердяков собирался похитить три тысячи рублей, хранившиеся в известном ему одному месте. Иван и Алёша, получив наследство только на двоих, не стали бы доискиваться этих трёх тысяч или же сочли бы их похищенными Митей. Если же Митя не убьёт отца, то сам Смердяков сделает это. При этом Смердяков составил план убийства так, чтобы подозрение пало только на Митю, а он оставался вне всякого подозрения. В этом случае он получает те три тысячи и, кроме того, может рассчитывать на вознаграждение от Ивана. Этот план и был осуществлён Смердяковым, да так искусно, что следователи и прокурор угодили в ловко расставленные для них силки, в убийстве был заподозрен и предан суду Митя, а Смердяков остался вне всякого подозрения.

Кончил он свою злодейскую жизнь достойным образом. Узнав о том, что Иван вовсе не желал смерти отца и поэтому Смердяков не может ожидать от него ника-

кой награды, он возвратил ему похищенные три тысячи, как некогда предатель Иуда возвратил тридцать сребреников, а сам, подобно Иуде, повесился.

По М. Антоновичу

Смердяков – лакей и незаконнорожденный сын Карамазова – отца. Достоевский очень мало уделяет места в романе повествованию о детстве Смердякова, но ввиду тех особенностей, которыми отличается его личность в психологическом отношении, каждый отдельный эпизод из его детской жизни может представлять значительный интерес.

Смердяков – это пример человека, одержимого так называемым нравственным помешательством, которое характеризуется крайне слабым развитием нравственного чувства. Такого рода натуры весьма часто живут, не вызывая со стороны окружающих никакого предположения о болезненном состоянии их души и не представляя на поверхностный взгляд никаких резко обнаруживающихся расстройств. Ввиду этого весьма интересно подметить, какими проявлениями внутренней жизни отличается детство подобного рода субъектов, тем более что в силу своей прирожденности особенность их душевной жизни должна сказаться уже в самом раннем детстве.

Что же представляет детство Смердякова?

О детстве Смердякова в романе говорится следующее. Явившись на свет при самой ужасной обстановке, он случайно попадает на воспитание к слуге Григорию, человеку, правда, слишком серьёзному, даже немножко угрюмому и резонёру, но, во всяком случае, доброму и набожному. И сам Григорий, и его жена окружали ребёнка самой тёплой заботой. Но несмотря на это, мальчик Смердяков отвечает на теплоту отношений к нему со стороны стариков – воспитателей полной бесчувственностью к ним и, как выражается о нём Григорий, растёт «без всякой благодарности», ребёнком диким и необщительным.

Вторым симптомом душевной жизни Смердякова в детстве является его зверская жестокость. Он, например, очень любил вешать кошек и потом хоронить их с церемонией. Последняя затея особенно характерна. Она как будто свидетельствует, что в душе этого выроodka, обделённого присущей нормальному человеку способностью нравственных и эстетических чувствований, всё-таки была потребность хоть чем-нибудь заполнить эту пустоту в своей душе. Лишённый эстетических удовольствий, он ищет других, вполне соответствующих уровню его нравственного развития. Упомянутые проявления характера Смердякова в конце концов вызывают в честном и добром Григории полную антипатию к своему питомцу.

Столь же интересно было бы хоть отчасти уяснить, как шло умственное развитие Смердякова, но всё, что можно сказать по этому вопросу на основании данных романа, будет лишь предположительным заключением. Присматриваясь с этой точки зрения к личности Смердякова, как она изображена в романе в этот период жизни, нельзя не признать за ним до известной степени силы мышления. Но если заключать на основании его рассуждений, можно сделать вывод, что его умственная жизнь совершалась не вполне обычным порядком. Кажется, например, что ему был совершенно несвойствен путь индуктивного мышления и его мыслительные способности обнаруживались лишь в той деятельности ума, при которой мысль развивается исключительно сама из себя. Самым лучшим образцом его рассуждений служит его софизм об отречении от веры, с которого, собственно, и начинается его роль в романе. Это пример своего рода игры ума, не лишённого, правда, тонкости, но слишком ограниченного в своих приёмах и держащегося исключительно одного дедуктивного пути мышления. Основываясь на этом предположении об умственных способностях Смердякова, можно заключить, что в своём детстве он был вовсе лишён наблюдательности. Это один из так называемых тупых, или, иначе говоря, апатичных умов, которые отличаются полным безучастием к внешним впечатлениям и происходящей отсюда неспособностью к наблюдательности. Оттого и мыслительные способности

мальчика Смердякова если сколько-нибудь и прогрессировали, то исключительно в силу, так сказать, органического развития его души, при самом слабом участии внешних воздействий. Эта односторонность в настоящем случае тем более естественна, что целая область душевной жизни, а именно область нравственных и эстетических движений души, была ему совершенно недоступна. Само собой разумеется, что через это и общая сумма представлений и понятий в его душе была несравненно беднее, чем у нормально развивающейся личности.

Всё это выставляет Смердякова такого рода субъектом, для которого, очевидно, ничего не могут сделать ни школа, ни воспитательная обстановка семьи и для которого лучшее место было бы в каком-нибудь специально воспитательном учреждении для душевнобольных.

По П. Пользинскому

Ракитин

Семинарист Ракитин – отчаянный, сухой и бессердечный безбожник, индифферентен и глух даже к тем вопросам, которые волнуют вольнодумный ум Ивана Карамазова. Он ни во что не верит, никого не любит, не имеет никаких высших интересов. Он презирает ангела Алёшу, глумится над старцем Зосимой и всей монастырской братией. Его единственная страсть – страсть к деньгам, выше и желаннее которых для него ничего нет. Вопреки своей гуманности автор изобразил эту личность не человеком, а каким-то извергом, настоящим сатаной, в котором нет ни одной человеческой черты. Он чувствует ненависть и злобу к этому своему созданию, как к своему личному врагу и обидчику; это преступник, к которому нет жалости и сострадания и который не заслуживает прощения, потому что он хуже даже тех, кто мучит детей. Автор бывает чрезвычайно доволен собой, когда ему удаётся поддеть или уязвить Ракитина, поставить его в неловкое или глупое положение, унижить и опозорить публично. Рассмотрим, например, следующий случай. В торжественном заседании суда по делу Мити, при многочисленном стечении публики, Ракитин, давая свои показания, хвастался и пускал пыль в глаза своим либерализмом. Вслед за этим автор выводит на сцену Грушеньку и принуждает, на вопрос адвоката, показать, что её мать и мать Ракитина были родными сёстрами и что он постоянно просил её никому об этом не говорить. Итак, либерал Ракитин есть кузен блудницы! Какой позор! Ракитин побагровел; всё гражданское благородство его либеральных показаний, говорит автор, было на этот раз уже «окончательно похерено и уничтожено в общем мнении».

По М. Антоновичу

Ракитин – человек умный, как рекомендует его Достоевский, но до такой степени низкий и бессовестный, что способен делать не только подлости, но и большие глупости. В суде над Дмитрием Карамазовым он фигурирует в качестве свидетеля. Автор рассказывает: «Всю трагедию... преступления он изобразил как продукт застарелых нравов крепостного права и погружённой в беспорядок России, страдающей без соответственных учреждений. Словом, ему дали кое-что высказать. С этого процесса господин Ракитин в первый раз заявил себя и стал заметен; прокурор знал, что свидетель готовит в журнал статью о настоящем преступлении и потом, уже в речи своей... цитировал несколько мыслей из этой статьи, значит, уже был с нею знаком. Картина, изображённая свидетелем, вышла мрачной и роковой и сильно подкрепила «обвинение». Вообще же изложение Ракитина пленило публику независимостью мысли и необыкновенным благородством её полёта. Послышались даже два-три внезапно сорвавшиеся рукоплескания, именно в тех местах, где говорилось о крепостном праве и страдающей от безурядицы России».

После всего вышеизложенного становится ясным, что такое, хотя бы мимолётное, торжество Ракитина Достоевский не мог оставить без жестокого возмездия – ведь он и негодяем-то сделал Ракитина за эту самую «страдающую от безурядицы

Россию». И действительно, возмездие получилось блистательное. Ловкий адвокат, чтобы ослабить впечатление, произведённое показаниями Ракитина, искусными расспросами доводит до сведения публики, что он, этот самый благородный враг крепостного права и безурядицы, во-первых, будучи атеистом, печатает из подлости религиозные статьи; во-вторых, за двадцать пять рублей играл гнусную роль сводни. Удовлетворённый автор злобно замечает: «Господин Ракитин сошёл со сцены несколько подсаленный. Впечатление от высшего благородства его речи было-таки испорчено...» Но этого мало. Известно, что у Достоевского все действующие лица чрезвычайно пронизательны и все пророчествуют именно то, что нужно автору для дальнейшего развития событий. Вот какое пророчество изрекает Иван Карамазов Ракитину. Пророчество это, как опять-таки часто бывает у Достоевского, излагает сам Ракитин в разговоре с Алёшей: «Изволил (твой брат) выразить мысль, что если я-де не соглашусь на карьеру архимандрита в весьма недалёком будущем и не решусь постричься, то непременно уеду в Петербург и примкну к толстому журналу, непременно к отделению критики, буду писать лет десяток и в конце концов переведу журнал на себя. Затем буду опять его издавать и непременно в либеральном и атеистическом направлении, с социалистическим оттенком, с маленьким даже лоском социализма, но держа ухо востро, то есть, в сущности, дружа нашим и вашим и отводя глаза дуракам. Конец карьеры моей, по толкованию твоего брата, в том, что оттенок социализма не помешает мне откладывать на текущий счёт подписные денежки и пускать их при случае в оборот, под руководством какого-нибудь жидишки, до тех пор, пока не выстрою капитальный дом в Петербурге, с тем чтобы перевести в него и редакцию, а в остальные этажи напустить жильцов».

По Н. Михайловскому

Дмитрий, как человек полуграмотный, не знающий ни истории науки, ни истории происхождения материализма, полагает, что Ракитины – родные братья Клодам Бернарам, и что Бернары – то, то есть наука, и виноваты в появлении Ракитиных. Есть люди, готовые вообразить, что так думает и сам автор, но они глубоко ошибаются. Для чего же выведен Ракитин и что он такое?

Он выведен для того, чтобы показать, что спасение лежало далеко не в том воспитании, которое могли дать наши духовные семинарии и монастыри, хотя по недоразумению оно и называлось духовным; напротив, религиозность, вколачиваемая палками, а не любовью, могла создать только бездушных Ракитиных. Проанализируем этот персонаж Достоевского.

Ракитины порождаются не Бернарами, что ясно из того, что всю свою жизнь он провёл в семинарии и монастыре. Мистицизмы бывают разные: добрые и любящие, как у Алёши, злые и мстительные, как у Дмитрия или как у монаха Феропонта. Именно такой мистицизм старых бурс и семинарий породил Ракитина. Он воспитанник той самой бурс, в которой во имя исправления людей и очищения их от мистического начала отцы Феропонты и Дмитриии Карамазовы спускали с детей и юношей шкуры, забивали в них нервную систему и её восприимчивость, порождая одно бесознательное, чисто органическое озлобление и ненависть ко всему, что пахнет словами любви и всепрощения, ибо эти слова напоминали им только розгу да их избитые, иссечённые бока. А как известно, притупление способности страдать притупляет и способность сострадать, ибо человек, не чувствуя сам страданий, и в других не может их понимать. Но вся суть Ракитина именно в том, что он не понимает никаких чувств, кроме жажды наживы и чисто внешней блестящей жизни, добытой какими бы то ни было средствами, опять-таки свойство всех забытых и униженных, как мы видели на Фёдоре Карамазове и Грушеньке. Не в Бернарах и источник его подлости, а в том, что он совсем не чувствует, что от его подлости могут страдать люди, и потому не может ни жалеть их, ни раскаиваться и делает эти подлости с лёгким сердцем, ровно ничего не понимая. Он берёт Клода Бернара только ради полемики, потому что ко-

рень его «бернарства» в характере, то есть в притуплённой чувствительности к страданиям, выработанной бурсой; в то же время, где нужно, он поклоняется мистицизму, пишет житие Зосимы, посвящая его архиерею. Сегодня он мистик, завтра – материалист; сегодня будет издавать газету для крепостников, завтра станет социалистом – ему всё равно, ибо его цель – нажива: куда выгоднее, туда он и пристанет.

Как будто для доказательства той мысли, что не идеи и не Бернары виноваты в негодяйстве Ракитина, у автора выведен другой тип юноши – Коля Красоткин. Последний весь пропитан идеями «Бернаров» и при этом остаётся добрейшим, чутким созданием, родным братом Алёши по чувствам, и даже выше его в этом отношении. Его сострадательность столь высока, что ему, этому ребёнку, услышавшему, что Дмитрия ссылают невинно, хочется самому быть невинно сосланным, по его выражению «пострадать за правду». Оставаясь благоговейным читателем «Бернаров», Коля является преданным последователем Алёши именно потому, что в нём та же любовь к людям, те же сострадательность и чуткость, не зависящие от тех или иных теоретических убеждений.

Таким образом, чуткая восприимчивость к психологическим страданиям других, тонкое понимание и сочувствие чужим психическим движениям может быть у людей с самыми различными теоретическими взглядами на причины явлений. И этим – то прекрасен человек.

По Л. Оболенскому

Грушенька

Грушенька – это «инфернальная» женщина. Она ещё не появилась перед читателем, но видно, что именно вокруг неё собираются бури и грозы, которые разрешатся катастрофой. Старик Карамазов Фёдор Павлович, называет её обольстительницей, егезой, обманщицей и бесстыдницей, и тут же восклицает: «Отцы святые, она добродетельна!». Она – независимого характера, она для всех – неприступная крепость. «Эта «тварь», эта «скверного поведения женщина», – кричит он в келье старца Зосимы, – может быть, святее вас самих, господа спасающиеся иеромонахи! Она... «возлюбила много», а возлюбившую много и Христос простил...». Ракитин называет её «публичной девкой», признавая при этом, что она необычайная женщина. Иван Карамазов, великий в своём роде демониакальный философ, называет её зверем. Дмитрий Карамазов, главный герой романа, – великое сердце, которому доступны высшие экстазы и высшие озарения, – говорит о ней, в полноте страсти и любви, что она – «шельма», что она – «знаток в человеках», что она – кошка. Она не поражает своим внешним видом, но есть в ней какая-то страшная отравка, от которой люди становятся, как чумные. «Я говорю тебе: изгиб. У Грушеньки, шельмы, есть такой один изгиб тела, он и на ножке у ней отразился, даже в пальчике – мизинчике на левой ножке отозвался». Это – инфернальный изгиб всего её существа.

Это «самое фантастическое из фантастических созданий» наконец появляется перед читателем в тихом обаянии своей зловещей красоты. На небольшой сцене свидания Грушеньки с Катей, освещённой поистине инфернальным огнём, она выступает во всех своих существенных чертах. Сначала слышится из-за занавески её голос – нежный, несколько слащавый. Потом она выходит, «смеясь и радуясь». Это – «довольно высокого роста женщина... полная, с мягкими, как бы неслышными даже движениями тела, как бы тоже изнеженными до какой-то особенной слащавой выделки, как и голос её». Она подходит к Катерине Ивановне плавной, неслышной походкой. «Мягко опустилась она в кресло, мягко прошумев своим пыльным чёрным шёлковым платьем и изнеженно кутая свою белую как кипень полную шею и широкие плечи в дорогую чёрную шерстяную шаль». Ещё не представляешь себе лица Грушеньки, но порода этой женщины – хищная, кошачья, с горячей кровью плотоядного зверя – уже чувствуется в полной своей силе. Эта неслышная

крадущаяся походка говорит о какой-то особенной внутренней самоуверенности, о притаившейся жестокости, которая ласково заигрывает со своей жертвой, чтобы потом внезапно ошеломить её. При своей молодости – Грушеньке всего двадцать два года – она уже находится во всём своём цвету. У неё мощное тело, высокая грудь, широкие плечи, полная шея. Такова эта чисто русская красота, «многими до страсти любимая». Лицо у неё тоже белое, с «высоким, бледно-розовым оттенком румянца». Очертания его были как бы слишком широки, а нижняя челюсть несколько выдавалась вперед. «Верхняя губа была тонка, а нижняя... была вдвое полнее и как бы припухла». У Грушеньки чудесные густые тёмно-русые волосы, тёмные соболиные брови и «прелестные серо-голубые глаза с длинными ресницами». Ручка у неё маленькая, пухленькая. Она смеётся маленьким, нервным, звонким смешком. В её улыбке мелькает по временам «какая-то жестокая чёрточка». Вот и вся Грушенька, взятая извне – как будто бы только извне, а между тем очерченная уже вся целиком, как только это мог сделать художник с талантом Достоевского. Даны в линиях и красках материальные формы, в которых острые черты соединяются с мягкими, несколько расплывчатými. Светлые, нежные краски лица и шеи выступают в зловеще-чёрной роскошной раме шуршащего дорогого платья. И всё это, все эти данные – не более как живая человеческая психология в намёках, во внешних символах. Чего стоят одни эти губы – тонкая, злая верхняя губа и плотоядная, капризная нижняя, выступающая вперед и припухлая. Материал, необходимый для живописного изображения Грушеньки, весь налицо, и притом – с волнующей яркостью, как это бывает только у Достоевского. В этом истинном волшебстве идеалистического искусства материя начинает говорить живым языком души, становится какой-то особенной речью понятных для человека идей, нарушает своё молчание, вырывается из своей немоты. Линии и краски становятся как бы словами. Вот почему внешний облик Грушеньки как-то гипнотически привлекает к себе внимание: через этот облик говорит сфинкс, двойственность человеческой природы, единой только в своих метафизических глубинах.

Разгадывая Грушеньку, в её тихой хищной красоте, мы открываем её внутреннее демонское неистовство, её сатанинскую злобу, которая даёт ей крылья и для самообороны, и для страстных фантастических капризов. Мы проникаем в таинство борений добра и зла, Бога и красоты, и начинаем созерцать загадочные соотношения земли и неба.

Обращаясь к отдельным подробностям этой великолепной живописной характеристики, невольно останавливаешься на нежном, слащавом голосе и на изнеженных «до какой-то особенной слащавой выделки» движениях её роскошного тела. Здесь чувствуется что-то русское – в своих восточных элементах, что-то пассивное, томное, ленивое, при хищной уверенности в своей власти, что-то почти бесплечное относительно самоё себя. Её манерность, её певучий голос с растяжкой слогов и звуков, вся эта слащавость, вся эта утрировка собственных природных черт делает Грушеньку типичным явлением русской красоты – красоты рыхлой, неустойчивой, «одним словом – красоты на мгновение, красоты летучей». Достоевский сознательно рисует эту девушку именно чертами недолговечной, летучей красоты, в бурный период её жизни, который у русской женщины, лишённой деятельной и упорной силы языческих стихий, быстро проходит, приводя к совсем иным настроениям. «Знатки русской женской красоты, – пишет Достоевский, – могли бы безошибочно предсказать, глядя на Грушеньку, что эта свежая, ещё юношеская красота к тридцати годам потеряет гармонию, расплывётся, самоё лицо обрюзгнет, около глаз и на лбу чрезвычайно быстро появятся морщиночки, цвет лица огрубеет, побагровеет...» Русская inferнальная красота является кратковременным разгулом личного, богофобского начала перед безмерными восторгами иных, новых, богофильских очарований.

В сцене свидания Грушеньки с Катериной Ивановной эти два характера – один демонически красивый и обольстительный, верный себе в каждом своём inferналь-

ном изгибе, другой – самоуверенный и гордый, но лишь по-человечески самоуверенный и гордый, схватываются в борьбе, сначала скрытой, а потом откровенной, и показывают себя каждый в присущей ему мощи. Надменная Катя хочет как бы купить, обворожить своей лаской эту дикую кошку в человеческом образе. Она щедро и поспешно сыплет на Грушеньку преувеличенными похвалами и, слепо забега вперёд, высказывает уверенность в том, что Грушенька не выйдет замуж за Дмитрия Карамазова. Поднимая выше меры свою соперницу, почти возвеличивая её над собой, она, в сущности, и здесь проявляет свою надменность, своё презрение к этой падшей девушке, замаскированное особенным снисхождением и сочувствием к её судьбе, проникновенным пониманием её «фантастической головки», её «своевольного, гордого-прегордого сердечка». Грушенька осторожно пробует своим слащавым певучим голосом остановить этот несносный для неё, надоедливый фонтан пылкого красноречия, эти излишества преувеличенного великодушия и благородства: «Очень уже вы защищаете меня, милая барышня, очень уж вы во всём поспешаете». Присутствующий при этой сцене Алёша, этот вдохновенный мальчик, дальнозоркий и даже ясновидящий, чувствует в Катерине Ивановне фальшь человеческой приподнятости и всё неравенство борьбы между этой девушкой, расхोлившейся в своём сплошном «надрыбе», и притихшей в своей ярости Грушенькой. «Алёша краснел и дрожал незаметною малою дрожью». Но Катерина Ивановна, как конь, закусивший удила, несётся дальше. Почти уверенная в своей победе, она трижды целует прелестную, маленькую, пухлую «слишком, может быть пухлую» ручку Грушеньки, целует её и сверху, и в ладошку, как бы играя при этом лапкою невинного хорошенького котёнка. Она любит соперницей в её предполагаемое смирение и заливает её своей благодарностью за разумное, благоразумное отступление. А Грушенька смотрит на этот разыгрывающийся перед нею спектакль с невинно-весёлым выражением в лице, – невинными, ясными, как будто доверчивыми глазами. Она уже тихонько намекала Кате, что она «сердцем дурная», своевольная, самовластная. Она пыталась, не выходя из своего пассивного состояния, остудить опрометчивый пыл «милой барышни» и дать ей почувствовать свою настоящую природу. Её полуленивые, скрытно насмешливые, якобы самообличительные реплики, с их зловещим шелестом, не были услышаны Катериной Ивановной, завертывшейся в собственном вихре. Но вот настало решительное мгновение, и эта дикая кошка, эта пантера, неожиданным изгибом своей inferнальной натуры, выпрыгивает из засады и опрокидывает свою очень честную, но не очень умную жертву. Этот ужасный, обольстительно красивый изгиб, который прошёл через всё её тело, который по словам Мити, отразился даже на мизинчике её ноги, даёт себя чувствовать теперь с той же силой и с той же неизменностью в каждом её душевном движении. Это – полная параллель между строем души и строением тела, это – одна и та же хищно-демоническая красота в двух выражениях, обрисованных с одинаковой ослепительной яркостью. «Дайте мне вашу милую ручку, ангел-барышня», – нежно говорит она Катерине Ивановне. Уже при этих словах Грушеньки читателю становится жутко. «Вот я, милая барышня, – продолжает она, – вашу ручку возьму и так же, как вы мне поцелуете. Вы мне три раза поцеловали, а мне бы вам надо триста раз за это поцеловать, чтобы сквитаться» Она сразу даёт чувствовать, что до дна проникла в скрытно-надменную психологию Катерины Ивановны, что она уловила, с каким аршином та к ней подходит, и совсем не хочет ставить себя на один уровень с ней: если Катерина Ивановна трижды поцеловала ей руку, то, чтобы «сквитаться», чтобы достойно заплатить за это унижение паче гордости, она должна была бы поцеловать ей руку триста раз. Какая мудрая злоба слышится в этих словах, и какая победа предчувствуется на стороне этой ленистой русской вакханки! Она не боится измерить чужим аршином этот житейски-пошлый пафос расстояния между собой и Катериной Ивановной, потому что она знает, что это пафос дутый, ложный, бессильный, что истинное, природное могущество – на её стороне. «А затем пусть как Бог пошлёт; может, я

вам полная раба буду и во всем пожелаю вам рабски угодить. Как Бог положит, так оно и будет, безо всяких между собою сговоров и обещаний. Ручка-то, ручка-то у вас, милая, ручка-то! Барышня вы милая, раскрасавица вы моя невозможная!». Сквозь насмешку, сквозь яд притворного смирения, она даёт понять Кате, что та допускает в ней способность к «рабскому» подвигу. Законная невеста Дмитрия Карамазова, Катерина Ивановна не считает даже нужным сговариваться с ней, получить от неё какие-либо определённые обещания! В словах Грушеньки слышится тихий, но иступлённый смех над заносчивостью этих добродетельных людей, сильных в своей законной правоте, над лояльным Богом ординарных душ. Она медленно подняла к губам «милую ручку» Катерины Ивановны и вдруг задержала её у самых губ «на два, на три мгновения, как бы раздумывая о чём-то». «А знаете что, ангел-барышня, – вдруг протянула она самым уже нежным и слащавейшим голоском, – знаете что, возьму я да вашу ручку и не поцелую». Вот ошеломляющий удар этой пантеры. Жертва повержена, Катерина Ивановна своей бранью даёт почти вульгарный реванш на изящный смертоносный удар Грушеньки. Но теперь Грушенька упивается зрелищем её падения с тем же тихим самообладанием, с каким раньше смотрела на пылкий разгул её надменного благородства. «Что-то сверкнуло вдруг в её глазах. Она ужасно пристально глядела на Катерину Ивановну». Пристальный взгляд, устремлённый на поверженную жертву – это как бы последнее проявление её inferнального душевного изгиба, который проходит через всё её существо, от бессознательных глубин злого инстинкта до сознательной игры с окружающей жизнью.

Такова сцена, в которой впервые появляется Грушенька и в которой она уже вся стоит перед глазами во всех своих особенностях. Она уходит от Кати со звонким смехом и, обращаясь к Алёше, бросает следующие загадочные слова: «Я это для тебя, Алёшенька, сцену проделала. Проводи, голубчик, после понравится». Что это значит? Какое отношение имеет эта борьба двух соперниц к чистому сердцем Алёше? И почему поведение Грушеньки должно после понравиться ему? Слова эти не пустые, не случайные. Грушенька со своим глубоким самосознанием, со своей глубокой совестью, давно уже боится Алёши, этого воплощённого ангела, который служит живым укором её злобной натуре. Быть может, среди беспутных и неистовых героев карамазовского царства она особенно чутко ощущает в нём ту иную, некарамазовскую стихию, которую он несёт с собой, оставляя всё-таки Карамазовым. Душа её светлым звоном отклоняется на призывы этой некарамазовской стихии, потому что при всех своих противоречиях она не хаотична: в ней отчётливо разделились противоположные элементы личного и божеского начала. Когда в ней говорит личное, земное начало, оно раскрывается в своём чистом виде, во весь свой подъём, и достигает блеска истинной демонической красоты. Когда в ней возвышает голос божеское начало, оно тоже проявляется в своём чистом стихийном виде – без примеси рассудочного, головного богофильства, без примеси житейской морали, и тоже достигает своего неземного блеска. Алёша необычайно близок именно этому духовному элементу её существа, он мучит её через её собственную совесть, и потому она, находясь в своей демонской полосе, хотела бы «проглотить» его, победить, оболгать. В сцене с Катериной Ивановной она показала себя в полноте своей злой, хищной красоты, инстинктивно понимая, что этим она мутит в нём, в Алёше, его карамазовскую стихию, что рано или поздно эти злые её чары должны околдовать его, взять его: «потом понравится», – говорит эта опытная «обаятельница», уверенно играя с карамазовскими страстями. Пришибленная Катерина Ивановна кричит: «Это тигр!.. Её нужно плетью, на эшафоте, чрез палача, при народе!». А Дмитрий Карамазов, узнав про всю эту сцену от Алёши, «в болезненном каком-то восторге, в наглом восторге», так отзываясь на переданные ему слова Катерины Ивановны: «Так та кричала, что это – тигр! Тигр и есть! Так её на эшафот надо? Да, да, надо бы, надо, я сам того мнения, что надо, давно надо! Видишь ли, брат, пусть эшафот, но надо ещё сперва выздороветь. Понимаю царицу наглости, вся она тут, вся она в этой ручке высказалась,

инфернальница! Это царица всех инфернальниц, каких можно только вообразить на свете! В своём роде восторг!» Эту – царицу всех инфернальниц он и любит с бешеной страстью в её инфернальности, в её сатанинской наглости, в её фантастической злобе, в её красоте. Её красота инфернальна, потому что всякая красота, кроме той, которая ещё не родилась, которая медленно рождается в новых, ещё не проявившихся с достаточной силой, богофильских струях истории, – всякая красота инфернальна и достойна «эшафота». Но чтобы иметь право судить и осудить эту красоту, надо «сперва выздороветь», то есть войти в другую сферу, переродиться духом и телом. Когда воплотится на земле новая, богочеловеческая красота, в отличие от демонской, которую Иван Карамзов назвал бы человеко-божеской, – тогда всякая инфернальность, всякая злоба, всякое иступлённое развитие личного начала в богофобском направлении потеряет своё очарование перед людьми. Наступит новая эпоха в развитии человечества, и над ним раскроется новое небо. Без эшафотов, без плетей и палачей погибнет тирания старой, ветхой красоты. Одним небольшим словом Достоевский отмыкает, как волшебным ключом, двери, ведущие к новой бесконечности, и является провозвестником новых течений в жизни и искусстве. Он стоит на вершине, недостигаемой для ветхозаветных пророков русской литературы, и даже Лев Толстой, мощно разгребавший целыми годами землю около этого скрытого источника живой воды, не докопался до него. Этот источник брызнул из глубины только под ногами Достоевского.

В сцене у Грушеньки, к которой Ракитин по её просьбе привёл Алёшу, художник начинает показывать её с новой стороны. Она переживает страшную бурю. Пан Мусьялович, тот офицер, который пять лет тому назад обольстил и бросил её, худенькую, робкую, «жалкую сироточку», едет к ней. Она знает, что стоит ему кликнуть, свистнуть – и она поползёт к нему, «как собачка». Но обида по-прежнему горит в её душе, и кажется, что когда приедет «эстафет», она помчится в село Мокрое в своём пышном наряде, с ножом, чтобы отомстить за пережитые унижения. Это и есть та буря, которая теперь кипит в ней. Однако под этой бурей человеческого озлобления просыпается и уже проснулось её настоящее сердце – глубоко, заключающее в себе обе стихии человеческой жизни, добро и зло, небесный свет и адскую тьму. Несмотря на озлобление, которое вызвано мыслью о каких-то её поправных правах, она теперь находится в той струе, чистой и благодатной, которая может вынести её на совсем иную дорогу. Такая теперь «минутка» настала, что демон затих, что злоба кипит только на поверхности, только по памяти, а вся она – добрая, подобрешшая, с теми волнениями в душе, которые захватывают её глубже, чем она сама предполагает. Это – многозначительный момент её жизни, отражающийся во всей её внешности. Алёша замечает, что её обычная слащавость в выговоре как бы совсем пропала. Движения её, всегда изнеженные «до какой-то слащавой выделки», теперь скорые, прямые, добродушно-доверчивые. Через её внешнюю оболочку, которая живёт в ней одной жизнью с жизнью души, видишь всё, что в ней происходит. Не такая теперь «минутка», чтобы обольщать Алёшу! И хотя она садится к нему на колени и, «как кошечка», ластится к нему, и готова пить и немного подобоширить, – для читателя ясно, что хищная её натура захвачена теперь другими силами. Эта «страшная» женщина не пугает теперь. Она возбуждает в нём «совсем иное, неожиданное и особенное чувство, чувство какого-то необыкновенного, величайшего и чистосердечнейшего к ней любопытства, и всё это уже без всякой боязни, без малейшего прежнего ужаса». Причина этой внезапной перемены в его взгляде на неё лежит именно в ней, в Грушеньке, в её собственных теперешних настроениях. Её хищный замысел «проглотить» его как-то сам собой обезволился, обессилился, и она говорит – говорит правдиво, с её привычной женственной мягкостью, в которой есть что-то более великопепное, чем пылкий размах иных натур, – что она любит Алёшу «душой», что она, низкая, неистовая, любит его «по-иному». Ракитин недоверчиво поглядывает на эту странную игру Грушеньки в совершенно новых и смешных для него струнах, но Грушенька, впервые здесь, на страницах

романа, открывает ту правду, которая живёт не только в ней, но и во всяком человеке, и которая до сих пор только ещё порывается овладеть, — по своему, «по иному», — жизнью человеческой души, направить всю её историю в новую бесконечность. Она говорит те самые слова, которые многими, которые всеми говорят в иных случаях жизни, но которые в её устах внушают особенное доверие. Такой уж теперь час у неё, что она светло откланяется именно на то, что поддерживает в ней её добрую стихию. Узнав, что умер Зосима, она «вдруг, как в испуге, мигом соскочила с колен и пересела на диван». Алёша понимает, что это — рефлексивное, произвольное и потому особенно значительное проявление её лучшей, глубокой природы. Он пришёл к ней в критическую для себя минуту, готовый отдаться карамазовским страстям, а нашёл «сестру искреннюю, нашёл сокровище — душу любящую», душу, может быть, ещё непримиренную, но с живыми прикосновениями к высшим мирам. Кажется, что особенного в этом быстром движении прочь с колен Алёши, а между тем в нём есть нечто прекрасное — по-иному прекрасное, как проблеск волнующихся в душе святости, которого одного достаточно, чтобы человек оказался на суде высшей совести правым и спасённым. Одна злая баба за всю свою жизнь только раз подала нищенке луковку, и светлый ангел ради одной этой луковки сумел отстоять её перед Богом. Перед лицом Алёши чистое движение Грушеньки — такая же спасительная луковка.

Ещё две страницы романа, и эта дивная сцена наметит новые настроения Грушеньки с какими-то мерцающими перспективами впереди. Нужно сделать одну только маленькую оговорку: несколько штрихов этой сцены живо напоминают бурный разговор Настасьи Филипповны с Мышкиным в «Идиоте» и являются как бы повторением одного и того же художественного мотива. Грушенька спрашивает Алёшу: любит ли она ещё своего обидчика, простит ли его или нет? Быть может, за эти пять лет она пристрастилась к самой своей обиде, полюбила свою злобу. «Разреши ты меня, Алёша, время пришло; что положишь, так и будет. Простить мне его или нет?» Алёша, улыбаясь, отвечает: «Да ведь уж простила». И в самом деле, её злоба кипит только в нервах, а сердцем она любит своего обольстителя. «А и впрямь простила, — вдумчиво произнесла Грушенька. Экое ведь подлое сердце! За подлое сердце мое! — схватила она вдруг со стола бокал, разом выпила, подняла его и с размаха бросила на пол. Бокал разбился и зазвенел». Ясновидящий Алёша сказал ей правду. Её сердце любит пана Муссяловича, несмотря на его очевидную подлость; оно не имеет силы отворотиться от подлого, но любимого человека, ибо когда им овладела страсть, оно готово идти на всякое унижение. Она пьёт за своё бессильное в страсти, подлое сердце и, как это сделал некогда Митя, отдавшись своей унижительной страсти к ней, в безудержном порыве, смешанном с отчаянием, разбивает бокал. Она разбивает в эту минуту свою гордость, что-то человеческое, что-то непонятно сильное, и в звоне разбившегося бокала чувствуется трепетный звон её души, увлекаемой неведомыми стихиями к неведомым ещё событиям. Она не возьмёт с собой ножа, её сердце открыто для истинных внутренних трагедий: ему уже «сказалось» что-то, чем-то новым повеяло на него извне, из слов Алёши, как и изнутри.

«Эстафет» прискакал, и Грушенька летит в Мокрое, «словно пыльная», но гораздо более сильная, чем она сама сознаёт. Лицо Алёши осталось в её душе, какие-то светлые проблески мелькают в ней и в последнюю минуту она кричит голосом, полным рыданий, что был-таки «один часок» в её жизни, когда она любила Митю — благородного во всех своих карамазовских страстях Митю. Этот «часок» и был первым деятельным моментом в её начинающихся преобразованиях, первым просветом в иное будущее. Действительно, в Мокром, мгновенно пережив полное разочарование в пане Муссяловиче, обрюзгшем и ополшвшем за протекшие пять лет, Грушенька открывается во всей своей духовной красоте. Она быстро вступает на ту высоту, на которую можно подняться только мощным разбегом, а не постепенными прозаическими усилиями рассудочной добродетели. Как только с её глаз упала завеса, как только она почуяла, кто новый, истинный и отныне вековечный герой её сердца, она входит в новое состоя-

ние и по-новому глядит на себя и на окружающих. Она пьёт шампанское и даёт чувствовать своему соколу Мите, кого она теперь любит. Начинается пир, похожий на бред, начинается вакханалия, в которой звучат, однако, нежные струны умилённых восторгов. Всё пляшет кругом, а Грушенька, отуманенная вином и своими настроениями, сидит в кресле, не переставая «ласковым горячим глазком» следить за Митей. И вот иллюзия, создаваемая искусством величайшего художника: Грушенька сидит среди общей пляски неподвижно, а между тем кажется, что она тоже пляшет среди других – пляшет русскую, с плавными, едва уловимыми движениями лебедя, помахивая белым платочком. Митя постоянно подходит к ней, уходит и опять возвращается, а она сама полна такого возбуждения, такой страстной жизненной пульсации, что читатель как бы ощущает её в ритмическом движении пляски. Сквозь эту вакханалию видна вся её блаженная душа. Она вызвана из глубины вином, этим древним, но вечно юным напитком, без которого не может обойтись ни один человек, ищущий забвения от скорбей, услады своим печалем. Всё кажется ей теперь, в этом охватившем её экстазе, достойным жалости и любви. Она видит мир именно таким, каков он есть в действительности, но каким его нельзя видеть сквозь тусклые понятия рассудка, каким можно его видеть только в свете безумного вакхического умиления. «Кабы Богом была, всех бы людей простила, – говорит она. – «Милые мои грешнички, с этого дня прощаю всех»... Злодейке такой, как я, молиться хочется! Митя, пусть пляшут, не мешай. Все люди на свете хороши, все до единого. Хорошо на свете... Хоть и скверные мы, а хорошо на свете. Скверные мы, а хорошие, и скверные и хорошие...» В бреду опьянения она внутренне сливается с целым человечеством, видя его зло, но побеждая это зло своим вдохновенным прощением. В её сердце совершается религиозный культ объединения со всеми людьми. «Нет, скажите: я вас спрошу, все подойдите, и я спрошу, – восклицает она, – скажите мне все вот что: почему я такая хорошая? Я ведь хорошая, я очень хорошая. Ну, так вот: почему я такая хорошая?» Она внезапно увидела себя среди всеобщего веселого и веселящего кружения, в своей настоящей глубине, в той глубине, где все души хороши, где все велики в своей малости, где все чувствуют на себе чью-то незримую ласку. Через эту свою светлую глубину Грушенька увидела весь мир и всех людей в нём. И ей захотелось плясать. Она «закинула было головку, полуоткрыла губки, улыбнулась, махнула было платочком и вдруг, сильно покачнувшись на месте, стала посреди комнаты в недоумении». Читателю достаточно на одну минуту увидеть её в позе пляски, чтобы вся предыдущая иллюзия – обманчивое видение пляшущей Грушеньки – завершилась реальным штрихом. Большого художнику не надо.

Сцена, предшествующая началу великих мытарств Дмитрия Карамазова, заканчивается несколькими ослепительными пятнами художественного света. В целой русской литературе нельзя найти страницы, которая превосходила бы это место в романе Достоевского своей поэтической красотой. Это – галлюцинация русского гения, русской души, наполняющей морозные пространства своим собственным звуком. В опьянении страсти, не забывающей, однако, утончённых внутренних приличий, Грушенька лепечет: «Что нам деньги? Мы их и без того прокутим... Таковские чтобы не прокутили». Чудесная черта, которая разрешает прежние тяжёлые недоумения читателя: Грушенька, копившая деньги и знавшая толк в деньгах, совсем не скупа. Её злостная жадность и скупость были только местью обществу за свою незащищённость. «А мы пойдём с тобою лучше землю пахать. Я землю вот этими руками скрести хочу... Я не любовница тебе буду, я тебе верная буду, раба твоя буду, работать на тебя буду». Какое очарование создаёт художник для души читателя: красота сама добровольно отрешается от своей гордыни, чтобы идти на трудовую жизнь. «В Сибирь, коли хочешь, всё равно... работать будем... в Сибири снег. Я по снегу люблю ехать... и чтобы колокольчик был... Знаешь, коли ночью снег блестит, а месяц глядит, и точно я где не на земле...» В полузабытьи Грушенька слышитбряканье приближающихся колокольчиков – это чины полицейского и судебного ведомства едут, чтобы

схватить Митю, но она отдаётся своим лучшим грёзам: она едет с любимым человеком по широкой, снежной равнине при свете луны, при звоне колокольчика. Она любит снег и звон колокольчиков, и когда снег блестит при свете месяца, ей кажется, что она не на земле. Белый свет, тихий и яркий, и беспредельная ширина равнины уносят её в сказочные миры, в царство фантастических видений.

Инфернальные изгибы Грушеньки пропадают, и на глазах читателя в ней быстро поднимается другая стихия. Она ещё не знает, что Митя невинен, – напротив, она, как и все, при первых известиях о катастрофе, думает, что он и есть убийца. Но она сразу решает, что разделит его участь, что это она во всём виновата. Она бросается в ноги исправнику и кричит: «Вместе казните нас, пойду с ним теперь хоть на смертную казнь!» Инфернальная женщина в одно мгновение делается великой страдальницей, какой-то почти святой мученицей. Она не сдерживается в проявлениях своего горя, её движения полны трагического размаха и показывают, что всё её существо, душа и тело, проникнуты героической решимостью. Присутствующий при дознании исправник проникается каким-то благоговением к её страстотерпческому настроению. «Она христианская душа, – говорит он, – да, господа, это кроткая душа и ни в чём не повинная». Она уже не только для Мити, но и для всех окружающих блистает чистым светом на своей новой высоте. На допросе предварительного следствия она ведёт себя с настоящим самообладанием и достоинством. Её природная гордость даёт себя чувствовать в её изящно сдержанных жестах, в строгом выражении угрюмого лица. Она кутается в свою прекрасную чёрную шаль, и – маленькая чёрточка – эта дорогая шаль вызывает в воображении прежний облик инфернальной Грушеньки, который как бы сливается с обликом Грушеньки возрождённой. Происходит краткая, но дивная по своей нравственной прелести сцена. Во время допроса Грушеньки Митя внезапно встаёт со стула и говорит: «Аграфена Александровна, верь Богу и мне: в крови убитого вчера отца моего я неповинен!». В ответ на эти торжественные слова Грушенька тоже «привстала и набожно перекрестилась на икону». «Слава тебе Господи! – проговорила она горячим проникновенным голосом... – Как он теперь сказал, тому и верьте». Это набожное знамение креста – непосредственное выражение её цельной веры. Узнав в сцене с Алёшей о смерти Зосимы, она тоже набожно перекрестилась. И в сцене, разыгравшейся в Мокром, во время общего разгула, полуопьянённая Грушенька иногда подзывала к себе одну из пляшущих девушек, «целовала её и отпускала или иногда крестила её рукой»: рефлексивный, привычный с детства жест, показывающий, что в душе её самое веселье углубляется до религиозного экстаза. То облегчение, которое она испытывает теперь, узнав о невинности Мити, тоже имеет высший смысл и невольно символизируется знаменем креста, которое является как бы безмолвной благодарственной молитвой. Целое мировоззрение, и притом мировоззрение трагическое, проявляется у Грушеньки в этом пластическом символе бессознательно, потому что она вся принадлежит народной стихии. Она непосредственно верит в Бога, как непосредственно верит Мите. Она не требует никаких доказательств, ибо она видит и слышит душой ту правду, которой нельзя открыть никакой «казёнщиной допроса», никакими внешними процессуальными средствами. В этом отношении она стоит на одной высоте с Алёшей, который тоже убеждён в невинности Мити, потому что эта невинность написана для него на лице Мити. Он читает его душу сквозь его лицо. Одной своей верой в невинность Мити Грушенька сразу отторгается от грубого житейского мира с его бессильной слепотой и глухотой к внутренней правде, с его склонностью вечно копаться в ворохах поверхностных и противоречивых рассудочных доказательств, в грудах юридически осязаемых фактов, лишённых души и смысла. Больше, чем что-либо, людей разъединяет их взаимное недоверие, их неумение говорить душею к душе. Грушенька же умеет проникать в чужую душу по первому её призыву, по первому её крику о помощи, вот почему в эту минуту среди обступивших Митю слепых и враждебных сил она одна сияет высшим светом, высшей красотой. Своё непоколебимое убеждение

в невинности Мити, сложившееся таким странным для людей путём, она высказывает и на суде, не прибавляя к нему никакого рассудочного доказательства.

Несколько строк прощания с Митей в Мокром перед его увозом в тюрьму имеют тот же народно-возвышенный характер. Грушенька «глубоко поклонилась Мите». «Сказала тебе, что твоя, и буду твоя, пойду с тобой навек, куда бы тебя ни решили. Прощай, безвинно погубивший себя человек!». Губы её задрожали, из глаз потекли слёзы. Те силы природы, которые давали себя знать в её inferнальности, сделают её теперь в любви к Мите не пассивной сострадалицей, а истинной героиней. Её прежняя сатанинская мощь и красота, переродившись, станут новой мощью и новой красотой.

Она в самом деле переродилась, стала совсем иной, и то, что есть в ней злобного, лично протестантского, проявляется только в соприкосновении с людьми, презирающими и унижающими её. Что-то «смирненное, благое» прошло в её душу. Она не потеряла своей молодой весёлости, но «какая-то тихость» разлилась по всему её существу. Она ощутила истинного Бога в своей душе, и увидела себя в своей малости перед новыми святынями. Митя, который прежде страстно любил её за «инфернальные изгибы», теперь благоговеет перед нею. Он принял «всю её душу в свою душу и чрез неё сам человеком стал», но в то же время он безумно ревнует её, ревнует, несмотря на всё своё стремление окончательно воскресить себя. А Грушенька так мала и дурна в своих глазах, что, сама ревнуя его к Кате, видит в его ревности что-то «нарочное», некоторое умышленное желание поставить её, падшую женщину, на одну высоту с женщинами безупречными, которых обыкновенно ревнуют. Это та же психологическая черта, что и в натуре Настасьи Филипповны, та же самоумалительная тенденция, та же бесконечная прелесть неотступной нравственной самокритики. Она несёт в себе, как и Митя, русского Бога и умеет служить ему только по-русски. «Она русская, вся до косточки русская», – восклицает Митя. Она несёт в себе истинного Бога и истинную трагедию – борьбу чистейшего, чисто психологического демонизма с мягкими, добрыми, умиленными настроениями. Можно сказать, что в этой борьбе она очистила своим духовным креплением самое это демоническое начало своей души и страшно сузила его владычия. Оно даёт себя чувствовать только в минуты самообороны. Явившись на суд – по-прежнему одетая в чёрное, со своей прекрасной чёрной шалью на плечах, – она проходит к председателю, не смотря по сторонам, со злым, сосредоточенным лицом. Она чувствует на себе взгляды пошло любопытствующей, презрительно настроенной к ней толпы, и в её плавной, неслышной походке опять невольно появляется некоторая выделанная слащавость, «маленькая раскачка» на ходу, как у хищного зверя. Но её поведение сдержанно. Кратко повторяет она свою ни на чём не основанную, однако непреодолимую уверенность в невинности Мити, лишь мгновениями обнаруживая всю невыносимость своих страданий. Она вся слилась с Митей, она инстинктивно слышит правду в его вдохновенном бреде и в его «гимне» Богу, хотя, при малой своей интеллигентности, «ничегошеньки» не понимает в его запутанных логических построениях.

В последний раз художник показывает нам Грушеньку с чертами её прирождённой inferнальной гордыни. Катерина Ивановна в присутствии Мити и Алёши просит у неё прощания, но Грушенька чувствует, что это говорят одни только «гордые уста» её, и даёт ей злобный отпор, проникнутый «омерзением». И сама Катерина Ивановна ещё раз ощущает всё её безмерное превосходство над собой. К её дикой злобе примешивается совершенно произвольное восхищение перед Грушенькой, которая во всём и всегда идёт впереди других людей, со своей полной естественностью, с внезапными, непосредственными выражениями своей трагически двойственной природы.

Вся история Грушеньки, с её личными страданиями и страданиями, которые она вызывает, есть как бы психология красоты, её жизненное странствование среди людей. Достоевский даёт нам в этом образе, как и в образе Настасьи Филипповны, поистине величественную философию красоты – величественную потому, что в этой философии нет ни одной сентиментальной черты, а всё, от начала до конца, трагично. В

противоположность наивно-оптимистическим взглядам на красоту, как на нечто не только эстетически превосходное, но и нравственно благое, Достоевский смотрит на красоту как на злое, хищное, демоническое начало. В самом человеке она является источником трагического раздвоения и борьбы личного принципа с безличным, божеским; гордыни со смирением. А в обществе она порождает бури страстей и сладострастия. «Красота — это страшная и ужасная вещь! Страшная, потому что неопределимая, а определить нельзя, потому, что Бог задал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут». Таков взгляд Достоевского на красоту.

Изливаясь перед Алёшей на тему о красоте, Дмитрий Карамазов восклицает: «Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей». Вот опять художественное откровение, требующее самого осторожного истолкования. Что красота, как дьявол, вызывает на борьбу Бога и возбуждает такую же борьбу вокруг себя — это ясно само собой. Но вот вопрос: какие силы в человеке вооружаются на эту борьбу? Достоевский говорит: поле этой битвы — сердца людей. Этим он как бы хочет сказать, что источник человеческой гордыни там же, где рождается человеческое смирение и умиление. Зло и добро — оба таинственны, оба страшны в своей таинственности, оба рождаются в бессознательных глубинах души. Именно там, в этих глубинах, рождается молитва и рождается проклятие. И то и другое — мистического происхождения. Одно есть положительная мистическая сила, другое — отрицательная. Поистине можно сказать, что Достоевский достигает в этих немногих словах Дмитрия Карамазова небывалой ещё в русской литературе глубины.

«Красота! — восклицает Дмитрий Карамазов. — Перенести я притом не могу, что иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом содомским». Как бы ни было неприступно человеческое сердце, в стихийных натурах, в карамазовских натурах, «все противоречия вместе живут», все влечения души достигают её бессознательных глубин и действуют с таким напряжением, что вся она охватывается как бы общим пожаром. Человеку нужно, чтобы он горел, чтобы в нём был пожар, и когда он горит той или другой любовью, той или другой страстью, он уже не имеет возможности разобраться, какая именно сила им управляет в данную минуту и какая из этих сил ближе его сердцу. «Ещё страшнее, — продолжает Дмитрий Карамазов, — кто уже с идеалом содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его, и воистину, воистину горит, как и в юные, беспорочные годы». Это и есть внутренняя жизнь истинно трагических натур, с их падениями и вечными протестами сердца, которые поднимают их над сладострастными упоениями содомской красоты. На таких именно трагических натурах и видна вся неприступность, вся беспорочность человеческого сердца. «Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил. Чёрт знает что такое даже, вот что!». Несоединимые между собой миры вмещаются в человеческой душе, и краткосрочная жизнь полна почти невыносимой безмерностью. Кажется, что маленький человек, маленький в своём положении среди других, маленький в своих делах и замыслах, не может всё равно обнять своего собственного внутреннего содержания. С какой же целью даны ему все эти безмерности, если всё окружающее ждёт от него во всём прозаической меры и скромничьего самоотречения в такт житейским обиходам, всегда пошлым, всегда мелким, всегда проникнутым низменными самообманами? Казалось бы, полезнее сузить человека! Вот ирония над миром людской ограниченности, которая сверкнула в словах Дмитрия Карамазова и которая великолепно передаёт почти сатанинский смех самого Достоевского.

По А. Волинскому

Катерина Ивановна

Образ Катерины Ивановны мелькает перед глазами в каком-то вихре. Его трудно уловить, полностью ощутить и понять. Но, тем не менее, этот образ всё-таки по мере чтения романа выясняется и разгадывается во всех своих существенных чертах.

С самого начала Достоевский даёт нам чувствовать, что в этой девушке нет хищной силы, и что красота её, о которой говорят все герои романа, — иного типа, чем красота Грушеньки. Катя — существо не трагическое, несмотря на вечное кипение её гнева. Она имеет много общего с Аглаей: обе эти девушки являются яркими драматическими фигурами посреди развёртывающейся вокруг них истинной трагедии человеческих страстей, для которых сами они не создают никаких двигателей. Вспоминая о ней, Алёша сознаёт, что «не красота её мучила его», а что-то другое — человеческие страдания, которые он угадывает в ней. Маленькая чёрточка, но в ней есть совершенно определённый намёк на суть её натуры. Её первая встреча с Дмитрием Карамазовым, как она представляется в его рассказе Алёше, уже полна того материала, из которого сложится драма её жизни. Воспитанница аристократического столичного института, «раскрасавица из раскрасавиц», царица балов и пикников, она сталкивается с бесшабашно-распутным армейским офицером Дмитрием Карамазовым, и между ними с самого начала возникает борьба самолюбий: «Я такой молодец, а она не чувствует!». На этой почве у Дмитрия является желание унижить «гордячку», и когда ей в критическую минуту приходится секретно прийти к нему за деньгами для спасения отца, между ними происходит настоящая почти безмолвная схватка, опять-таки на почве человеческого самолюбия. Из этого момента, из этой схватки двух самолюбий, двух гордостей, выливается вся история её отношений к Дмитрию Карамазову. Она оказалась вдвойне униженной им. Подчинившись его капризу, его требованиям секретно прийти за деньгами, она сломала свою гордость: она шла к презренному армейскому офицеру, готовая на великую жертву, готовая поквитаться за одолжение своей красотой. Но армейский офицер — в странном для него порыве — перешагнул через эту гордость, через эту уже приготовленную великую жертву, как бы пренебрегши ею. Спрашивается, что же случилось и почему так изменились inferнальные планы Дмитрия Карамазова? «Она вошла, — рассказывает он, — и прямо глядит на меня, — тёмные глаза смотрят решительно, дерзко даже, но в губах и около губ, вижу, есть нерешительность». Она сказала несколько отрывочных слов, «не выдержала, задохлась, испугалась, голос пресёкся, а концы губ и линии около губ задрожали». Несколько строк этого рассказа, — а между тем художник уже дал нам живой образ красоты, — красоты как бы чересчур человеческой, которую, быть может, следовало бы назвать каким-нибудь другим именем, ибо она не возбуждает никаких страстей, никаких разладов ни в себе, ни в других, — словом, не действует так, как действует настоящая красота. Тёмные глаза Катерины Ивановны смотрели решительно и даже дерзко, но эта решительность и дерзость обличают только искусственный подъём воли, чрезмерное напряжение, которое сказывалось дрожью губ. Именно в её губах, в очертании рта есть что-то пленительное, но мимолётно-пленительное, лишённое упорства, самобытной силы или вызывающего, раздражающего самообладания. Действительно, в той же сцене она сразу обнаруживает свою природную слабость, свою робость перед чуждыми ей inferнальными стихиями, которая обуздала благородного в основе Митю. Уже укушенный в сердце «фалангою», он, тем не менее, почувствовал желание пощадить Катю и если сразиться с нею, то только на почве благородства. «Ведь красавица. Да не тем она красива тогда была. Красива она была тем в ту минуту, что она благородная, а я подлец, что она в величии своего великодушия и жертвы своей за отца, а я клоп!». И приготовленная для него жертва оказалась ему ненужной. Он молча передал ей пакет с деньгами, отворил дверь и «отступя шаг, поклонился ей в пояс почтительнейшим, проникновеннейшим поклоном». Вот этот сокрушительный для неё шаг через всю её гордость, человеческую и женскую, — вот ошеломляющий по своей неожиданности поступок Мити, требующий немедленного реванша. Отныне эта избалованная гордая девушка охвачена на всю жизнь великим, но бессильным гневом. Она растерянно посмотрела Дмитрию в глаза и «вдруг, тоже ни слова не говоря, не с порывом, а мягко так, глубоко, тихо склонилась вся» и опустилась к его ногам — «лбом до земли, не по-

институтски: по-русски». Это единственная расплата, которую она могла надумать в эту минуту.

Во всех эпизодах романа, связанных с Катериной Ивановной, видна эта черта уязвлённой гордости. Она всеми силами хочет взять верх над Дмитрием Карамазовым, над объективностями, и потому всё, что она делает, имеет характер какого-то вызова судьбе – «вызова в беспредельность», ибо сама она беспредельно унижена. Она ищет нравственного подвига по отношению к оскорбившему её человеку, чтобы поднять себя в собственных глазах. Она хватается за «великодушную идею», хотя внутри, как человек, как женщина, она вся проникнута гневом, негодованием, потребностью реванша. Она неестественна в усилиях своего великодушия, ибо это великодушие пришло к ней головным путём, как орудие спасения для её гордости, а не родилось легко и незаметно, неведомо каким путём, в неведомых глубинах её существа. Вот почему она так напряжена в своих подъёмах, вот почему вся её жизнь есть сплошной надрыв. Когда подвиг является не результатом непосредственного влечения, а результатом надуманной мысли, рассудочного убеждения, внушённого разными идеями и жизненными или книжными образцами, он создаёт вокруг себя одни только психологические осложнения и нравственную духоту. Жертва, принесённая с насилием над собственной природой, с надрывом, никем, в сущности, не принимается с лёгким сердцем, ибо истинная жертва произвольно выливается из души, как свет из своего источника, вызывая повсюду, опять-таки произвольно, радостный сочувственный отклик. «Она свою добродетель любит, а не меня», – говорит о ней Дмитрий Карамазов. Она «жизнь и судьбу свою изнасиловать хочет». Она «капельку декламирует». Всё её поведение по отношению к Мите может показаться какой-то особенно возвышенной любовью, любовью всепрощающей и всеспасающей, а между тем «один часок» любви Грушеньки – бес-сознательной, непосредственной, хищной – стоит больше всего её великодушного надрыва. Нет в ней простоты, нет в ней цельности, нет в ней искренности перед самой собой, ибо под всем её пафосом скрывается «нечто, с чем нельзя никакой женщине примириться», великая обида, – обида отвергнутой жертвы, обида не затронутой, но воспламенённой ею страсти. Увидев её вместе с Иваном Карамазовым, Алёша вдруг постигает ту тайну её жизни, в которой она не решается признаться самой себе. «Позовите сейчас Дмитрия, – говорит он... – и пусть он придёт сюда и возьмёт вас за руку, потом возьмёт за руку брата Ивана и соединит ваши руки. Потому что вы мучаете Ивана, потому только, что его любите... А мучаете потому, что Дмитрия надрывом любите... внеправду любите, потому что уверили себя так...» Иван Карамазов, который с какой-то демонской суровостью играет на струнах её души, в эту минуту отвергает «озарение» Алёши, но через некоторое время, в искренней беседе с ним, вполне подтверждает его слова. «Дмитрий только надрыв, – говорит он. – ...ей нужно, может быть, лет пятнадцать аль двадцать, чтобы догадаться, что Дмитрия она вовсе не любит, а любит только меня, которого мучает». Таким образом, все знают, все чувствуют искусственность её подвигов в пользу Дмитрия. Даже госпожа Хохлакова понимает это. Одна Катерина Ивановна не сдаётся, доходя в своих надрывах до «какого-то бледного, вымученного восторга». Она хочет спасти Митю во что бы то ни стало, вопреки его собственным душевным потребностям, она будет работать над его спасением даже в том случае, если он женится «на той твари», то есть на Грушеньке. «Я обращусь лишь в средство для его счастья (или как это сказать), в инструмент, в машину для его счастья, и это на всю жизнь... Вот всё моё решение!» – восклицает она с некоторой произвольной аффектацией, – не так «надломленно и вымученно», как это вышло бы у других, но всё-таки надломленно и вымученно, с новым вызовом собственным силам, собственному долготерпению. Художник, который всё время следит за своей героиней с почти явным скептицизмом, прямо подчёркивает ненатуральность выражений Катерины Ивановны, её скрытое раздражение и «потребность погордиться».

Но гордость Катерины Ивановны – есть ли это гордость inferнальной природы или же это гордость чисто человеческая, чересчур человеческая? На допросе предварительного следствия Митя говорит про неё, что это – тоже («inferнальная душа и великого гнева женщина»). Но и в эту минуту, когда его душа ходит по мытарствам, как и во всякое другое время, этот человек всё видит в красках собственной внутренней жизни. Он считает гнев Катерины Ивановны великим гневом, потому что чувствует великую вину свою перед ней, потому что он постигает, из каких глубин он сам нанес ей оскорбление. Но гнев этой женщины не так велик, не так глубок, как это кажется Мите. Он не исходит из бездн inferнальной природы, ибо, при всей склонности к уравниванию, изыскивая лишь поводы для выражения своей природной злобы. В отличие от Грушеньки, Катерина Ивановна не живёт стихийными силами – стихийной злостью, как и стихийной любовью. Её гордость, её потребность в реванше, можно сказать, охватывает всё её существо, всю её жизнь и потому кажется великой, но источник её настроений лежит в её человеческих понятиях, оскорблённых, сбитых со своего первоначально ровного пути, и потому эти настроения, сами по себе, как таковые, не велики, не глубоки, никогда не доставляют ей даже минутного торжества, никаких inferнальных отряд. Она тяжела для себя, она тяжела для других.

В сцене с Грушенькой, которую она возмечтала «околдовать», её гордость обнаружила свою полную несостоятельность: inferнальная злоба Грушеньки, с её слащавою раскачкой в движениях и словах, показала, что весь пафос, всё самовластие Катерины Ивановны – какие-то детские силёнки, ничтожные при всём своём внешнем размахе. Она вся живёт предвзятыми понятиями, смотрит на мир сквозь эти понятия, сквозь бред и мечту своего бескрылого, несколько сентиментального воображения, и потому её впечатления от действительности, её восприятия не захватывают сути жизни. Столкнувшись с Грушенькой, она сразу распланировала её и все свои надежды на неё по-своему. Грушенька оказалась ей «доброй, твёрдой, благородной». Эта добрая, твёрдая Грушенька должна сразу понять её, проникнуться её спасительными намерениями и, самоотверженно отказавшись от Мити, уступить ей дорогу. Грушенька «как ангел добрый, слетела сюда и принесла покой и радость». Эту хищную птицу, которая взвивается в небо со своей живой добычей, Катерина Ивановна принимает за мирного, кроткого ангела! Даже в последнюю минуту, когда Грушенька уже сладострастно готовится запустить в неё свои когти, она видит в её глазах одно только «простодушное, доверчивое выражение», одну только «ясную весёлость» и – ничего другого.

Но вот ещё один штрих в этом свидании двух женщин, штрих великолепный, почти таинственный, но страшно важный для понимания героев карамазовского царства. Говоря с Алёшей о Мите, она не допускает, что Митя женится на Грушеньке. «Разве Карамазов может гореть такую страстью вечно? Это страсть, а не любовь». Только тот, кто нашёл ключ к разгадке великого художественного секрета Достоевского, кто понял, из каких контрастов он творит своих трагических героев, кто уловил его взгляд на красоту, – заметит и оценит этот его намёк на истинную природу Катерины Ивановны. В царстве Карамазовых, где всё безудержно, где любовь и страсть сливаются в одном экстазе, где страсть и есть любовь, – она одна является какой-то чужестранкой в своём бескрылом благородстве, со своими программными разграничениями между влечениями сердца и порывами инстинкта. Она не возбудила в Мите никаких страстей, но она хотела бы утешить своё самолюбие тем, что это и не важно, ибо истинная любовь не в страстях, ибо страсти рождаются из какого-то низменного и случайного источника. В ней самой нет того, что называется истинными страстями. Потому-то она так поверхностно судит о страстях и потому же она «не отдала себя в жертву всю» даже Ивану Карамазову, несмотря на всю его страсть, несмотря на весь его чисто карамазовский «безудерж желаний». Потому же Алёше, который также несёт в себе карамазовскую стихию, приходит в голову, что она не любит ни Дмитрия, ни Ивана – не любит

настоящей, демонически страстной и демонически могучей любовью. Её гордость бес­ сильна во всех её отношениях к Дмитрию и так же бессильна в её отношениях к Ивану.

В сцене, где Иван с дьявольским остроумием почтительно рисует ей картину её настоящей и будущей внутренней жизни, уязвляя её при этом в созданных ею святых, она тоже не умеет подняться на настоящую высоту. Она вовсе не отвечает на слова Ивана, потому что ничего не может противопоставить его ослепительному уму. Она утешает себя мыслью, что она окружена истинными друзьями, которые никогда не оста­ вят её. Но вдруг она узнает, что Иван завтра же уезжает в Москву. «Завтра в Москву! – пере­ косилось вдруг всё лицо Катерины Ивановны, – но... но Боже мой, как это счастливо! – вскричала она в один миг совсем изменившимся голосом и в один миг прогнав свои слёзы, так что и следа не осталось». Ясно, что этот внезапный отъезд Ивана составляет для неё настоящее горе, что этот отъезд оскорбляет её: лицо её пере­ косилось. С обычной стремительностью порыва она прячет свою обиду, но прячет опять – таки неудачно, не тонко, наивно. Она не может быстро сообразить, что слишком поспешно надетая ею маска могла бы пригодиться и обмануть кого – нибудь только через некоторое время и что её чрезмерная поспешность и выдаёт её. Она тут же спохватывается и начинает делать «с милой светской улыбкой» какие – то искусственно любезные оговорки, объяс­ няя, почему именно она обрадовалась поездке Ивана. Но это уже явная, сплошная аф­ фектация. Такова её гордость, вечно уязвляемая, вечно напряжённая, всегда бессильная в отношениях с истинными героями карамазовского царства.

Всё поведение Катерины Ивановны накануне судебного разбирательства и на суде имеет тот же характер напряжённой гордости, которая терпит, однако, новое поражение. Митя знает, что она пожелает «с натуги» исполнить весь свой долг до конца. В самом деле, она ещё не решила, как быть со своими показаниями, потому что во всём этом деле для неё на первом плане – не сама справедливость, не правда совершившейся катастрофы, а всё тот же вопрос самолюбия, весь великий гнев её жизни, который может наконец получить то или иное разрешение. Она не верит в душе, что убийство старика Карамазова совершено Дмитрием, но в негодовании на Ивана в одной из её вечных ссор с ним, «озлившись», она кричит ему, что он, Иван, убедил её в виновности Дмитрия. Она благоговейно перед готовностью Ивана к самопожертвованию, но, несо­ собная на свободный порыв, на поступок, который рассеял бы её тяжёлые внутренние туманы, она не может сойти со своей высоты, всё время плодя «ложь на лжи», по выра­ жению Ивана. На судебном разбирательстве её натура проявляет себя со всех сторон. В первых показаниях её великодушие на одну минуту увлекает читателя, как что – то есте­ ственное и свободное от какого бы то ни было надрыва. Она очерчивает свои отношения с Дмитрием и тяжёлый для него вопрос о растраченных им трёх тысячах поясняет про­ стыми, ясными словами, в которых нет полной фактической правды, но в которых слы­ шится благородное побуждение спасти близкого человека. Она не побоялась развернуть перед судом все интимные стороны своих страданий и унижений из – за Дмитрия – то было какое – то «самозаклание». Но вот опасность повисла над головою Ивана Карама­ зова, который в полусумасшедшем виде даёт показания против самого себя, – и Кате­ рина Ивановна, которая только что блеснула безмерной, прекрасной гордостью, спеша, задыхаясь, обнажая всё внутреннее бессилие «отмицающей женщины», представляет неопровержимые, «математические» доказательства, что убийцей может быть только Дмитрий. Этот новый надрыв, это иступление грубой злобы и лжи получает решающее значение в глазах судей. Теперь она рисует Дмитрия как настоящего изверга, которого она презирает и который будто бы всё время презирал её за её земной благодарствен­ ный поклон. Она впервые ощутила свою истинную любовь к Ивану и, выгораживая его, со своей обычной стремительностью, создаёт пагубный хаос правды и лжи. Она оказы­ вается истинной предательницей по отношению к Дмитрию Карамазову. От одного над­ рыва она переходит к другому, не спасая ни себя и никого. Позднее она сама сознаёт это, как бы сама ощущает несносную тяжесть своего характера. Она называет себя «тва –

рю»), хотя и это – неправда, потому что при всей своей запутанности, хаотичности, при своём вечном гневе и вечной аффектации Катерина Ивановна, как характеризует её госпожа Хохлакова, в сущности, добрая, прелестная, великодушная девушка. Она «борет» свою гордость, и в этой непосильной борьбе с собственной натурой впадает в бестактности, в ненужную открытость, которую Грушенька, со свойственным ей глуповатым внутренним пониманием вещей, называет бесстыдством. Даже лучшие её поступки, как, например, помощь семье штабс-капитана Снегирёва, не производят тёплого, трогательного впечатления, потому что и в доброте своей она не становится лицом к лицу с людьми, потому что и здесь она действует по внушению затаённого самолюбия, которое она хочет возвысить искусственным, сознательным самоунижением: отринутая невеста Дмитрия Карамазова должна побрататься с оскорблённым, униженным им бедняком! Во всём – самолюбие, чисто человеческое, чересчур человеческое, во всём надрыв, иступлённый, болезненный, всегда драматический, но никогда не трагический.

Заключительная сцена – свидание Катерины Ивановны с осуждённым Дмитрием – является бесподобным художественным обобщением всех её свойств. Её характер дочерчивается последним, метким, гениальным штрихом. Катя, предавшая Дмитрия, должна явиться к нему, хотя бы «стать на пороге и только», встретиться с ним глазами. После некоторых колебаний она идёт на эту новую и трудную для неё жертву. Дмитрий встречает её взволнованный и восторженный, ибо всем благородным существом своим жаждет снять с её души ужасную тяжесть. «Завидев это, та стремительно к нему бросилась. Она схватила его за руки и почти силой усадила на постель, сама села подле, и всё не выпуская рук его, крепко, судорожно сжимала их». Какое-то непередаваемое напряжение чувствуется в обоих, и особенно в Кате. Вся её стремительность, вся её экзальтированность дают себя почувствовать в её поведении. Оно является какой-то сплошной конвульсией, страшным надрывом самых благородных струн её души и сердца. Надрыв этот так велик и так заразителен, что он захватывает и Дмитрия. «Несколько раз оба порывались что-то сказать, но останавливались и опять молча, пристально, как бы приковавшись, с странною улыбкой смотрели друг на друга; так прошло минуты две». Эта улыбка, эта странная улыбка в такую многозначительную, тяжёлую минуту – это не есть нечто случайное, это – глубокий намёк художника на смятение двух страдающих душ, дошедших в своей экзальтации, каждая по своему, до каких-то неестественных подъёмов, до какой-то внутренней неловкости, едва сознаваемой, едва ощущаемой, но тем не менее лишаящей их истинной, высокой простоты. Что-то натянутое улавливается в этой встрече с первых её моментов. Две минуты тянется их молчание, и эти две минуты, конечно, должны были показаться им вечностью! Митя упреждает её в её нравственных потребностях и, как бы помогая её гордости, первый просит у неё прощения. «За то и любила тебя, что ты сердцем великодушен!.. Не надо тебе моё прощение, а мне твоё... На всю жизнь в моей душе язвой останешься, а я в твоей – так и надо...» Она говорит о своей любви к нему торопливо, иступлённо, едва переводя дух – точно боится, что через минуту уже не сказала бы всего этого: «Я для чего пришла? Ноги твои обнять, руки сжать, сказать тебе, что ты бог мой, радость моя, сказать тебе, что безумно люблю тебя». Художник незаметно бросает на эту яркую сцену тревожные тёмные тени в небольших ремарках, которые едва обращают на себя внимание. В словах Катерины Ивановны слышится «мука», хотя ясно, что если бы она высказывала действительную правду, в речах её могли бы быть слёзы, какое-то восторженное страдание, трагическое разрешение всех её обид и скорбей, но не было бы муки, не было бы никакой вымученности. В самую патетическую минуту на её лице мелькает «искривлённая улыбка», – чего не могло бы быть в естественном порыве, в непосредственном излиянии. «Алёша стоял безмолвный и смущённый; он никак не ожидал того, что увидел». Он всё мог предвидеть по отношению к этой встрече, серьёзной, прощальной, – всё, кроме патетического надрыва. «Любовь прошла, Митя! – восклицает Катерина Ивановна, – но дорого до боли мне то, что прошло. Это узнай навек. Но теперь, на одну минутку, пусть будет то, что могло

бы быть... И ты теперь любишь другую, и я другого люблю, а всё-таки тебя вечно буду любить, а ты меня... Слышишь, люби меня, всю твою жизнь люби!». Теперь она фантазирует насчёт прошедшего и из этого несуществующего прошедшего черпает свет для воображаемого будущего. Она романтически преувеличивает всё, что было, не только о себе, но и о Мите, приписывая такие чувства, которых в действительности не было, о которых теперь, когда экзальтация преобразила настоящую правду в какую-то упоительную химеру, когда «на минутку ложь стала правдой», он не может отвергнуть, ибо это значило бы разрушить последнее убежище для гордости Кати. Во всём, что она говорит, одно только истинно — эти два человека, Катя и Дмитрий, были какой-то «язвою» друг для друга, и, быть может, за это он, Дмитрий, непроизвольно хватается, говоря себе: да, в самом деле, что-то было в прошедшем. На прощание говорится многое. За секунду перед тем, как люди навеки расстанутся, человеческое сердце делает последнее усилие, последнее напряжение, чтобы загладить всё дурное, всё обидное безмерным великодушием, залечить чужие раны какими-то бессильными, призрачно спасительными, незлыми иллюзиями. С «безумным упреком» Митя протестует против Грушеньки, которая, со своей обычной прозорливостью, мгновенно овладевает истинной правдой всей этой химерической сцены и «с омерзением» встречает, обращённую к ней просьбу Екатерины Ивановны о прощении. Инфернальная Грушенька одна не поддаётся никаким иллюзиям, не вошла ни в какие химеры, ибо она доподлинно воскресла для новой жизни.

Не хочется расставаться с образом, созданным великим художником, не присмотревшись ко всем его чертам, не только внутренним, но и внешним. Главное уже сказано, а между тем, кажется, что опущенные детали составляют очень многое и что о них тоже следует упомянуть и представить в критическом освещении. Так в данном случае и с Катериной Ивановной. Её внешний облик рисуется в романе кратко, но следободно выразительными штрихами. В нём нет ничего загадочного, ничего таинственного — она всегда та же и её всегда понимаешь. У неё бледное, изжёлта-бледное, продолговатое лицо и большие чёрные глаза, которые постоянно вспыхивают, постоянно горят, как это бывает у пылких, не особенно сложных натур, у которых все душевные движения видны сквозь явную, яркую экспрессию. В романе есть намёк, что у неё горячие руки, и это вполне естественно, потому что жизнь её кипит на поверхности, на периферии, а не в глубинах души, не в центрах физического аппарата. Движения её быстрые, спешные, походка мощная и бодрая — в противоположность мягкой, вкрадчивой, слащавой походке Грушеньки. Катерина Ивановна всегда стремительна: стремительно она кинулась к «молодому развратнику», Дмитрию Карамазову, чтобы спасти отца, стремительно она протягивает обе руки пришедшему к ней Алёше, стремительно она бросается к Ивану, простирая к нему опять обе руки, стремительно она подбегает к Дмитрию при последнем свидании с ним в больнице. Эта мощная, бодрая походка, эти всегда стремительные движения — как всё это характерно для пылко-благородной Кати. Вся она — налицо, весь человек видится и слышится во всём, что бы она ни делала. Она и поднимается только как человек, и падает только как человек, как существо слабое, не вмещающее в себе никаких высших стихий. Её гнев, её волнения и страдания постоянно разрешаются истерикой, с плачем, криком и конвульсиями. Она вечно полна отчаяния, и слёзы её не являются той очищающей грозой, после которой душа меланхоличнее, но дальше, глубже смотрит и внутрь себя, и вокруг себя. Она и плачет с надрывом.

Как она человечна, эта благородная Катерина Ивановна, и как она бессильна в своей человечности. Она вся — на высоте моральных требований жизни, ничто дурное не заражает её. Она выходит неприкосновенной из своего общения с миром Карамазовых: ни одного пятнышка не найти на её девственной чистоте. Она вся — самоотвержение, она неизменно верна мыслям о спасении других. Но вот великие секреты жизни, которые начинаешь отдалённо постигать, изучая их в зеркале правдивого искусства... Видишь благородство Екатерины Ивановны и невольно говоришь себе: мало. Следишь

за иступлениями её гордости и чувствуешь, что не страшно, что эти иступления, ограниченные в своих причинах, никогда ни к чему не приведут ни её саму, ни других.

По А. Волинскому

Признавая индивидуальную правдивость образа Катерины Ивановны, нельзя не заметить тенденциозной мстительной атмосферы, которой её окружил Достоевский. Катерина Ивановна воображает себя гордой, умной, сильной. На деле она порабощена стихийной страстью к Мите, чисто барски ненавидит «тварь» Грушеньку и животной ревнует к ней. Любовь Кати к Ивану вся надумана, заглавие последней сцены, когда Катя бросается к Мите, недаром гласит: на минутку ложь стала правдой. Катерина Ивановна вообще непрерывно лжёт себе самой, она вся не «настоящая». С той самой минуты, когда Митя пощадил её честь, она предалась ему всецело земным поклоном. Но гордость проснулась и не позволяет «принять» Митю как он есть. Значит, тут любовь опять не настоящая, не всепрощающая, не христианская.

Таким образом, Катерина Ивановна, не приемлющая «креста» своей любви, обречена на надрывы и падение в животную элементарность. Маска гордой барышни в ней всё время сильнее того «не институтского, русского» начала, которое вызвало её земной поклон Мите, за которое он и полюбил её. Для Ивана же Катя слишком стихийна, ещё более низшее «женское» существо и равной подругой ему не станет. Так она и остаётся – ни пава ни ворона, беспомощная истеричка, без того высшего начала в душе, которое доступно даже Грушеньке.

По А. Гизетти

Лиза Хохлакова

Образ Лизы Хохлаковой в романе – это тип женщины-двойника. Среди женских характеров Достоевского нет другого подобного, в котором раздвоение личности достигло наиболее резкого и наиболее болезненного состояния, который так остро чувствовал бы в своей груди борьбу двух противоречивых и одинаково мощных влечений: влечения мучить и влечения мучиться, который так отчётливо создавал бы и формулировал болезненное противоречие своей души, как чувствует и создаёт это Лиза Хохлакова. Самоунижение, жажда страдания доходит у неё до жажды саморазрушения. «Я хочу, чтоб меня кто-нибудь истерзал, женился на мне, а потом истерзал, обманул, ушёл и уехал. Я не хочу быть счастливою!.. Я хочу себя разрушать», – говорит она Алёше.

Такой же необузданный характер принимают у неё и вспышки большой гордости, доходящие до полного презрения к людям, презрения, которому решительно наплевать на чужую личность, на её сочувствие или несочувствие, на её страдания, даже на жизнь. «Я иногда думаю наделать много зла и всего скверного, и долго буду тихонько делать, и вдруг все узнают. Все меня обступят и будут показывать на меня пальцами, а я буду на всех смотреть. Это очень приятно. Почему это так приятно, Алёша?». Рассказавши историю о распятом ребёнке, она говорит: «Я иногда думаю, что это я сама распяла. Он висит и стонет, а я сяду против него и буду ананасный компот есть. Я очень люблю ананасный компот».

До такого презрения к себе и презрения к другим, до такой ненависти, издевательства над собой и над другими не доходила ни одна из женщин-двойников Достоевского. Вся глубина и дикая чудовищность этого противоречия выражена той же Лизой в характерном афоризме: «И мальчик с отрезанными пальчиками – хорошо, и в презрении быть хорошо...» Такая натура в одно время способна к чудовищному самоотречению и к чудовищному издевательствам, способна расточать нежность и ласку мучителю и отвечать издевательствами и истязанием на самоотверженную любовь. Свойства этой природы и проявляются в отношениях Лизы к Ивану и Алёше Карамазовым. К Ивану её влечёт смутное сознание, что она будет любящей страдальцей, подчинившись и отдавшись ему беззаветно; к Алёше влечёт предчув-

ствие, что она станет любимым деспотом, подчинит его себе до того, что он будет терпеть всякий самый дикий её каприз, самое фантастическое издевательство.

Такова двойственность характера Лизы. Всюду и всегда она разрывается между чувством унижения и бессилия и чувством гордости и величия, мучится невозможностью успокоиться на чём-нибудь одном. Унижение и бессилие нежелательны, гордость и величие невозможны – вот смысл этой внутренней драмы.

По В. Переверзеву

Лиза Хохлакова страдает ясно выраженной истерией. Её мать, г-жа Хохлакова, – женщина вздорная, легкомысленная, эксцентричная, без характера, без убеждений, и притом лишённая какого-либо руководства в жизни, вдова, без каких-либо занятий и даже без определённого общественного положения. Естественно, что дочь с раннего детства подражала матери в её эксцентрических выходках и понемногу усваивала её извращённые воззрения. Воспитание, если можно дать такое определение отношениям безалаберной Хохлаковой к своей дочери, имело два крупных недостатка. Первый – излишняя снисходительность: Лизе ни в чём не отказывали и за всё извиняли, давая тем полный простор развитию себялюбия, страстности и аффектов, недостаточному самообладанию и неспособности на какие-либо жертвы. Второй недостаток – это преждевременное введение в сферу интересов взрослых лиц, результатом чего бывает пресыщение жизнью и ранее знакомство с чувственными наслаждениями и излишествами; стоит припомнить, как Лиза рано была влюблена в Алексея Карамазова.

С физической стороны у Лизы болезнь проявилась судорожными припадками и параличом ног. Желая выставить степень влияния, которое имел отец Зосима на верующих, Достоевский не мог лучше и разительнее этого сделать, как примером излечения Лизы. Истерические параличи проходят только под влиянием психического лечения, которое, как в данном случае, состоит в развитии уверенности в больных, что они могут ходить. А так как отец Зосима был окружён известным ореолом, был святым в глазах матери и дочери Хохлаковых, то вполне естественно, что Лиза выздоровела. Не укажи Достоевский, что Лиза страдала истерией, факт выздоровления был бы невероятен.

Со стороны психической у Лизы наблюдается ясно выраженный истерический характер, основные признаки которого: неустойчивое равновесие психических отклонений, чрезмерно лёгкая возбудимость, необыкновенно сильная реакция психического механизма и быстрая смена его возбуждений. В характере Лизы бросается в глаза пёстрая смесь настроений и аффектов, симпатий и антипатий, представлений то весёлых, то грустных, то серьёзных, то низменных, то стремлений, полных энергии, но скоро и пропадающих. Она пишет цинично-любовную записку Ивану Карамазову, чем вызывает в нём презрение к себе, потом приглашает Алексея, с ним то плачет, то смеётся безо всякого повода, строит планы разумной жизни в будущем, потом старается выставить его в смешном виде; оскорбить его, между тем как минуту назад относилась к нему с уважением и преданностью, после этого бранит себя, говорит о своей испорченности и необычайной жестокости, плачет слезами раскаяния и, чтобы наказать себя, сдавливает себе палец между дверями. Последняя выходка весьма характерна для такого рода больных. Под влиянием страсти они неудержимо стремятся к своей цели и безрассудно наносят вред себе или другим. При других обстоятельствах они могут удивлять окружающих своим самоотвержением, мужеством; и едва ли кто больше истерической женщины проявляет интенсивности желаний; для них не существует препятствия, даже инстинкт самосохранения, чувство боли не могут остановить их в достижении мелочных желаний, в капризах.

Достоевский достаточно отметил у Лизы и другую черту истерического характера – себялюбие; она самая наивная эгоистка, говорит только о себе, и постоянно с живым интересом; так как себялюбие истерических натур выражается стремлением говорить о себе, возбуждать к себе участие и внимание, заинтересовывать

всех своей личностью, своей болезнью, даже своими пороками, то Лиза только и заботится о достижении этого относительно Алексея и Ивана Карамазовых.

Наиболее тяжелые болезненные явления у Лизы, – это извращённые прихоти. Образцовым примером может служить рассказ Лизы, как ей хотелось бы есть ананасный компот в то время, как у неё пред глазами будут мучить ребёнка. Уже не говоря том, насколько странна такая живая фантазия и оригинальное направление мыслей для четырнадцатилетней девочки, тут невольно удивляешься, каким образом может эта воображаемая картина вместо естественного чувства жалости и неудовольствия вызвать циничное, приятное чувство, насмешку. Только у истерических натур возможны такие психологические парадоксы. Естественно, что эта психическая аномалия будет иметь глубокое влияние на всю душевную жизнь Лизы.

Второй опасный симптом у Лизы, – это навязчивые идеи. Лиза жаловалась Алексею, что ей, религиозной девушке, приходят в голову богохульные мысли, непонятное, ужасающее её самое желание бранить Бога. Эти навязчивые идеи, помимо желания больших и, несмотря на всё сопротивление их воли, овладевают сознанием, вмешиваются в сознательное логическое течение представлений, вызывают внутреннее беспокойство и нередко соединяются со стремлениями к соответствующим поступкам.

Во всей мировой литературе трудно припомнить произведения, по которым можно было бы заключать, что кто-либо из авторов был знаком с этим патологическим феноменом. Достоевский – единственный из художников, их описавший, притом вполне ясно, верно и достаточно полно.

По В. Чижу

Нервная, капризная, взбалмошная, но, тем не менее, милая и симпатичная Лиза Хохлакова, четырнадцатилетняя невеста Алёши Карамазова. Бедная девочка страдала параличом ног и не могла ходить уже с полгода и её возили в длинном покойном кресле на колёсах. Это было прелестное личико, немного худенькое от болезни, но весёлое. Что-то шаловливое светилось в её темных больших с длинными ресницами глазах.

Что же особенного в этой Лизе?

Болезненная восприимчивость и впечатлительность, отсутствие какой бы то ни было устойчивости, душевного равновесия и, наряду с этим, преждевременное развитие, склонность к анализу, критическое направление ума, серьёзность и вдумчивость совершенно не детские – вот отличительные черты нашей маленькой героини.

Про неё можно смело сказать, что она вся соткана из нервов; её нервность такого свойства, что выходит за границы нормального, естественного, представляет собой зачатки душевной болезни – настолько дики, причудливы, необузданны и своеобразны её выходы. Это какой-то хамелеон, который ежесекундно меняет свой образ, двух минут не оставаясь в одинаковом настроении: сейчас перед нами была милая, наивная девочка, которой доставляет удовольствие невинная шутка над Алёшей, через секунду мы видим любящую и чувствующую глубоко и серьёзно женщину.

Не будучи в силах скрывать своих чувств, она мило и трогательно изливает их в письме к избраннику своего сердца, первая признаётся ему в любви и молит не презирать её. «Я не могу больше жить, если не скажу вам того, что родилось в моем сердце, – пишет она Алёше. Но как я вам скажу то, что я так хочу вам сказать?.. Милый Алёша, я вас люблю, люблю ещё с детства... люблю на всю жизнь. Я вас избрала сердцем моим, чтобы с вами соединиться и в старости вместе окончить нашу жизнь... Я всё смеюсь и шалю, я давеча вас рассердила, но уверяю вас... перед тем, как взяла перо, я помолвилась на образ Богородицы, да и теперь молюсь и чуть не плачу...»

А назавтра она опять смеётся, и подчас зло смеётся над тем же Алёшей, как бы мстя ему за свою любовь к нему.

«Скажите, милая мама, милостивому государю вошедшему Алексею Фёдоровичу, что он уже тем одним доказал, что не обладает остроумием, что решился прийти к нам сегодня после вчерашнего и несмотря на то, что над ним все смеются» – вос-

клицает она и, плотно притворив дверь своей комнаты, не впускает к себе того Алёшу, о котором мечтала накануне, за которого проливала слёзы перед образом.

Из духа противоречия, столь свойственного нервным, взбалмошным натурам, она издевается над любимым человеком и наслаждается той болью, которую ему причиняет.

Но стоило лишь Алёше заикнуться, что у него поранен палец, — и вся напускная злоба Лизы мгновенно испаряется, уступая место самому искреннему раскаянию и состраданию.

В смертельном испуге она умоляет мать поскорее принести воды, корпии и, как сестра милосердия, ухаживает за Алёшей.

Узнав от него, что он её любит, она безмерно счастлива; но это не мешает ей через минуту издеваться и над своим избранником, и над своим чувством к нему: «Мама, вообразите себе, он с мальчишками дорогой подрался на улице, и это мальчишка ему укусил, ну не маленький, не маленький ли он сам человек, и можно ли ему, мама, после этого жениться, потому что, вообразите себе, он хочет жениться, мама».

«Представьте себе, что он женат, ну не смея ли, не ужасно ли это?» — и Лиза всё смеялась своим нервным, мелким смешком.

Женщина скрылась и уступила место ребёнку. Лиза шалит, поднимает на смех свою бедную маму, у которой впопыхах явилось нелепое предположение: уж не бешеный ли был тот злой мальчишка, что укусил Алёше палец?

«Не боитесь ли вы воды?» — с напускной серьёзностью спрашивает она Алёшу.

Но не долго длилось это ребячески-безмятежное настроение у Лизы. Новый порыв — и картина изменилась: в ней по самому ничтожному поводу проснулась ревность и, мгновенно овладев всем её маленьким, слабым существом, затуманила её светлые за минуту до этого очи.

«Как! Вы уходите? Так-то вы! Так-то вы? Мама, возьмите его и скорее уведите! Алексей Фёдорович, не трудитесь заходить ко мне после Катерины Ивановны, а ступайте прямо в ваш монастырь, туда вам и дорога. А я спать хочу, я всю ночь не спала».

Уже этими немногими штрихами Достоевский ярко обрисовал образ бедной, вконец изнервничавшейся, изломанной и исковерканной девочки. В следующих же строках романа характер её выступает целиком, со всеми деталями.

Основные черты этой взбалмошной, порывистой природы — непостоянство, неустойчивость.

«Закон её — мгновенье», — скажем мы словами поэта: все её чувства, желания, мысли — продукт минуты, мгновенного порыва, мимолётного увлечения. Под влиянием минуты она отдаст вам всё, что имеет.

«Ах, Алексей Фёдорович, ах, голубчик, давайте за людьми как за больными ходить!» — восклицает она со свойственно ей порывистостью и страстностью и вся горит желанием послужить на пользу ближнего. Но чувство, руководившее ею в эту минуту, бесследно исчезло через несколько секунд; пламя погасло так же скоро, как зажглось.

«Пусть я богата, а все бедные, я буду конфеты есть и сливки пить, а тем никому не дам», — говорит она в другой раз с каким-то непонятым озлоблением на весь мир, на всю вселенную, или, вернее, её устами говорит тот новый порыв, то новое мимолётное настроение, которое овладело в эту секунду её слабым наболевшим сердечком и могучей волной охватило всё её существо.

Деликатно и тонко чувствующая, она прибьёт по щеке горничную, когда выдаётся такая минутка, и через час обнимет ту же служанку и поцелует у неё ноги, позабыв всю свою гордость и высокомерие.

Сегодня она кротка, как ягнёнок, завтра — стойка и зла, как фурия, хочет поджечь дом, сокрушить всё и вся; не хочет делать доброе, а хочет делать злое, «чтобы нигде ничего не осталось», жаждет беспорядка и анархии; сегодня она проливала слёзы перед образом, завтра ей снятся во сне чёртики: «Будто ночь, я в моей комнате со свечкой, и вдруг везде черти, во всех углах, и под столом, и двери

отворяют, а их там за дверями толпа, и им хочется войти и меня схватить. И уж подходят, уж хватают. А я вдруг перекрещусь, и они все назад, боятся, только не уходят совсем, а у дверей стоят и по углам и ждут. И вдруг мне ужасно захочется вслух начать Бога бранить, вот и начну бранить, а они—то вдруг опять толпой ко мне, так и обрадуются, вот уж и хватают меня опять, а я вдруг опять перекрещусь — а они все назад. Ужасно весело, дух захмирует», — исповедуется она перед Алёшей.

Бедная, бедная девочка! Алёша был прав, называя её мученицей. Как же иначе можно назвать четырнадцатилетнюю девочку—подростка, почти ребёнка, в которой нет ни капли детской ясности, свежести, непосредственности — лучшего достояния молодости, в которой всё вконец изломано, вымученно, искалечено! Но где же кроется причина, источник её недуга?

Всё дело в её нервном темпераменте.

Но отчего же зависит этот нервный темперамент?

Вспомним, что бедная девочка страдала параличом ног, не могла ходить и обречена была на печальную участь проводить долгие часы, недели и месяцы в «покойном кресле на колёсах». Как ни покойно было это кресло, но в душе у бедного ребёнка, по всей вероятности, не царило то безмятежное спокойствие, которым пользуются другие дети её лет, поставленные в более счастливые, чем она, условия.

«Сидя в креслах вы уже и теперь должны были много передумать», — говорит ей Алёша. Это меткое замечание помогает приподнять завесу с тайны — найти причину крайней нервности Лизы Хохлаковой. Очагом этой нервозности были физические страдания, болезненное состояние организма.

Несомненно, что не страдай она параличом ног, не будь обречена на сидячий образ жизни, характер её сложился бы совершенно иначе, и этим факторам она в значительной степени обязана и своей раздражительностью, и причудливостью, и аффектацией, и преждевременным развитием.

Сидя в своих «покойных креслах», Лиза о многом думала, многое переживала и рано привыкла анализировать как свои, так и чужие поступки и мысли; этим объясняется её вдумчивость и серьёзность, уживающаяся в ней с очаровательной шаловливостью, остатком того счастливого времени, когда она владела ногами и не нуждалась в «покойных креслах». Но вместе с тем характер её не мог не испортиться, нервная система не могла не расшататься от того образа жизни, который она вела.

«Да ведь я урод, меня на креслах возят!» — восклицает она и смеётся своим нервным, истерическим смехом в ответ на Алёшино признание в любви. Такое восклицание даром не даётся. В нём — объяснение значительной доли её причудливых выходов, её раздражения, потребности раздавить «что—нибудь хорошее», зажечь, всё уничтожить, сокрушить...

До сих пор мы пытались объяснить себе характер и направление Лизы Хохлаковой исключительно физическими причинами; но ограничиться лишь одними этими объяснениями, значило бы впасть в односторонность, и в известной степени «не приметить слона».

Роль этого слона в данном случае играет г—жа Хохлакова, мать Лизы. «Это была чувствительная светская дама и с наклонностями во многом искренно добрыми», — говорит Достоевский. Это была взбалмошная, взбудораженная женщина, с хаосом разноречивых сбивчивых мыслей и понятий в голове, в которых не только окружающие её, но и она сама не могла разобраться; женщина, которая менее всего на свете была создана стать разумной матерью, воспитательницей своего ребёнка.

Если оставить в стороне все остальные условия — болезнь Лизы, её нервный темперамент, то достаточно видеть её мать, достаточно принять в расчёт, что бедная девочка была обречена расти под эгидой и руководством этой сентиментальной, нервной дамы, чтобы заранее предсказать, что спокойной, уравновешенной натуры из неё не выйдет.

Всякий, кто прожил бы хоть небольшой период времени в тесном общении с г-жой Хохлаковой, будь у него нервы как канаты, – в конце концов заболел бы нервным расстройством. Какое же вредное влияние должна была оказать на ребёнка, с его тонкой восприимчивой натурой, эта взбалмошная женщина, капризная, отчасти даже ненормальная.

«Родители влияют на своих детей не столько путём наследственности, сколько силой примера, который они дают детям», – говорит Маудсли в своей «Патологии души».

Поэтому мы вправе сказать, что, помимо той доли нервозности, которою должна была обладать Лиза Хохлакова как дочь своей матери, характер её сложился главным образом под влиянием того примера, который мать показывала ей с самого нежного возраста, – под влиянием той нравственной атмосферы, в которой она жила с детства.

Скажем более, в некоторых отношениях Лиза даже очень похожа на свою мать. Правда, это сходство не сразу бросается в глаза, но становится заметным для более внимательного и проницательного наблюдателя.

Возьмём, например, весьма характерную сцену, где «малOVERная» дама, – как называет Достоевский почтенную г-жу Хохлакову – беседует со старцем Зосимой, исповедуется перед ним и раскрывает свою душу. Несомненно, что в эту минуту она была вполне искренна, и из тех слов, которые под влиянием высокого порыва сорвались с её уст, можно заключить, что, как это ни странно на первый взгляд, и госпожа Хохлакова способна задумываться над серьёзными, отвлечёнными вопросами, пытаться понять тайну жизни и смерти и терзаться бесплодностью этих попыток; но как нервная, взбалмошная, взбудораженная натура, она и тут остаётся верна себе: та же печать безалаберности, бесконтрольности лежит на мыслительных процессах, зарождающихся в её разгорячённом мозгу, то же отсутствие выдержки, устойчивости и последовательности, словом, отличительные свойства её характера и тут выступают на первый план.

Госпожа Хохлакова чистосердечно признаётся отцу Зосиме в том, что она страдает неверием, что мысль о будущей, загробной жизни, о том, что ожидает её «там» – неотступно преследует её, волнует её «до страдания, до ужаса и испуга». Она сознаёт, что единственным оплотом могла бы послужить для неё вера; но верить механически она не в силах, а доказать, убедиться в существовании Бога невозможно, а потому она умоляет старца прийти ей на помощь, разрешить её сомнения.

С жадным нетерпением ждёт г-жа Хохлакова ответа мудрого, благочестивого старца, готовая с затаённым дыханием внимать каждому слову... и «в каком-то горячем, порывистом чувстве» складывает перед ним руки.

И Лиза своим пытливым умом старается проникнуть в сущность вещей. И она, как мать, задаётся отвлечёнными вопросами и обращается к Ивану Карамазову, мнение которого признаёт авторитетным, ждёт его ответа на волнующие вопросы.

Эти вопросы сводятся в конце концов к тому же, о чём беседовала г-жа Хохлакова со старцем Зосимой. Слова мамы не пропали даром: семья упало на благодатную почву и дало обильную жатву. Лиза, четырнадцатилетний подросток, «страдает неверием», сомневается в бытии Бога и думает о том, какое наказание полагается в загробном мире за самый большой грех.

Г-жа Хохлакова жаждет подвига, деятельной любви к ближним, мечтает иногда бросить всё, что она имеет, идти в сёстры милосердия и уверяет, что «никакие гнойные язвы» её не остановят. Для человечества она даже готова бросить дочь-калеку, не замечая, до какой несообразности она договаривается, отуманенная своей благородной, возвышенной мечтой – служить на пользу людям.

Лиза не отстаёт от матери: и она хочет ходить за людьми, как за больными детьми, и она целыми часами думает о бедном, распятом злодеями мальчике, о котором она вычитала в книжках; горькими слезами оплакивает его участь, что не мешает ей легко относиться к матери, мучить Алёшу и бить по щекам горничную.

Наконец, госпожа Хохлакова – натура увлекающаяся и влюбчивая. Что же касается Лизы, то хотя её преждевременная любовь к Алёше глубока и искренна, но наряду с этим наша маленькая героиня успевает увлечься и Иваном Карамазовым, который закружил ей голову двумя–тремя смелыми, эффектными софизмами и импонирует ей своим демоническим характером.

Наклонность к самобичеванию одинаково присуща и матери, и дочери: и та и другая, говоря о своих недостатках и слабостях, любят сгущать краски и рисовать–ся своими пороками.

«Я работница за плату, я требую сейчас же платы, то есть похвалы себе и платы за любовь любовью. Иначе я никого не способна любить!» – восклицает в припадке искреннего самоуничтожения г–жа Хохлакова.

«Я иногда думаю, что это я сама распяла. Он висит и стонет, а я сяду против него и буду ананасный компот есть. Я очень люблю ананасный компот», – заявляет Лиза, с наслаждением следя за тем, как нарастает и закипает в её бедном, искалеченном сердечке непонятная злоба и раздражение на весь мир, на всё человечество.

Госпожа Хохлакова более одной секунды не способна сосредоточить своего внимания на каком–нибудь предмете или явлении: нить её мыслей беспрестанно прерывается, вследствие чего в разговоре она постоянно перескакивает с одного предмета на другой; недаром она жаловалась Алёше, что забывает самое главное. Что касается Лизы, то с её непоследовательностью и скачками её мыслей и настроения мы уже знакомы.

После всего этого не остаётся сомнения в том, что Лиза похожа на свою мать.

Все эти рассуждения необходимы для того, чтобы доказать, что влияние, пример родителей, наследственность должны приниматься в расчёт всегда, когда мы хотим дать правильную оценку той или другой натуре, уяснить себе ход её развития, понять, отчего тот или иной характер сложился так, а не иначе.

По Р. Янтарёвой

В Лизе Хохлаковой наблюдаются то же неравновесие душевных сил, которое является отличительным признаком внутренней жизни большинства героев Достоевского. Такие черты характера, как гордость и своевластие, выразились в ней в самых болезненных проявлениях. Дети, в которых указанные черты составляют отличительный признак характера, в семье обыкновенно бывают настоящими деспотами. Очень часто родители их боятся и сами становятся в отношении их в подчинённое положение, нередко исполняя все их прихоти. Уже через одно это в них развивается болезненная слабость воли, что выражается в недостатке у них терпения.

Всё это мы наблюдаем и в Лизе Хохлаковой. Тон её обращения с матерью резкий, повелительный, иногда покровительственный. Мать бегаёт, чтобы удовлетворить её требованиям, наравне с горничной. Лиза ловит её на словах, что называется, «режет» и тем самым часто ставит её в смешное положение. Со своей стороны, г–жа Хохлакова, видимо, боится её: так, она не решается даже помешать любовному объяснению четырнадцатилетней дочки с молодым человеком и остаётся подслушивать его за дверью.

Под каким влиянием мог установиться в Лизе такой своевластный и прихотливый характер? Помимо природных предрасположений, здесь нельзя не видеть значительной доли влияния воспитательных условий, которыми она была окружена. Первое, что обращает на себя внимание, – это излишнее потакание её прихотям. Кем и чем направлялось детство Лизы Хохлаковой? Единственным руководителем Лизы была её мать; но это была одна из тех дам, которые вечно жалуются на нервы, женщина, без всякой руководящей мысли, глупая и вздорная, и ко всему прочему с крайне слабым развитием воли. Главная её ошибка в отношении Лизы состояла в том, что она слишком рано перестала видеть в дочери ребёнка. Не сообщив ей здоровых начал путём воспитания, она не сумела устранить и тех влияний, которые действуют на существо ребёнка разлагающим образом. В Лизе постоянно поддерживалось усиленно возбуждённое состояние духа. Вместе с тем чтение книг, не

соответствующих возрасту, вызывало в ней такого рода душевные движения, которые были преждевременны для четырнадцатилетней девочки.

И вот, не имея в своей природе никаких противодействующих воспитательным влияниям начал, Лиза делается существом болезненным и физически, и нравственно. С физической стороны её болезнь проявилась в параличе ног, с психической – в ясно выражающихся признаках истерии: неустойчивое равновесие психических отклонений, чрезмерно лёгкая возбудимость, себялюбие, извращённые прихоти.

Нельзя не заметить, что присущая Лизе себялюбивая притязательность видеть исполнение всех своих желаний делает её деспотической в обращении с другими, доводя временами до грубости. Этот деспотизм есть очевидное следствие той чрезмерно лёгкой возбудимости, которая составляет отличительное свойство её психического склада. Лиза бывает способна дойти до крайне интенсивных чувствований (аффектов), под действием которых как бы совершенно угнетаются симпатические влечения её души. Так, несмотря на свою любовь к матери, она терзает её грубостью обращения. Под влиянием подобного же возбуждения она бьёт горничную по лицу, хотя через час бросается целовать за это её ноги. Но всего характернее в этом отношении её думы и желания, которые она доверяет Алёше Карамазову. По её собственному признанию, в ней по временам является желание «наделать ужасно много зла и всего скверного», причём Алёша вполне верит, что при случае она даже может и осуществить эти тайные желания.

Положим, эти мечтания слишком далеки от действительного исполнения, но уже само направление её мыслей достаточно характеризует внутренние влечения её души. Особенно поражено в этом отношении её воображение. В своих фантазиях она рисует, например, картину распятого на стене мальчика с отрезанными на обеих руках пальчиками, который вызывает в ней чувство удовольствия.

Это свойство её нрава не исключает, конечно, возможности проявления в ней добрых чувств, которые она и выказывает, например, когда Алёша передавал ей историю Снегирёва, но состояние её душевного механизма вообще настолько неустойчиво, что влечение её души в сторону добра легко может смениться противоположным настроением. Оттого в отношениях её к людям нет естественности. Порой кажется, что едва ли подобные натуры способны иметь глубокие и продолжительные привязанности.

Второй выразительной чертой нравственной физиономии Лизы является преждевременное развитие в ней страстности. Читая роман Достоевского, невольно поражаешься тем, что эта четырнадцатилетняя девочка не только успела выйти из круга детских интересов, но уже лелеет в себе мечты и желания, свойственные вполне сложившейся женщине. Её любовь к Алёше не носит в себе ничего платонического. Здесь во всём видны страстность и раннее чувственное возбуждение. Оттого своей любовной запиской к Ивану Карамазову она вызывает в последнем полное презрение. Очевидно, и здесь играет роль чрезмерная возбудимость, которой, как можно заключить из слов Алёши, даёт сильный толчок чтением дурных книг.

Таким образом, Лиза является личностью, болезненно поражённой в самых основных началах своей физической и духовной природы.

По П. Пользинскому

Детвора

Обширное карамазовское царство не было бы дорисовано, если бы художник не показал в нём, кроме его типичных представителей, целого ряда детских типов. Его герои живут сложной, напряжённой жизнью, создают историю, а дети, эти молодые побеги новой жизни, вырастают на их глазах и вносят в общую сдавленную атмосферу новый воздух, новые надежды. Это – герои будущего. Но и теперь, несмотря на свою невинность и незрелость, они ко всему прислушиваются и даже оказываются причастными к волнениям карамазовской жизни. Нельзя себе представить более трогательного сочувствия, чем то, которое художник оказывает детским страданиям

в лице Илюши, и нельзя также себе представить более мягкого, светлого юмора, чем тот, с каким выписана удивительная фигурка Коли Красоткина. Тут же рядом курчавый, белокурый, румяный мальчик, левша Смулов, и стыдливый, умный Карташов – столь стыдливый, что он краснеет, как пион, при каждом своём ответственном слове. Илюша, Красоткин, Смулов, Карташов – вот эти молодые побеги того леса, который шумит величавым шумом под грозой разных катастроф и на месте которого когда-нибудь поднимется новый лес – новые деревья. В каждом из этих мальчиков Достоевский воплотил определённую психологическую черту. Илюша – это самоотвержение, благородная гордость и горячая нежность к окружающим.

Несчастный штабс-капитан Снегирёв находит в нём своё великое утешение. Вся короткая история Илюши – борьба за отца, любовь к Красоткину, его преступление против Жучки, терзающее его детскую совесть накануне смерти и, наконец, радость при виде этой собаки, которую Красоткин переименовал в Перезвона и обучил разным штукам, – всё это не поддаётся никакому пересказу. Какие-то особенные слёзы закипают в душе при чтении этих страниц, и вдруг, сквозь слёзы, начинаешь улыбаться и даже хохотать, когда детвора, проходя самые глубокомысленные уроки жизни, отдаётся неожиданным шалостям. Эти мальчики, которые до безумия любят умирающего Илюшечку и трепещут за его жизнь, всё-таки появляются в его комнате, въезжая друг на друга. Один Красоткин входит, сохраняя серьёзность, но ведь Красоткин – особенный мальчик, герой, передовой философ реализма и великодушного народолюбия. Только глядя на жизнь с высоты, можно полюбить её в её молодых, незаконченных формах до такого сладострастия, до такой поэтической экзальтации, до какой доходит в этом отношении Достоевский. Его Алёша знает, что с детворой нужно обращаться серьёзно, говорить деловито, и когда Алёша, сам дивный мальчик, старший над всеми этими детьми и страшно для них авторитетный, входит в живое общение с ними, видишь, что Достоевский изливает в этих описаниях всю безмерную нежность тех самых глубин своих, где у него жила мысль о возрождении и обновлении человека. Этот Красоткин, в котором он готовит страдальца на поле социально-политической борьбы, является чудесным доказательством той широкой справедливости, которую Достоевский умел воздавать разным течениям и брожениям русской общественности. Это, в самом деле, страстотерпческая натура, которая чувствуется во всём, что говорит и делает задорный юнец. Его шаловливые разговоры с встречными бабами и мужиками полны навеянных теорий, которые так быстро, в такие молодые годы перерабатываются у него в горячую кровь, в умение смело и легко подходить к жизни, вторгаться в её процессы. Эта горячая кровь бурлит в Красоткине и делает прекрасными даже его передовые глупости, его забавную мальчишескую важность и самоуверенность. В Красоткине отразилась целая эпоха, над которой сам художник, Достоевский, возвышался как истинный исполин, ибо он смотрел в другие миры, в другие перспективы.

Детвора хоронит своего героя – Илюшечку. «Черты исхудалого лица его почти совсем не изменились, и, странно, от трупа почти не было запаха. Выражение лица было серьёзное и как бы задумчивое. Особенно хороши были руки, сложенные накрест, точно вырезанные из мрамора». Дети подняли гроб и пронесли его в церковь – бедную, древнюю, с множеством икон без окладов. Начинается «умилительное и потрясающее» надгробное пение, и затем – всё кончено. Обезумевший штабс-капитан идёт домой, за ним детвора. Больше всех плачут Коля Красоткин и Карташов. Смулов тоже ужасно плачет, но не забывает метнуть кусочком кирпича в пролетающую стаю воробышков. Такая маленькая, простая трагедия, но сколько в ней авторских слёз. Чем можно утешить детские сердца перед лицом смерти? Поймут ли они разные отвлечения философии, которая, как бы она ни была велика и широка, сама спотыкается о порог вечности? Что если большие люди, с привычкой к анализу, даже с притуплением страха смерти, изнемогают в этом вопросе, когда он так или иначе лично заденет их, – что же могут понять тут умом эти

молодые существа – веселая, но чуткая к высшим интересам детвора? «Знаете, Карамазов, – говорит Коля тихо, обращаясь к Алёше, чтобы никто не услышал, – мне очень грустно и если бы только можно было его воскресить, то я бы отдал всё на свете. – Ах, и я тоже!» – отвечает Алёша. Слово это, «воскресить», сказалось как-то неожиданно. Что-то вечное шепнуло Коле это слово – вечная надежда человечества на бессмертие и воскресение, среди грёз религиозного сознания. «Карамазов! – крикнул Коля, – неужели и взаправду религия говорит, что мы все встанем из мёртвых и оживём, и увидим друг друга... и Илюшечку?». Алёша отвечает полусмеясь, полувосторженно: «Непременно восстанем, непременно увидим и весело, радостно расскажем друг другу всё, что было».

На этих фантастических высотах Достоевский прекращает своё повествование.

По А. Волынскому

Коля – единственный сын у матери вдовы; она на него не надыхнется. Он знает это и, как все умные дети, пользуется этим. Коля – своего рода глава в доме. Своё рано развившееся самолюбие и властолюбие он проявляет и с товарищами по гимназии. «Я ведь их бью, а они меня обожают», – говорит он. Но Коля, хоть и баловень, а добрый мальчик. «Илюшу перестали бить, – с удовольствием замечает он, – я взял его под мою протекцию». Если Илюша на время теряет эту спасительную протекцию, то по своей вине. Послушался «дурачок» обзлённого на всё и на всех Смердякова и подбросил Жучке мякишу с воткнутой в него булавкой. Коля возгорел благородным негодованием и велел ему объявить, что прерывает с ним всякие отношения. Но ведь и Илюша характерный мальчик. Вместо того чтоб сконфузиться и просить прощенья, он велел сказать Коле, что теперь всем собакам будет куски с булавами кидать, всем, всем! «А, – думает Коля, – вольный душок завёлся, его надо выкурить». Стал он отворачиваться от Илюши, а другие мальчики вновь стали приставать к Илюше и смеяться над его отцом. Коля видит, но не выручает, а бедный Илюша до того обозлился, что ткнул Колю своим перочинным ножичком. Но Коля благородный мальчик; он не пошёл фискалить, терпел, и всё зажило без огласки. А Илюшечка, между тем, слёг в постельку. «Это меня Бог наказал за то, что я Жучку убил», – говорил он отцу. Надо было пойти к Илюше и помириться, но у Коли сложился особый план. Он знал, что Жучка жива, но вместо того, чтобы сейчас же вести её к Илюше, он предварительно обучает её всем собачьим хитростям, чтобы разом доставить Илюше большое счастье. Между тем на это уходит время, а бедный больной мучится угрызениями совести. Но у Коли, как решено, так уж непременно и будет. Он сам потом сознаётся, что перемудрил непростительно: приведи он Жучку пораньше – и Илюшечка, может быть, ещё бы и поправился.

Коля ещё ребёнок, но в нём самым диковинным образом ребячество совмещается с нагускным «развитием». Идёт шалун по улице и задирает встречного мужика, а тот отплачивает ему вопросом: а что, мол, вас в школе, чай порют? Коля серьёзно поддакивает. «По идее мужика, школьника порют, – рассуждает он. – И вдруг я скажу ему, что у нас не порют, ведь он этим огорчится... С народом надо уменючи говорить».

Выставляя себя знатоком народа, Коля «всегда готов признать в нём ум». Он даже решает утверждать: «Мы отстали от народа, это аксиома... Я верю в народ». Веря в народ, Коля думает, что народу нужно бы просветительное начало повыше церковного. «Согласитесь, – убеждает он Алёшу, – что христианская вера послужила лишь богатым и знатым, чтоб держать в рабстве низший класс...» Замечая, однако, что это огорчает Алёшу, он снисходительно оговаривается: «И если хотите, я не против Христа. Это была вполне гуманная личность, и живи он в наше время, он бы прямо примкнул к революционерам и, может быть, играл бы важную роль...» Тут уже Алёша не выдерживает: «Ну где, ну где вы этого нахватались? – спрашивает он. – С каким это дураком вы связались?...» «Я, конечно... часто говорю с господином Ракиным, – поясняет Коля, – но... Это ещё старик Белинский тоже, говорят,

говорил. «Белинский? Не помню. Он этого нигде не писал... А Белинского вы читали?» — думает срезать его Алёша. «Видите ли... нет, — не задумывается Коля, — я не совсем читал, но... место о Татьяне, зачем она не пошла с Онегиным, я читал».

Но Коля недаром самолюбив, потому-то и мнителен, подозрителен: как бы кто не посмеялся в нём над ребёнком, корчащим из себя взрослого. «Скажите, Карамазов, вы ужасно меня презираете?» — спрашивает он. «Презираю вас?.. Мне только грустно, — говорит Алёша, — что прелестная натура, как ваша... уже извращена всем этим грубым вздором». «Об моей натуре не заботьтесь», — важничает Коля, хотя и не тем тоном, как в другом случае: «Я... никому не позволяю анализировать мои поступки». «Вы сейчас усмехнулись» — замечает он. «Я недавно прочёл отзыв заграничного немца, жившего в России, — говорит Алёша, — об нашей тепершней учащейся молодежи: «...Никаких знаний и беззаветное самомнение». Коля отражает удар тем, что начинает хвалить: «Верниссимо! Браво, немец!»; но тут же ещё и ввёртывает, не без своего рода патриотизма в виде немцедействия: «Однако ж чухна не рассмотрел и хорошей стороны... Самомнение — это пусть... зато... смелость мысли и убеждения, а не дух ихнего колбаснического раболепства пред авторитетами... Но всё-таки немец хорошо сказал», — продолжает он беспристрастничать, однако же с оговоркою, что «всё-таки немцев надо душить».

Коля боится насмешек со стороны Алёши, хотя сам, между тем, не без снисхожденья относится к этому «монашку». По доброте души он готов, так и быть, ему уступить Христа: «Всё же был замечательная личность». Точно так же, чтобы не огорчить Карамазова, Коля его успокаивает: «Я ничего не имею против Бога... если б его не было, то надо бы его выдумать», а сам между тем краснеет и ужасно досадует на себя, что покраснел. «Я... терпеть не могу вступать во все эти препирания, — хотел бы как будто покончить Коля, — можно ведь и не веруя в Бога любить человечество? Как вы думаете? Вольтер же не веровал в Бога, а любил человечество», — вспоминает он автора приводимой у него в русском переводе фразы. «Вольтер в Бога верил, но, кажется, мало и, кажется, мало любил и человечество», — тихо, сдержанно и совершенно натурально произносит Алёша, не вполне уверенный в памяти, в которой смутно, должно быть, запечатлелся отзыв о Вольтере Луи Блана... Но Колю сильно поражает «эта неуверенность Алёши в своё мнение о Вольтере». В этой неуверенности звучит для него правдивость и откровенность, уличающие его самого в его детски самолюбивом замазывании своего незнания. Карамазов привязывает к себе Колю именно таким чистосердечием, а также и тем, что держит себя с ним совершенно на равной ноге. Без всякого умысла со стороны Алёши самолюбивый Коля этим польщён и задобрен. «Я знаю, что вы мистик, — с важностью говорит ему Коля, — но... это меня не остановило. Прикосновение с действительностью вас излечит...»

По О. Миллеру

Илюша Снегирёв

Ребёнок, не более девяти лет от роду, из слабых и малорослых, с бледненьким, худеньким, продолговатым личиком, с большими, тёмными, злобно смотрящими глазами; одет он в довольно ветхое, старенькое пальтишко, из которого уродливо вырос; голые руки торчат из рукавов; на правом колене панталон большая заплата, на правом сапоге, на носке, где большой палец, большая дырка, и видно, что она сильно замазана чернилами; в оба отдувшиеся кармашка пальто набиты камнями.

Это Илюшечка, сын штабс-капитана Снегирёва, прозванного школьниками «банною мочалкой», — маленький Дон-Кихот в образе тщедушного, болезненного, нервного ребёнка.

В этом миниатюрном тельце живёт если не великая, то, во всяком случае, недюжинная душа. В этом маленьком пролетарии много самобытного, оригинального, в высшей степени симпатичного; в этом маленьком заморыше сразу чувствуешь «душу

живу», нечто такое, что принято считать достоянием исключительных, счастливых натур, и что тут, на низшей ступени общественной лестницы, поражает наш удивлённый взор, подобно чудному цветку, распустившемуся над смрадным болотом.

Но Достоевский, перед пронизательным взором которого спадали все завесы, скрывающие глубочайшие тайники человеческой души, понял и осветил для нас это кажущееся противоречие, заключающееся в том, что на дурной почве вырастают лучшие плоды.

«И вот так-то детки наши, то есть... детки презренных... нищих-с, – правду на земле ещё в девять лет от роду узнают-с. Богатым где! – те всю жизнь такой глубины не исследуют, а мой Илюшка в ту самую минуту на площади-то-с, как руки его целовал, в ту самую минуту всю истину произошёл-с. Вошла в него эта истина-с и пришибла навеки», – говорит штабс-капитан Алёше Карамазову.

В этих словах много верного, обнаруживающего в авторе целую сокровищницу гуманности, истинного знания человеческой души. Борьба, страдания, лишения – вот те рычаги, которыми так часто приводился в движение, усовершенствовался и двигался по пути прогресса сложнейший в мире организм – человеческая личность. Вместе с Достоевским мы сошлёмся на воспитательное и развивающее влияние борьбы, лишений, бедности, той бедности, которая, появляясь сперва лишь в форме материальных лишений, нередко влечёт за собой явления чисто духовного вырождения, но которая, тем не менее, не раз послужила для человека нитью Ариадны в его блужданиях по лабиринту невежества и привела к свету, истине и добру. Бедность что мачеха: она не мать родная, она не голубит, не щадит своего питомца, она гонит его на холод и на стужу, мешает ему предаваться сладкому безделью; но она же побуждает его трудиться, развивать и совершенствовать свои способности, и тем самым выводит его в люди, ставит на ноги.

Так и с Илюшей. Тут не простая нищета, а нищета «благородная». Обстановка и условия, в которых он рос, исключительны: с одной стороны, отец – «русской пыхоты бывший штабс-капитан, хотя и посрамлённый своими пороками, но всё же штабс-капитан», человек, хотя и попивающий с горя, но человек всё же так или иначе имеющий счастье или несчастье считаться в некотором роде «интеллигентом». Тут сестра курсистка, или мечтающая поступить на курсы; тут сознание своего человеческого достоинства; инстинкты и стремления, хотя и подавленные нуждой, но всё же время от времени пробивающиеся на свет Божий и идущие вразрез с окружающей средой и действительностью; тут рыцарский дух и «банная мочалка», горькое сознание обиды и не менее горькое сознание своего бессилия, нравственное чувство и неутомимая логика голодного желудка: «Вызови я его на дуэль, – а ну как он меня... не убьёт, а лишь только... искалечит: работать нельзя, а рот-то всё-таки останется, кто ж его накормит тогда, мой рот, и кто же их-то всех тогда накормит-с?». Тут злой, юродивый юмор, шутовство паяца, крайняя наглость, граничащая в то же время с трусостью, тут «человек, которому ужасно бы хотелось вас ударить, но который ужасно боится, что вы его ударите», и рядом – нежный семьянин, горячо любящий отец, тонко и деликатно чувствующий человек. Прибавьте к этому полупомешанную мать и горбатую калеку-сестру. Вот вам та своеобразная обстановка, та почва, на которой зародился и вырос чахоточный мальчик со сверкающими глазками, этот девятилетний герой, который один против всех восстал «за отца и за истину, за правду-с».

Много у нас было всяких борцов за истину, за идею, всяких протестантов; но всё же жутко как-то становится, когда видишь в этой роли девятилетнего мальчугана; то и дело кажется, что непосильная ноша раздавит эти узенькие, слабые плечи... Так оно и случилось с Илюшей...

Девятилетний Илюша, у которого вырывается восклицание: «Папа, какой это нехороший город наш, папа!» и который с тоской вопрошает отца: «ведь богатые всех сильнее на свете?» – этот ребёнок, мечтающий восстановить принцип спра-

ведливости на земле, — бессознательно вступает на тот путь горького разочарования, протеста и борьбы, который на всём своём протяжении запечатлён кровавыми жертвами, и на котором дитяти нет места.

Но недаром же он был сыном «благородного нищего», недаром он был свидетелем безобразной сцены, разыгравшейся между его отцом и Дмитрием Карамазовым, когда этот последний вытаскил несчастного капитана за бороду из трактира на площадь и отдал его на посмеяние и поругание школьникам. В маленьком существе возгорелся великий гнев, и «гордый дух воспрянул в Илюше». «Обыкновенный мальчик, слабый сын, — тот бы смирился, отца своего застыдил, а этот один против всех восстал за отца».

С этого дня и начинается сознательная жизнь Илюши; вернее, эта безобразная история послужила толчком, исходным пунктом для тех «процессиков», по выражению штабс-капитана, которые зародились в разгорячённом мозгу ребёнка. Началось с того, что мальчик бежал по улице, слабыми ручонками пытаясь вырвать отца из рук обидчика, заслоняя его своим маленьким, худеньким телцем, целуя руки этого самого обидчика и моля его о прощении; но это не помогло.

«Удалились мы тогда с Илюшей, а родословная фамильная картина навеки в памяти у Илюши отпечатлелась», — повествует штабс-капитан.

Да, сын «благородного нищего» ни на минуту не забывал про обиду, нанесённую его несчастному отцу. В тот самый день у него сделалась лихорадка, он бредил всю ночь, а на другой день начинает он свою борьбу с общественным мнением в лице школьников-сверстников. Его отца называют трусом, «банной мочалкой», и кроткий мальчик мгновенно превращается в разъярённого зверька и с камнем в своей «махонькой ручке с тоненькими, холодными пальчиками» защищает свою фамильную честь, своё человеческое достоинство. Чувство горькой обиды, оскорблённого самолюбия, впервые зародившись в его маленьком сердечке, разгорается в большом пламя, превращается в жажду мести, в стремление во что бы то стало восстановить своё поправное достоинство.

Девятилетний мальчуган наталкивается на мысль о дуэли, сам, без посторонней помощи додумывается до заключения, что оскорбление смывается кровью. «Папа, — говорит он, — папа, вызови его на дуэль. В школе дразнят, что ты трус и не вызовешь его на дуэль, а десять рублей у него возьмишь».

И когда отец излагает ему мотивы, в силу которых его желание неисполнимо, ребёнок настойчиво требует, чтобы отец не мирился с обидчиком, и, полный веры в себя, в свои силы, восклицает: «Я вырасту, я вызову его сам и убью его!» Не следует убивать, хотя бы и на поединке — учит отец сына. «Я его повалю, как большой буду, я ему саблю выбью своей саблей, брошусь на него, повалю его, замахнусь на него саблей и скажу ему: мог бы сейчас убить, но прощаю тебя, вот тебе!»

Кому-то, пожалуй, смешным покажется этот малолетний герой, мечтающий о мести с саблей в руке, напоминающий игрушечного оловянного солдатика. Но эта миниатюрная фигурка в запятом пальтишке будит совершенно иные чувства: жаль Илюшечку, жаль потому, что из него вышел бы человек недоужинный, человек с живой душой.

Присматриваясь внимательнее к сыну «банной мочалки», невольно начинаешь благоговейно перед этим ребёнком и удивляться ему. Какой неистощимый родник нежности, любви, привязанности скрыт в глубине этого маленького озлобленного сердечка; как деликатен он по отношению к своему несчастному отцу. Этот такт в девятилетнем ребёнке, побуждающий его скрывать в себе свои чувства и не давать им воли, чтобы не разбередить отцовскую рану, этот такт и тонкое понимание особенно поразительны в нём как сыне своего отца, «штабс-капитана, посрамлённого своими пороками», попивающего с горя. Всякий отец мог бы гордиться таким сыном. Недаром штабс-капитан обожал своего Илюшечку и тысячу раз был он прав, заявляя Алёше Карамазову, что не накажет ради него своего мальчика. Он даже

боялся Илюшечку, и такое, на первый взгляд, ненормальное отношение отца к девятилетнему сыну становится вполне понятным ввиду нравственного превосходства Илюши перед изломанным отцом.

Илюша на голову перерос «капитана русской пехоты». Вспомним, например, следующий эпизод из их взаимоотношений. Отец, желая развлечь умирающего сына, рассказывал ему сказки, смешные анекдоты, или представлял собой разных смешных людей, которых ему удавалось встречать; даже подражал животным, как они смешно воют или кричат. Но Илюша очень не любил, когда отец кривлялся и представлял собой шута. Мальчик, хоть и старался не показывать, что ему это неприятно, но с болью сознавал, что отец в обществе унижен, и всегда неотвязно вспоминал о «банной мочалке».

Илюша – ангел-хранитель своего несчастного отца, он будит в старике сознание собственного достоинства. В грустном инциденте с Дмитрием Карамазовым его же страдальческий облик спасает отца от соблазна, когда Алёша предлагает ему деньги от невесты его обидчика как бы в возмещение нанесённого ему оскорбления. И если впоследствии он, отказавшись от своего гонора, смиренно принимает подавание, то делает это всё для него же, своего обожаемого мальчика, чтобы иметь возможность пригласить к нему доктора и купить лекарство, подобно тому, как ради него перестал пить и по целым дням где-нибудь в тёмном углу, «прислонившись лбом к стене, начинал плакать и рыдать каким-то залихватным, сотрясающимся плачем, давая свой голос, чтобы рыданий его не было слышно у Илюшечки».

Читая эту трогательную в своей простоте историю Илюшечки, невольно начинаешь любить этого маленького чахоточного мальчика за его светлую, прекрасную душу. И если кроткий Илюша бросается с ножом в руках на своего товарища Красоткина, если он укусил палец Алёше Карамазову, видя в нём брата своего смертельного врага Дмитрия, – то не его, бедняжку, надо за это винить, а те безобразные жизненные условия, которые искалечили эту чистую, прозрачную, как кристалл, детскую душу.

Илюшин товарищ Коля Красоткин чрезвычайно верно в нескольких штрихах характеризует нашего героя. «Виду, мальчик маленький, слабенький, но не подчиняется, гордый, глазёнки горят». И далее: «Примечаю, что в мальчишке развивается какая то чувствительность, сентиментальность... И к тому же противоречия: горд, а мне предан рабски... а вдруг засверкают глазёнки, и не хочет даже согласиться со мной, спорит, на стену лезет... Вольный душок завёлся!»

Таков он весь, этот маленький Дон-Кихот. Прав Достоевский, говоря, что у людей богатых такого ребёнка не может быть. Его гордость не есть самосознание и самоуважение свободной личности; это наследственная гордость человека, «долгое время подчинявшегося и натерпевшегося, но который бы вдруг вскопчил и захотел заявить себя», это плод унижений, это, так сказать, прерогатива гольтёбы, привилегия, хотя отчасти и горькая, но, вместе с тем, бесконечно сладостная, благодатная.

«Великое это дело устроил Господь для каждого человека в моём роде-с, – говорит штабс-капитан. – Ибо надобно, чтоб и человека в моем роде мог хоть кто-нибудь возлюбить-с...»

Глубокий смысл скрыт в этих словах, и в них же заключается начало, примиряющее нас со смертью Илюшечки, с безвременной гибелью этого милого ребёнка: не даром он прошёл свой путь, краткий и страдальческий, не бесцельно было его младенческое существование; ему обязан его забытый, униженный отец, этот «человек, который ужасно хочет вас ударить и боится, что вы его ударите», – сознанием того, что есть на свете существо, которое его понимает, ценит и любит, и в этом маленьком, тщедушном организме, только что начавшем жить и так безвременно сошедшем в могилу скрыть залог возрождения другого человеческого существа, уже поломанного жизнью, уже изжившего свой век.

Но неужели одна нужда, одна благородная нищета сделала Илюшечку Илюшечкой?

Если повнимательнее присмотреться к самому штабс-капитану, то сквозь юродивый юмор, сквозь кривлянье и паясничество, сквозь всю кору наслоений, вызванных нищетой и унижениями, всё же можно отличить ту же живую душу, хотя и помрачённую, которая так младенчески чиста и прекрасна в девятилетнем Илюше. Этот оскорблённый и униженный старик, сохранивший в своих «недрах», как он сам называет своё убогое жилище, способность откликнуться на чужое страдание, этот полупьяный шут, рыцарски вежливый и деликатный по отношению к большой жене, разумно снисходительный к дочери-курсистке, мечтающей о Бокле и принуждённой мыть бельё, — это самый нежный отец, которого можно себе представить, обожаящий своего Илюшу, способный ради него на любые жертвы.

Отчего же если высокие таланты и дарования, гражданские доблести и добродетели могут переходить по наследству от предка к потомку, отчего не признать, что эти скромные качества родителя могли передаваться Илюше, который своим чутким и любящим сердцем понял и оценил несчастного отца и в паяце увидел человека! Оказывается, что любовь творит чудеса и даёт хороший плод на дурной почве.

Однако нельзя ограничиться этим одним; помимо симпатии к Илюше, надо помнить, что жизнь его сложилась чрезвычайно неправильно, и что сам он, этот девятилетний ребёнок, додумавшийся до горьких выводов, что всех сильнее на свете богатые, это слабое, большое дитя, являющееся в образе Дон-Кихота, в роли протестанта, — представляет собой аномалию. Недаром же пал он жертвой этой непосильной борьбы, смертью искупил своё преждевременное развитие.

А ведь за этим Илюшечкой стоит целая плеяда Илюшечек, таких же оскорблённых и униженных детей, забитых и загнанных, бессильных отомстить своему обидчику, но тем не менее всеми фибрами своего бедного маленького сердечка чувствующих обиду и «в великом гневе» сжимающих в кулачки свои махонькие ручонки с тоненькими пальчиками. Видно уж очень неудовлетворителен социальный строй, допускающий подобные аномалии.

И Достоевский именно так относится к этому вопросу, стоит лишь припомнить легенду о Великом Инквизиторе и вдохновенные слова Ивана Карамазова.

«Понимаешь ли ты это, когда маленькое существо, ещё не умеющее даже осмыслить, что с ним делается, бьёт себя... крошечным своим кулачком в надорванную грудку и плачет своими кровавыми, незлобивыми, кроткими слёзками к «Боженьке», чтобы тот защитил его, — понимаешь ли ты эту ахию... понимаешь ли ты, для чего эта ахию так нужна и создана! Без неё, говорят, и пробыть бы не мог человек на земле, ибо не познал бы добра и зла. Для чего познавать это чёртово добро и зло, когда это столько стоит? Да весь мир познания не стоит тогда этих слёзок ребёночка к «Боженьке».

Коля Красоткин

Коля Красоткин — юный философ, совмещающий в себе и народника, и врага прогресса, и нигилиста, и социалиста, и тринадцатилетнего школьника — очень интересное явление. Интересен он прежде всего тем, что представляет собой продукт именно нашей почвы; только в благодатной матушке Руси нарождаются подобные типы.

В русской культуре, в русском человеке есть нечто оригинальное, нечто своеобразное, чего «не вырубешь топором» и что составляет неотъемлемую собственность русского народного характера. Здесь на первый план надо поставить сметливость и сообразительность. И нельзя не признать в этом тринадцатилетнем герое в высшей степени находчивого, сообразительного и сметливого подростка.

Правда, многие из его воззрений поверхностны, но чего же требовать от тринадцатилетнего мальчика? Правда, задаваясь мировыми вопросами, он частенько, что называ-

ется, рубит с плеча, но в этом мусоре порой встречаются настоящие жемчужные зёрна, и невольно прощаешь юному философу его опрометчивые суждения за тот здравый смысл, за ту чисто русскую сметку, которые заставляют признать в нём законного сына того русского народа, из которого вышли Ломоносов и другие самородки.

Есть положительно художественные штрихи в грациозном эпизоде о Коле Кра-соткине, где рельефно выступают именно те стороны характера русского школь-ника, о которых только что шла речь.

Возьмём хотя бы встречу Коли с мужиком.

Тот допрашивает его:

«— В школьниках небось?

— В школьниках.

— Что же тебя, порют?

— Не то чтобы, а так.

— Больно?

— Не без того!

— Эх, жисть! — вздохнул мужик от всего сердца.

— Прощай, Матвей.

— Прощай, парнишка ты милый, вот что...

Мальчики пошли дальше.

— Это хороший мужик, — заговорил Коля Смурову. — Я люблю поговорить с народом и всегда рад отдать ему справедливость.

— Зачем ты ему соврал, что у нас секут? — спросил Смуров.

— Надо же было его утешить!

— Чем это?

— Видишь, Смуров, не люблю я, когда переспрашивают, если не понимают с первого слова. Иного и растолковать нельзя. По идее мужика, школьника порют и должны пороть: что, дескать, за школьник, если его не порют? И вдруг я скажу ему, что у нас не порют, ведь он этим огорчится. А впрочем, ты этого не понимаешь. С народом надо умеючи говорить».

Какова логика русского школьника! А ведь он далеко не глуп и порядком смет-лив и находчив этот юный гражданин русского отечества!..

Или дальше. Коля подходит на площади к глуповатому парню:

«— К Вознесенью ходил? — строго и настойчиво вдруг спросил он его.

— К какому Вознесенью? Зачем? Нет, не ходил, — опешил немного парень.

— Сабанеева знаешь? — ещё настойчивее и ещё строже продолжал Коля.

— Какого те Сабанеева? Нет, не знаю.

— Ну и чёрт с тобой после этого! — отрезал вдруг Коля и, круто повернув направо, быстро зашагал своею дорогой, как будто и говорить презирая с таким олухом, который Сабанеева даже не знает».

А на площади поднялась кутерьма. Искра, заронённая шаловливым мальчиком, разгорелась в целое пламя. Таинственный Сабанеев смутил народное воображение и нарушил покой глуповатого парня — и пошла потеха, чуть до драки не дошло!

А ведь Коля неспроста спросил парня, знает ли он какого-то мифического Сабанеева, и это была не простая ребяческая шалость с его стороны.

«— Про какого ты его спросил Сабанеева? — спросил он (товарищ) Колю...

— А почём я знаю, про какого? Теперь у них до вечера крику будет. Я люблю расшевелить дураков во всех слоях общества».

В своих столкновениях с народом Коля буквально неподражаем. И хотя его пышные фразы вроде: «я всегда готов признать ум в народе», «я люблю народ и всегда готов отдать ему справедливость, но отнюдь не балую его», «мы отстали от народа» и пр. и вызывают порой насмешливую улыбку на устах самого снисходи-тельного слушателя, когда их с неподражаемым апломбом произносит тринадца-

тилетний мальчуган, но нельзя не признать в этом юном мыслителе тонкого понимания народного характера, чуткости и отзывчивости, которые дают ему возможность слиться с этим народом и попадать ему в унисон.

Еще одна характерная черта: в Коле бездна юмора, того неиссякаемого народного остроумия, которое, созревая порой в глубокомысленную и поучительную по словицу, изливается в тысяче метких поговорок, едких шуток и так и бьет ключом из каждой побасенки, из каждой несложной песенки. У Коли для всякого припасен ответ, всех – то он умеет развеселить, насмешить, заставить хохотать до слез и в шутовой беседе потопить своё горе, свои дневные заботы и жизненные тяготы. Стоит ему только разойтись, «поехать», как он выражается.

«– Здравствуй, Наташа, – крикнул он одной из торговок под навесом.

– Какая я тебе Наташа, я Марья, – крикливо ответила торговка, далеко ещё не старая женщина.

– Это хорошо, что Марья, прощай.

– Ах ты, пострелёнок, от земли не видать, а туда же!

– Некогда, некогда мне с тобой, в будущее воскресенье расскажешь, – замал руками Коля, точно она к нему приставала, а не он к ней.

– А что мне тебе рассказывать в воскресенье? Сам привязался, а не я к тебе, озорник, – раскричалась Марья».

Но уже общий гомерический хохот покрывает визгливые ноты её надтреснутого голоса.

И так всегда бывает с Колей: со своим появлением он вносит повсюду веселье, оживление, смех. Неудивительно, что весь базар его знает, любит милого забавника и охотно прощает ему шалости.

Однако было бы в высшей степени несправедливо предположить, что одними шутками исчерпывалась вся деятельность Коли, что на это легкомысленное занятие уходили все его духовные силы. Он «весь отдавался идеям и действительной жизни», как на своём высокопарном школьническом языке он определял свою деятельность.

И действительно, за Колей есть серьёзные заслуги.

Взять хотя бы его отношение к младшим или то благотворное влияние, которое он имел на сверстников, хотя бы на Илюшу. Если Коля и причинил большие страдания чуткому впечатлительному Илюше в эпизоде с собачкой Жучкой, которую Илюшечка чуть было не отправил на тот свет, угостив булавкой, то нельзя не согласиться, что этому же своему тирану и деспоту Коле сын «банной мочалки» был многим обязан.

«Видите, Карамазов, весной Илюша поступает в приготовительный класс. Ну, известно, наш приготовительный класс: мальчишки, детвора. Илюшу тотчас же начали задирать. Я двумя классами выше и, разумеется, смотрю издали со стороны. Вижу, мальчик маленький, слабенький, но не подчиняется, даже с ними дерётся, гордый, глазёнки горят. Я люблю этаких. А они его пуще. Главное, у него тогда было платьишко скверное, штанишки наверх лезут, а сапоги каши просят. Они его и за это. Унижают. Нет, это уж я не люблю, тотчас же заступился и экстрафеферу задал. Я ведь их бью, а они меня обожают, вы знаете ли это, Карамазов? – экспансивно похвастался Коля. – Да и вообще люблю детвору. У меня и теперь на шее дома два птенца сидят, даже сегодня меня задержали. Таким образом, Илюшу перестали бить, и я взял его под мою протекцию».

Хотя в отношении старшего школьника к младшему товарищу и проявилось доброе сердце первого, но это ещё не все; самое важное – это воспитательное влияние, которое Коля имел на своего маленького протеже. Он «кончил тем, что предался мне рабски, исполняет малейшие мои повеления, слушает меня как Бога, лезет мне подражать... Я его учу, развиваю... Примечаю, что в мальчике развивается такая то чувствительность, сентиментальность... И вот, чтоб его выдержать, я, чем он нежнее, тем становлюсь ещё хладнокровнее, нарочно так поступаю, таково моё убеждение. Я имел в виду вышколить характер, выровнять, создать человека...»

Это правильное понимание детской души, детского характера в Коле развито поразительно в применении к его юному возрасту. Происходит это главным образом оттого, что в Коле бездна чувства, что душа его от природы чутка и восприимчива. И хотя он и уверяет, что терпеть не может «телячьих нежностей», но не отделаться ему от этой сентиментальной чувствительности, которую он считает признаком ребячества и ненавидит гуще всего на свете.

Помимо хороших природных задатков, Коля имел счастье вырасти под крылышком такой матери, что из него волей-неволей должен был выйти юноша с добрым, мягким сердцем, с живой и отзывчивой душой. Те любовь и нежность, какими с самого младенчества окружила его мать, должны были войти в кровь и плоть мальчика и растопить ту кору эгоизма, самолюбия и чисто мальчишеского задора, которыми под влиянием школьных обычаев обросло чувствительное сердечко «маменькиного сынка». Это столь нежелательное во многих случаях для мальчика женское влияние и женское воспитание, для Коли послужило залогом спасенья и поддержало его в ту переходную эпоху, которую переживает раньше или позже всякий юноша-подросток, эпоху, когда в юном организме всё бурлит, бродит и посреди хаоса разноречивых чувств и ощущений начинают вырабатываться первые серьёзные убеждения, закаляться воля, формироваться характер.

Напрасно Колина мать тревожилась, что сын её «бесчувствен», что он «мало любит». Она могла быть вполне спокойна, что те семена, которые она забросила в его детское сердечко, не заглохнут и не пропадут. Недаром она, оставшись вдовой восемнадцати лет, всю себя посвятила воспитанию своего мальчика Коли, любила его без памяти, недаром «бросилась изучать вместе с ним все науки, чтобы помогать ему и репетировать с ним уроки, бросилась знакомиться с учителями и с их женами, ласкала даже товарищей Коли школьников, и лисила пред ними, чтобы не трогали Колю, не насмехались над ним, не прибили его».

Тот, кто с детства дышал теплой, мягкой, благотворной атмосферой любви, тот никогда не очерствеет в жизненной борьбе и посреди самых жестоких испытаний сохранит «душу живую».

У нас слишком рано начинают жить и мыслить. Ещё на рубеже жизни, ещё на школьной скамье подростка охватывает такой порыв, такой бурный вихрь, что надо быть молодцом, чтобы удержаться на ногах. Нет ни одной сферы, которую он оставил бы в покое; философия, искусство, наука, жизнь, религия, этика – всё одинаково влечёт к себе только что прозревшего юнца. Закон постепенности и последовательности, труд и терпение – всё это мёртвый звук для юных мыслителей. Бокль, Шопенгауэр, Белинский, Писарев – все эти громкие имена не пугают вновь народившихся философов, и тринадцатилетний Коля третирует этого «старика Белинского».

Если верить на слово юному герою, что он прочёл все эти тяжёлые фолианты, дал себе труд ознакомиться близко со всеми этими господами, которых он выдаёт за своих старых хороших знакомых.

Если же усомниться в его словах, то есть риск услышать откровенное признание, вроде того, что из всех произведений «старика Белинского» юный философ прочёл только «то место, где говорится о Татьяне», а Онегина «собирается прочесть». Хорошо, если удастся добиться хотя бы такого признания.

Но хуже всего упорное настойчивое невежество и самомнение. «Нынче все боятся быть смешными и тем несчастны. Нынче почти дети начали уже этим страдать. Это своего рода сумасшествие», – говорит Алёша Карамазов.

И далее: «Кто признается в чём-нибудь дурном и даже смешном? Никто, да и потребность даже перестали в этом находить, в самоосуждении».

Это замечание поразительно меткое и верное. К несчастью, ложный стыд – одна из моральных болезней, тлетворному влиянию которой подвержена чуть ли ни вся молодёжь. Рождает его болезненное, уродливое самолюбие, с детства разви-

вающееся в ущерб другим свойствам и качествам, вырастающее постепенно в гиганта, который хочет подчинить себе всё и вся и, начиная с других, с окружающих, переносит, в конце концов, свою тиранию на самую личность, губит и душит всё, что есть лучшего в душе человека.

«Это от молодости, это пройдёт с годами» – читаем мы у автора.

Глубоко правдиво и искренно восклицание Коли:

– О, Карамазов, я глубоко несчастен. Я воображаю иногда Бог знает что, что надо мной все смеются, весь мир, и я тогда, я просто готов тогда уничтожить весь порядок вещей.

– И мучаете окружающих, – улыбнулся Алёша.

– И мучаю окружающих, особенно мать...» – чистосердечно признаётся Коля.

Вот поистине «злонравия достойные плоды». Но корень этого злонравия лежит отнюдь не в самом Коле; он вне его – в той среде, в той обстановке, в которой он вырастает и живёт.

Самолюбие, самомнение, самохвальство, ложный стыд – вот обыкновенные болезни школьника. И это уродливое самолюбие – основной мотив в характере Коли. Этот ребёнок от природы очень неглуп, к тому же в отцовском шкафу он нашёл несколько книг, читать которые ему бы не следовало, но которые он все же прочёл и усвоил себе с грехом пополам. Мальчик он смелый, ловкий, характера упорного, духа дерзкого, предприимчивого. Учится хорошо; сметлив, понятлив. Мать, женщина добрая и любящая, но недалекая и не особенно развитая, она («подчинилась сыну, о, давно подчинилась»); товарищи, убедившись в его преимуществах и совершенствах, начинают преклоняться перед ним; после того, как из всемирной истории он сбил самого учителя Дарданелова, преподаватели, знакомые – все расточают ему похвалы.

Это ли не почва, на которой могло разрастись самое чудовищное, самое беззаветное самомнение, самое болезненное, извращённое самолюбие? Так оно и случилось.

Прежде всего в Коле развилась страсть «что-нибудь намудрить, начудесить, задать экстрафеферу, шику, порисоваться». Надо же поддержать свою репутацию ребёнка-феномена, удержаться на высоте того пьедестала, на который возвели его все окружающие: мать, товарищи, те же учителя, которые приходили в восторг от познаний и ума маленького философа!

И вот когда пятнадцатилетние товарищи стали задирать перед ним нос и не хотели признавать в нём себе равного, то самолюбивый мальчик не в состоянии был снести такого оскорбления и поставил на карту свою жизнь: на пари он лёг между рельсами под поезд. К счастью, эта шалость благополучно сошла ему с рук; он отделался лёгким обмороком и лихорадкой, зато своим «подвигом» высоко поставил себя в общественном мнении и навсегда закрепил за собой славу смельчака и героя. Жаль, что не нашлось никого, кто бы отрезвил мальчика, кто бы объяснил ему, что этот «подвиг» – не что иное, как чисто мальчишеская, школьническая выходка, и выставил бы ему на вид всю неблагоприятность его поступка, стоящего столько слёз его бедной матери.

Много минут в жизни Коли было отравлено из-за всё того же уродливого самолюбия, заполонившего его ребяческое сердечко. Он не смеет сходить с людьми: тот кумир, которому он поклоняется, заставляет его постоянно быть настороже.

«Надо было себя в грязь лицом не ударить, показать независимость: «А то подумает, что мне тринадцать лет, и примет меня за такого же мальчишку... Тоже надо не очень высказываться, а то сразу – то с объятиями, он и подумает... Тьфу, какая будет мерзость, если подумает!..» – так рассуждает Коля перед встречей с Алёшей.

Мало того, он не смеет признавать никаких авторитетов, буквально «не смеет» и должен всё и вся бранить, «критиковать», и Коля заявляет авторитетным тоном, что «медицина – величайшая подлость», что «всемирная история – изучение ряда глупостей человеческих и только», что «классические языки – одно сумасшествие».

Не одни лишь научные основы пытается поколебать наш либеральный гимназист – ему мало замкнутого школьного мирка, и вновь оперившийся птенец вылетает за пределы своей тесной клетки и спешит принять участие в действительной жизни. Но и тут он применяет свой привычный метод; он твёрдо помнит, что, для того, чтобы прослыть умником, нужно всё критиковать, всё бранить и порицать. «Я социалист, Карамазов, я неисправимый социалист» – спешит отреккомендоваться Коля своему новому приятелю Алёше.

Будь на Алёшином месте человек, не обладающий такой чуткой душой, таким светлым умом и здравым рассудком, он, пожалуй, не на шутку бы перепугался. Но Алёша в ответ только засмеялся и спросил молодого радикала:

«– Социалист?.. – да когда это вы успели? Ведь вам ещё только тринадцать лет, кажется?..»

Колю скрючило.

– Во-первых, не тринадцать, а четырнадцать, через две недели четырнадцать, – так и вспыхнул он, – а во вторых, совершенно не понимаю, к чему тут мои лета? Дело в том каковы мои убеждения, а не который мне год, не правда ли?

– Когда вам будет больше лет, то вы сами увидите, какое значение имеет на убеждение возраст... – ответил Алёша, но Коля горячо его прервал.

– Помилуйте, вы хотите послушания и мистицизма. Согласитесь в том, что, например, христианская вера послужила лишь богатым и знатым, чтобы держать в рабстве низший класс, не правда ли?

– Ах, я знаю, где вы это прочли, и вас непременно кто-нибудь научил! – воскликнул Алёша.

– Помилуйте, зачем же непременно прочёл? И никто ровно не научил. Я и сам могу... И если хотите, я не против Христа. Это была вполне гуманная личность, и живи он в наше время, он бы прямо примкнул к революционерам и может быть играл бы видную роль... Это даже непременно».

Тут уж сам Алёша оплошал: «Ну где, ну где вы этого нахватались!»

Кроме всего прочего, у Коли был прекрасный наставник и руководитель в лице г. Ракитина – этого типичного представителя породы «полузнаек», который даже уговаривал Колю, как тот уверяет, бежать в Америку. К счастью в ученике сказались благоразумие и он отклонил это предложение, сославшись на то, что «бежать в Америку из отечества – низость, хуже низости – глупость. Зачем в Америку, когда и у нас можно много принести пользы для человечества?»

И благо есть Алёша, сближение с которым ценно само по себе.

«Я в вас не ошибся. Вы способны утешить. О, как я стремился к вам, Карамазов, как давно уже ищу встречи с вами!», – в восторге восклицает Коля.

Это тем более ценно, что Алёша, для того чтобы заслужить расположение юного героя, выбрал совсем не тот путь, которым шли все эти господа Ракитины: не лестью, не притворством подкупил он сердце самолюбивого мальчика; наоборот, он первый осмелился не оказать должного уважения тринадцатилетнему философу и вместо того, чтобы поклоняться мальчику-феномену, восторгаться его умом, познаниями, развитием, повторять с восхищением его остроты, – сразу поставил его на подобающее место, спокойно и беспристрастно разобрал его, выделил всё наносное, напускное в его речах и манере держать себя, с беспощадной суровостью изобличил фальшь, низвёл его с пьедестала, нисколько не принимая в расчёт его болезненного самолюбия.

И что же? Казалось бы, Алёша должен был таким отношением оттолкнуть от себя Колю. Ничуть нет; он пришёл к обратному результату: он покорила сердце Коли.

И тут никакого волшебства не потребовалось; тот способ, который избрал Алёша, донельзя прост; весь секрет заключается в том, что как бы не извращена, и не исковеркана была человеческая натура, правда, вовремя и умело сказанная, всегда найдёт доступ в его душу. В особенности если она сказана не ради изобличения,

не из злобы и вражды, а имеет своим источником любовь, искреннюю неподдельную привязанность.

Коля сразу понял, что Алёша его любил, справедливо и хорошо к нему отнёсся, а потому он терпеливо выслушал из его уст несколько горьких истин и даже откровенно покаялся в своих слабостях и недостатках.

«Я не приходил (к Илюше) из самолюбия, из эгоистического самолюбия и подлого самовластия, от которого всю жизнь не могу избавиться, хотя всю жизнь ломаю себя. Я теперь это вижу, я во многом подлец, Карамазов!»

Такая исповедь в устах болезненно самолюбивого мальчика-феномена чего-нибудь да стоит!

«Нет, вы прелестная натура, хотя и извращённая» – справедливо заметил Алёша в ответ на Колино признание. И этот отзыв так порадовал Колю, словно ему пришлось услышать величайший комплимент и похвалу.

«Если бы вы только знали, как я дорожу вашим мнением!» – с жаром воскликнул он.

Дело в том, что Коля, как мальчик от природы умный, чуткий, сразу разгадал в Алёше недюжинную личность, человека, который на целую голову стоит выше всяких Ракитиных, и притом человека правды, который никогда не солжёт, ни на йоту не отклонится от истины. Вот почему малейшее одобрение со стороны этого строгого критика звучит для Колиного избалованного слуха слаще всех тех хвалебных гимнов, которые с утра до ночи поют ему все окружающие.

Есть ещё причина, почему он сразу полюбил Алёшу, но она лежит в самой личности младшего Карамазова: Алёша был донельзя прост, мягок, снисходителен к людям; он умел им прощать многое. Он никому не давал чувствовать своего превосходства и со всяким обращался, как с равным. «Знаете, меня всего более восхищает, что вы со мной совершенно как с ровней. А мы не ровня, нет не ровня, вы выше! Но мы сойдемся», – говорит Коля Алёше.

И они сошлись. Сошлись до того, что Коля беспрекословно повиновался Алёше, хотя право последнего, право чисто нравственное и сила его не в силе, а в любви.

«Есть только одно существо в целом мире, которое может приказывать Николаю Красоткину, это вот этот человек, – Коля указал на Алёшу».

По Р. Янтарёвой

Илюша Снегирёв

Личность Илюши Снегирёва любопытна, главным образом, противоречием между внутренними свойствами его характера и тем впечатлением, которое он оставляет в других, а именно: на первый взгляд Илюша производит впечатление почти развитой личности, но если внимательнее взглянуть на его характер, то нельзя не заметить, что, вопреки этому впечатлению, многие свойства души его окажутся как бы придавленными и всё развитие его представится далеко не полным. В самом деле, в Илюше мы видим пример гордого, озлобленного и мстительного характера.

Но эти свойства не были присущи ему по природе: его привязанность к отцу и Коле Красоткину, старшему товарищу по школе, указывают, что в душе его были симпатические влечения и что по природе он скорее был существом нежным и добрым. Но уже при первом знакомстве с жизнью он встретился с такими обстоятельствами, которые вызывают в нём прежде всего боязнь обиды и несправедливости. Эта боязнь совершенно естественна при тех условиях, в которых находился Илюша. Неиспорченный жизнью, он, конечно, не умел ещё приспособиться к людям, а, между тем, в нём была потребность сохранить собственное достоинство, которое, как он не мог не видеть, на каждом шагу оскорблялось в людях, близких его сердцу. И вот под влиянием подобной боязни в нём развивается склонность легко и быстро обижаться. Желание уберечь чувство личного достоинства от возможных оскорблений заставляет его быть постоянно настороже пред страхом оскорбления. Вместе с тем, на-

встречу каждой попытке уронить в нём это чувство достоинства как бы поднимаются все силы его души, под влиянием чего и слагается, по-видимому, тот гордый характер, которым он заявляет себя в отношении товарищей. Эта противоборствующая сила проявляется в нём довольно резко. Так, на первых же порах обучения в школе он отказывается подчиняться нравам, сложившимся в школьном обществе. В ответ на обычные задиранья школьников он дерётся, часто идёт один против целого класса. Оттого, несмотря на своё мягкое и доброе сердце, он ни с кем не сошёлся. Впоследствии гармоническое развитие его прекрасной природы ещё больше было задержано, когда самое святое, самое лучшее его чувство было грубо оскорблено. Ему пришлось увидеть, как его отец был публично унижен, и это произвело страшное, потрясающее действие на него. Как выразился на своём высокопарно-юродивом языке его отец, он «в ту самую минуту, на площади, всю истину произошёл. Вошла в него эта истина и пришибла его навеки». Иначе говоря, первое же знакомство с жизнью придавило в нём те симпатические свойства, которые были присущи его душе, и из доброго и мягкого мальчика сделало его мстительным и злобным. Таким образом, душа его развилась далеко не всем тем содержанием, которое было вложено в неё природой. В этом и заключается ограниченность его внутреннего мира, который при иных условиях мог быть многостороннее и полнее.

Душевное состояние Илюши во весь период действия его в романе нельзя представить иначе, как состояние сильного психического возбуждения. Его душа была слишком возбуждена под действием чувства оскорблённого самолюбия и злобной мстительности. Надорванный физически и нравственно, он даже не мог отдохнуть на вымыслах своего воображения. Его мечты были так же болезненны, как и впечатления действительности. Он воображал себя мстителем за унижение отца, представлял, как он вызовет на дуэль и убьёт его оскорбителя. Впрочем, добрые начала его природы обнаруживаются и тут: ему больше нравилось представлять себя великодушно прощающим обиду, и потому, когда отец подкасал ему возможность, другого, более мирного выхода из ситуации, он до того был восхищён, что на время как бы забыл про своё больное чувство. Мечта о том, как они переедут в другой город, облегчила, хоть и не надолго, его душевную муку.

С такими душевными особенностями являются у Достоевского те дети, жизнь которых обставлена тяжёлыми условиями гнетущей нужды.

Коля Красоткин

В произведениях Достоевского есть особый тип детей, отличительной чертой которых является их преждевременное посвящение в мир идей, превосходящих по своему содержанию уровень их понятий. Таковым является и Коля Красоткин. Словами Алексея Карамазова Достоевский характеризует его как «преlestную натуру, ещё и не начавшую жить, но уже извращённую грубым вздором». С этой стороны в Коле поражает прежде всего та дерзость мысли, с которой он берётся за суждение о предметах, стоящих выше его понимания. Он, тринадцатилетний мальчик, «отрицает медицину, как бесполезное учреждение», «находит много смешного в социальных отношениях между собою людей и их повелителей», толкует о силе привычки «как главным двигателем в государственных и политических отношениях людских» и считает себя «неисправимым социалистом». Видно, как его детский ум, не обделённый сметливостью и остротой от природы, запутывается в круге идей, которых не обнять и более зрелой мысли. Афоризм Вольтера о Боге, мистицизм, с которым он отождествляет всю область религии, женский вопрос, смысл христианства, классицизм – всё это темы, на которые он будет рассуждать, нисколько не задумавшись, с самоуверенностью, даже, пожалуй, с гордостью. Между тем источник, из которого почерпнуты им эти идеи, равно как и весь запас его знаний, очень скудны. Само собой разумеется, что он, не читавший даже Пушкина, о Вольтере и Белинском только слышал, а весь круг его

социальных убеждений дан ему одним, случайно попавшим в руки номером «Колокола». Но самым уродливым в этом искажении чистого детского облика является напускная солидность и пренебрежение к тому, что должно составлять потребность детской природы. Мальчик как будто ненавидит свой возраст; стараясь походить на взрослого, он постоянно сохраняет в разговорах деловитый и важный тон; стыдится детских игр, несмотря на влечение своего живого темперамента.

Неприятно поражают в нём и постоянный страх за каждое сказанное слово, и старание показать себя непременно с выгодной стороны, лишаящее его детской непосредственности.

Впрочем, искусственная прививка несродных детской природе начал не заглушила в нём чистоты сердца и коренных свойств ума. Он остаётся любящим сыном; его отношение к бедному, всеми обижаемому Илюше Снегирёву свидетельствуют о теплоте его чувств, несмотря на то, что он был враг «сентиментальничанья» и «телячьих нежностей»; видно, наконец, и то, что преждевременно коснувшиеся его идеи, о женской эмансипации, например, скользнули лишь по поверхности его души и не задели в нём детской целомудренности. Точно так же и ум его, несмотря на застилавший его туман недоступных пониманию идей, не утратил своих природных свойств остроты и находчивости: по его разговорам с Алёшей Карамазовым заметно, что он умеет оценить всякую сколько-нибудь оригинальную мысль. Словом, природа Коли заключала в себе много здоровых начал, противодействовавших влиянию на него наносных идей, и последние лишь слегка затрагивали его детское сознание.

При всём том, Достоевский устами Алёши Карамазова предрекает Коле Краcotкину, что в жизни он будет очень несчастным человеком, хотя «в целом всё-таки благословит жизнь». Это несчастье, прежде всего, может постигнуть его со стороны неправильно воспитанного ума, с детских лет жизни оставленного без разумного руководства и потому легко поддающегося всякого рода увлечениям.

Любопытно подметить, каким путём совершилось в Коле это посвящение в круг идей, не соответствующих его возрасту. Очевидно, здесь главную роль играло его воспитание. Коля рос под исключительным попечением матери, которая после смерти мужа всю свою жизнь посвятила воспитанию сына и даже вместе с ним изучала все науки, какие пришлось изучать ему. Но при этом одинокая женщина, вероятно, слишком сблизила жизнь ребёнка со своей и потому рано ввела его в круг своих личных интересов, далёких от интересов детской жизни. И ребёнок рано начинает смотреть на себя как на взрослого и мало-помалу совсем выходит из круга детских интересов. Вместе с тем, действительное руководство умственной жизнью мальчика по мере его физического и духовного роста всё больше и больше уходит из-под её контроля. Ибо упорный от природы и независимый характер Коли не только эмансипировался от влияния матери, но и во многом подчинил её. На беду подвернулись книги, собранные ещё покойным отцом Коли, мелким чиновником. И мальчик, никем не руководимый, вполне представляется случайностям стороннего влияния. Развиваясь в подобном направлении, Коля, естественно, очень скоро перерастает своих сверстников. Возможно, школа могла остановить его на этом пути, но потому ли, что он умел тщательно скрывать свой внутренний мир, или потому, что случайно между его воспитателями не нашлось человека, который бы подметил склад его мысли, как бы то ни было, он развивается в этом направлении до конца романа. Он остаётся именно тем русским школьником, о котором замечено в романе, будто бы со слов одного заграничного немца, жившего в России, что стоит ему показать «карту звёздного неба, о которой он до тех пор не имел никакого понятия, и он завтра же возвратит вам эту карту исправленной».

По П. Пользинскому

Заключение

В романе «Братья Карамазовы» Достоевский особенно ярко выразил свои мысли о народе, и в особенности о его религии. Выразителем этой религии народа является старец Зосима. Его религия зиждется на чисто внутренних переживаниях – на чувстве любви, сострадания и смирения; он чужд всякой обрядности. В лице Зосимы Достоевский показал также, что нужно, по его мнению, делать русскому – отрешиться от своего личного («я») и идти служить народу; вместе с тем, нужно вести борьбу с пробуждающейся в человеке карамазовщиной и стремиться всё к большему самосовершенствованию. Только то общество может стать счастливым, в котором господствуют начала, проповедуемые Зосимой.

По Н. Дюнькину, А. Новикову

«Братья Карамазовы» – это художественное произведение, в котором Достоевский разрешает великую философскую и психологическую задачу. Он показывает, из каких коренных начал состоит человеческая душа и как эти коренные начала, богофобское и богофильское, постоянно борются между собой и усиливаются или ослабляются в зависимости от того, куда направлено человеческое сознание. Демоническая философия Ивана Карамазова делает в нём эту борьбу особенно трагичной и особенно поучительной. Богофильские мысли Зосимы, являющиеся как бы противоположением этой демонической философии и близкие сердцу человеческому, кажутся непобедимыми потому, что в конце концов только они развязывают человеческую трагедию и открывают перспективу вечно нового, вечно радостного бытия. При внимательном анализе видишь, что именно в Зосиме возродилось всё, что было великого, цельного и прекрасного в античной древности, возродилось и переродилось в новую, мягкую красоту. Эта тема – борьба богофильства с богофобством – даёт себя чувствовать во всём романе, во всех его характеристиках и картинах. Достоевский смотрит на человека сквозь религиозную идею, которая является как бы стеклом, углубляющим его зрение и открывающим возможность для самых тонких художественных восприятий. Сквозь эту идею он увидел всю душу Дмитрия, Грушеньки, Фёдора Павловича, жизнь своих героев в полноте её содержания. Всё у Достоевского страшно принципиально в лучшем, высочайшем смысле этого слова, всё идёт у него к Богу или от Бога – ничто ни на минуту не остаётся в покое или равновесии. Кажется, будто в жизни и нет ничего не трагического, ничего лёгкого, никакой бесцельной игры, потому что ничего этого нет в страшно напряжённой и страшно яркой живописи Достоевского. Никаких полутонов, никаких невинных световых рефлексов, которые так отрадны для человеческого глаза. Всё царство Карамазовых, даже с этим примыкающим к нему тихим белым монастырём, стоит как бы на вулкане, ибо сама душа Достоевского, из которой вышел этот роман, является настоящим вулканом.

По А. Вольинскому

Каков же общий смысл всей карамазовской истории? Смысл этот, по суждению Достоевского, сводится к философски, нравственно и практически обоснованному протесту против материалистического направления жизни, против неверия и утилитаризма, при которых безудержная погоня людей за жизненными благами ведёт к утрате ценности и смысла жизни, в то время как вера и идеализм не только повышают ценность жизни, но и вносят элементы осмысленности во все человеческие действия.

В карамазовской истории мы видим неизбежную гибель карамазовщины. Фёдор Карамазов, столь уверенный в благополучии своей животной личности, при деньгах и полном нравственном безразличии, погибает без покаяния в минуты наиболее циничного определения своих жизненных взглядов. Сильный идейный выразитель карамазовщины, Иван Фёдорович, подобно духу гордыни и презрения, в самую сильную минуту обоснования своей позитивно-безверной теории, переносит

нравственную катастрофу и вынужден признать, что гонимые им вера и совесть связаны с самым существом человеческой души. Мятущийся, порывистый и жизнелюбивый Митя Карамазов должен пережить сложный процесс судебного и нравственного пересмотра своей личности, приведший его к решительному осуждению своего прошлого и к осознанию потребности нравственного возрождения. Смердяков не вынес отразившейся в нём карамазовщины, и после достижения своей корыстной цели покончил с собою.

В истории семьи Карамазовых карамазовщина погибла, она неизбежно должна была погибнуть во всяких новых жизненных проявлениях, как неизбежно должно разложиться тело, лишённое жизни.

Но карамазовщина – не случайное явление в жизни безвестного уездного гонимого, она не исключительный раритет, способный на минуту вызвать изумление, с тем чтобы через мгновение быть забытым. Нет, карамазовщина типична, она – жизненное направление. Даже в пределах романа она обеспечивает эту широту и жизненность, побуждая отнестись к себе с особым вниманием, как к серьёзно надвигающейся нравственной эпидемии. Она против воли звучит в речах прокурора, заставляя его признать её принципиальную значимость. Она невольно звучит в речах знаменитого адвоката, который, не веря в невиновность Мити и не пытаясь проникнуть в его душевное состояние, является неожиданно для себя и публики идейным защитником карамазовщины в духе Ивана в минуту пережитого им бунта; карамазовщина принята, как девиз, находившейся в зале суда публикой, которая защиту карамазовского «всё позволено» приняла аплодисментами. Восторг слушателей был неумерен, как буря: женщины плакали, плакали многие из мужчин, даже два сановника-старичка со звёздами на фраках махали оратору платками.

Но, говоря о смысле жизни по роману Достоевского, хотелось бы, чтобы вопросы, им возбуждаемые, не встретили в нас равнодушия, а заставили бы задуматься и поразмышлять над своими делами и своей жизнью, а в воспоминаниях остался бы тот камень, у которого Алёша произнёс свою прощальную речь молодым друзьям.

По Л. Соколову

В пособиях этой серии использованы **отрывки из статей следующих литературоведов:** Г. Абрамовича, М. Авдеева, П. Анненкова, М. Антоновича, К. Н. Анциферова, Арабажина, И. Астахова, Н. Ашхарумова, А. Бадена, А. Бороздина, Г. Брандеса, Н. Бражника, Д. Благого, С. Богуславского, С. Бураковского, С. Булгакова, Ф. Булгаковой, М. Быстрова, А. Введенского, Л. Вейнберга, С. Венгерова, А. Винера, В. Владимирова, Л. Войтоловского, А. Волынского, Д. Галахова, Э. Геннекена, А. Гизетти, И. Глебова, Ф. Гойловченко, Г. Горбачёва, А. Григорьева, Н. Григорьева, Л. Гроссмана, Н. Гудзии, С. Дудышкина, Н. Дюнькина, П. Евстафьева, С. Елеонского, В. Ермилова, Е. Ефимовой, Д. Жохова, В. Засимовича, А. Захаркина, Н. Зверева, А. Зерчанинова, С. Золотарёва, Н. Кадмина, А. Кайева, В. Карасёва, П. Когана, Н. Колокольцева, А. Кони, Н. Коробки, Н. Котляревского, К. Лахостского, В. Литвинова, Б. Майкова, В. Максимова, В. Малинина, М. Мальцева, Е. Маркова, Н. Мендельсона, Д. Мережковского, О. Миллера, Н. Михайловского, Я. Назаренко, Н. Невзорова, А. Незеленова, А. Новикова, Н. Носкова, Л. Оболенского, Д. Овсяннико-Куликовского, В. Оголевеца, О. Орлова, И. Оршанского, В. Основина, В. Павлова, П. Первова, В. Переверзева, С. Петрова, Д. Полевого, Н. Порфиридова, В. Пузицкого, Д. Райхина, В. Розанова, В. Саводника, В. Семевского, Н. Сильванского, Л. Соколова, А. Соловьёва, Н. Спицыной, В. Стражева, Н. Страхова, В. Стоюнина, Н. Трифонова, И. Успенского, Н. Фатова, В. Фёдорова, А. Филонова, С. Флёрова, С. Флоринского, Н. Черепнина, В. Чиж, Т. Чирковской, С. Шамбинаго, Р. Янтарёвой.